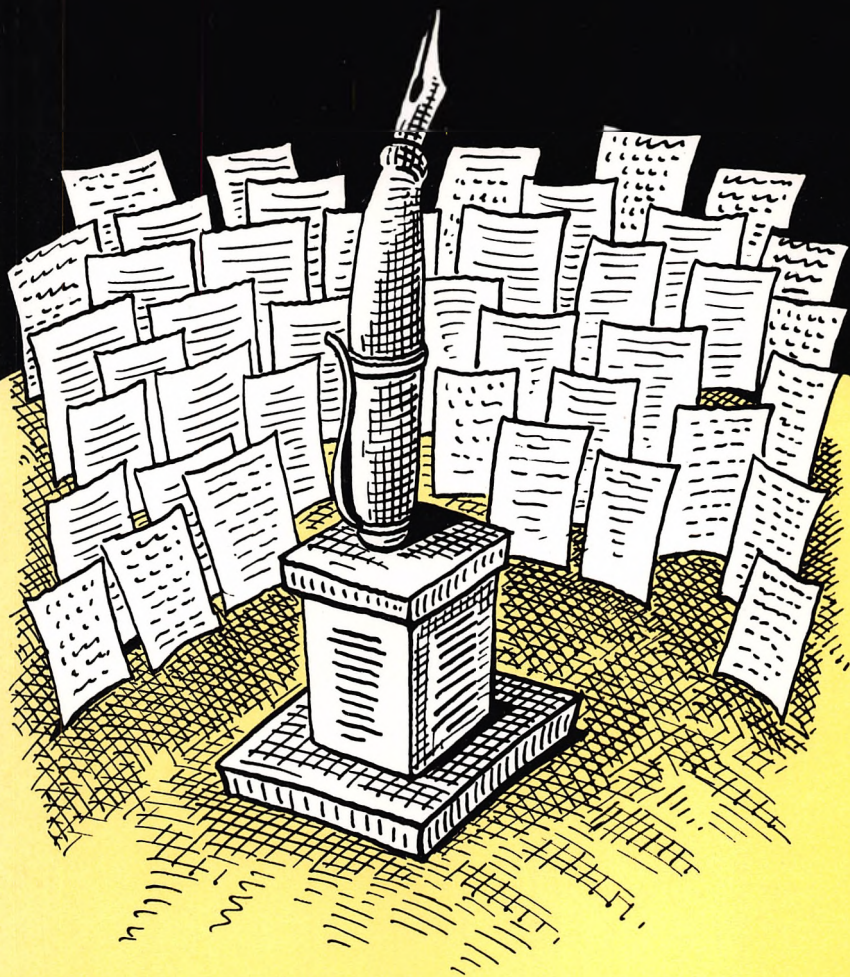


Борис Филиппов
Всплывшее в памяти



ВСПЛЫВШЕЕ В ПАМЯТИ

Boris Filipoff

LOOKING BACK

**Short stories - Essays -
Reminiscences**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990**

Борис Филиппов

**ВСПЛЫВШЕЕ
В ПАМЯТИ**

**Рассказы - Очерки -
Воспоминания**

**Overseas Publications Interchange Ltd
London 1990**

**Boris Filipoff: VSPLYVSHEE V PAMIATI
Rasskazy - Ocherki - Vospominaniia**

**First Russian edition published in 1990
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England**

Copyright	Boris Filipoff, 1990
Copyright	Russian edition Overseas Publications Interchange Ltd, 1990

All rights reserved

**No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.**

ISBN 1 870128 42 7

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in West Germany

ПУТЬ-ДОРОГА ДАЛЬНЯЯ...

(Вместо предисловия)

Забайкальский военный поселок. Когда в нем появляются мужчины не в военной форме, все местные собаки бешенно бросаются на них. Почтальоны поэтому ходят с толстенными суковатыми палками. В семи верстах уездный городишка, ныне расплзшийся в столицу так называемой Бурятской автономной республики. Лет семьдесят назад из этого города мне, офицерскому сыну, привезли детскую книжку какого-то благочестиво-народнического содержания. Содержания ее я, конечно, не помню, но вот переплет теплого цвета слоновой кости на всю жизнь запал в душу. С заснеженной горы, такой знакомой мне забайкальской сопки, спускается крестьянский юноша в полушубке, валенках и шапке-ушанке. На сверкающем, как сахар-рафинад, снегу

глубокие голубовато-сиреневые следы его валенок, уходящие как бы за края переплета. Куда он бредет?

- Домой, в свою избу в долине, - отвечают мне, пятилетнему. А я - я никак не хочу. Мне хочется, чтобы он вечно шел, бесконечно и почти бесцельно - к какому-то неведомому.

- Но его ведь ждет-не дождется его семья, его родители, - говорят мне. Но меня это не устраивает никак. Не хочу я читать эту книгу: раз приходит домой - значит, конец. А я тогда, даже когда фантазировал, сам веря себе, рассказывая свои сны, непременно прибавлял в конце: "А затем облако на небе, и на нем «Продолжение следует»"... И тут тоже: раз нет больше глубоких следов на снегу, нет больше черных веток сосен и кедров под подушками снега - нет более и устремления к бесконечному.

И через многие десятилетия, в пропеченном солнцем Прованса золотом Арле, на ступенях древнего св. Трофима, апсидой своей взбирающегося прямо в римский амфитеатр, старый нищий цыган. Я, тоже уже старик, только что видел, как он, с группой других цыган и цыганок, деловито высаживался из пригородного автобуса и, переговорив о чем-то с патлатой черноволосой ведьмой и молодой поджарой красавицей (очевидно, женой и дочкой), направился к ступеням портала и уселся там у боковой двери. Вся группа разошлась по узеньким кривым улочкам - гадать, нищенствовать, - но все деловито, упорядоченно, никак не романтично. Но я не хочу этой низшей ступени разлинованной буржуазности! Я не хочу их прихода на какую-нибудь паперть, на рыночную площадь или ко входу в рестораны и отели! У меня в душе сыздетства:

Цыганы шумною толпой

По Бессарабии кочуют...

И не нужно мне биографической справки о бессарабской полуссылке Пушкина. В подсознании детское: "По без-Арабии..." Да, пустынные необозримые, бескрайние просторы страны арабов, но они уже позади, цыганы уже без них, они - как уходящие за края переплета - и жизни - глубокие следы на снегу. Нет уже их Арабии-Аравии. И еще: "бес Арабии..." Тот бес пустыни, бес арабов, вечно влекущий их - и цыган - в никуда, в какое-то светлое нечто или ничто, - и вот они вечно кочуют, и по степям, и по горам, и по деревням - и по городам, гонимые этим демоном, этим полуденным или полуночным бесом... Отлично знаю, что никогда они не достигнут этого своего светлого никуда и не за чем, но разве это существенно? Существенны только лермонтовские Три пальмы с ледяной водой источника под ними - эти оазисы на бесконечном пути, только привалы, только приостановки на их бесконечном пути:

Они сегодня над рекой
В шатрах изодранных ночуют...

Изодранных - это прекрасно: через них видно черно-синее далекое небо тоже с дырами: побольше - для луны, помельче - для звезд.

И я поднимаюсь из таинственной полумглы клуатра, двора монашеских медитаций; каждый столп окружающих его крытых променуаров - целое сокровище творческой фантазии средневекового ваятеля. Я подымаюсь все выше и выше, на самую кровлю центрального корабля св. Трофима, и там, на кровле, в незаметнейшей расщелинке поседевшей чуть ли не тысячелетней плиты, стебелек степного перекасти-поля, совсем как в степях Ставрополя. Я, тогда студент, шел по степи к большому винодельческому селу. Все еще не отцвела такая краткая

весна нэпа, но безработица и безденежье мешали надыхаться ею. Навстречу такой же, как и этот, сегодняшний, арльский, цыган - высокий статный старик в отрепьях и босой, но сурово-надменный. Оглядом, боковым, но цепким оценил меня от прорыжелой кепки до латаных ботинок и властно протянул коричневую узловатую руку: "Мне дорога дальняя, бачка".

Я подал ему гривенник. Цыган с презрением смотрит на меня, еще чего-то выжидая. "А зачем ты с собой колючее сено таскаешь", - басисто усмехается, кивнув на обломок перекасти-поля у меня в руке. И, тряхнув головой, отправляется дальше.

Арльский цыган, когда подаю ему доллар, с насмешливым недоумением смотрит на чахлый клочок степной травы в моих руках. Да, степная трава моей юности была крепче, но и колючее - вот этой хилой травы моей старости, сорванной на кровле св. Трофима. Но и она - как те голубые следы на снегу моей детской книги. И голубые следы на снегу, оставленные на забайкальской сопке встреченным мною в те же баснословные годы китайцем-спиртоносом. Контрабандистом. Каким затравленным, но озверелым волком посмотрел он на меня - и быстро-быстро убежал. Куда-то в никуда.

Печальное счастье беспредельности. Бесконечности. "Есть бесконечность дурная, к которой сколько ни прибавляй, она все так же неизменна - все та же бесконечность, - популяризирует мне, невежде в математике, мой товарищ, ученый математик. - Но есть бесконечности добрые, бесконечные, но завершенные, и прибавляя какую-либо величину к такой бесконечности, мы делаем ее качественно иной, меняем ее характер..."

Но я-то сам, всем нутром своим, хорошо знаю элегическую бесконечность, добрую бесконечность этого нескончаемого пути-устремления:

На-хол-мах-Гру-зии-ле-жит-ноч-ная-мгла - Шу-мит-
А-раг-ва-пре-до-мною...

И когда я старался, слабыми своими силами, передать в своей небольшой повести "Счастье" это устремление к бесконечности, никогда не завершаемой, но внутренне завершённой - квалифицированный критик прояснил идею моей повести просто: "Счастье - это девушка, героиня произведения". Ну, да, Мария. Но разве это исчерпывает тоску по бесконечности, по бесконечным следам на снегу, бегущим в никуда под зимним солнцем нашей вечно убывающей жизни? И девушка, может статься, в особенности это, но также и какое-то растворение всего нашего "я" в беспредельности, огромной, как океан, и - одновременно - крошечной, но столь же огромной и необъятной внутренне. Ну, как у Клюева в его суженной до плоски и бесконечно расширенной до полета в беспредельность:

Счастье бывает и у кошки -
Котенок - пух медовый,
Солнопёк в зализанной плоске,
Где гудит пчелой душа коровы...

А, впрочем, разве передашь словами эту завершенно-незавершённую, добрую и печальную, радостную бесконечность пути? Разве что музыкой Моцарта или пушкинскими - ...по Бессарабии кочуют... По бес-Арабии...

*...Мне грустно и легко: печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...*

** * **

*- Вы что-нибудь поняли из того, что он
тут наболтал?! - спросит нетерпеливый
читатель.*

...А все-таки - она вертится...

Евгении Владимировне Жиглевич

Пути-дороги

* * *

Тень от тени - или крест
На седой дороге?
Я не знаю этих мест,
Медлю на пороге.

В небе полная луна,
Тени крестят землю,
И душа моя одна,
С нею ночь приемлю.

Кто-то бродит - мой - иной -
В лунном мирозданье.
Звонко говорит со мной
Полное сознание.

На дороге тень креста -
Морок иль распятые?
Придорожного куста
Цепкое объятие?

Ночь. Всё пусто. Медный звон
Омертвевших звонниц.
Мертвеца выносят вон?
Или снова - я и он
Видим грозный лик знамен,
Бег небесных конниц?

ПОДУШКА

Лето. Зной расплавленным свинцом разливается по всему телу. Мухи лениво обсиживают потные руки, лоб, шею и даже не взлетают от взмаха руки-истребительницы... Солнце шпарит так, как только может оно жарить в пыльном фруктовом северокавказском городке.

Каржавин, красноармеец, прикомандированный к политотделу, весь в испарине, отдуваясь, с трудом выводит кривые строчки заявления на обратной стороне плаката "Дым труб - дыхание Советской России". Но никакие фабрично-заводские трубы не дымят. 1920 год. Разгар "эпохи военного коммунизма".

"Настоящим проводится через поле вашего зрения, - строчит Каржавин, с наслаждением перечитывая свои ползущие вверх и вниз строчки, - что старая буржуазная ведьма Аракелова, проживающая свое местожительство на Воронцовской улице, нынче Первого Мая 26, живет роскошно: освещается честным советским элект-

ричеством, питается по календарю, имеет 18 подушек, 2 самовара, гостей-родственников с контрреволюционными шопотами. Настоящего наше зоркое коммунистическое око выносить не может..." - И Каржавин просит Губернскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе со спекуляцией, контрреволюцией и преступлениями по должности "обратить свое сугубое внимание на вышеперечисленную буржуйку в разрезе обыска, изъятия и ареста".

Заявление переписано, подписано, подано. Долг коммуниста и "мозолистых рук" исполнен исправно. С чистым сердцем можно идти домой, на квартиру Аракеловой, где помещается он с политруком Павленко и замначем одного из политотделов Зайцевым. Двери отворяет ему хозяйка, Варвара Тиграновна, круглая старушка-армянка, с добродушными лучиками морщинок, разбегающихся по всему широко улыбающемуся лицу:

- А, это вы, Федор Петрович! Зайдите к нам - у нас сегодня окрошка с таранью - только что со льда - ведь жарюшка какая! Вареники с вишней и чудесный арбуз. Откушайте, пожалуйста, с нами!

Каржавин жметя и краснеет. Ему и неловко принять приглашение "старой буржуазной ведьмы", не раз уже радушно угощавшей его, веснущатого тамбовца, и хочется побывать в уютной домашней обстановке, от которой уже отвык за два года красноармейских скитаний, и тянет на вкусную окрошку и арбуз... После нескольких мгновений колебания и полагающихся по церемониалу отказов Каржавин направляется с хозяйкой в столовую, где его сажают за стол между хозяйской дочкой Тамарой, недавно вышедшей замуж в Армавире и сейчас гостящей у матери, и частым гостем Аракеловой - долговязым учителем русской словесности. Хозяйка - вдова учителя математики в женской гимназии, - как

большинство армянок, любит вкусно и сладко поесть, и не жалеет на покупку снеди денег, продавая мужнины вещи, кое-что из мебели и платья. Радушная и гостеприимная, она по-матерински пригрела этого неуклюжего и неотесанного парня, такого одинокого и никому не нужного. Она старается всячески скрасить его неприятную жизнь, охотно чинит ему белье, штопает носки, убирает комнату, несет ему вкусный кусок, делится с ним своими старушечьими радостями.

Сейчас Каржавину особенно не по себе: а вдруг он неправ? Вдруг не нужно было писать это заявление? Но ведь как же так? Ведь бдительность - первеющий долг каждого коммуниста... А у нее не только два самовара, но вот и кровати с никелированными шишками... По всем статьям контра... А все-таки, может, он и неправ?

- Так что, товарищ политрук, нельзя ли мое вчерашнее заявление назад завертать? Вроде, как бы сумлеваюсь - надо ли было просить и прочее... Надо ли было в разрезе обыска и ареста хозяйки...

- А ты, дурак, уже подал? Да, дурак! Ты бы со мной раньше посоветовался. Не надо все же гадить там, где сам живешь. А теперь - что будешь делать? Раз пошло в Чеку - они зубами схватятся за свое... Теперь накося, выкуси. Назад не попрешь... Слушай, Зайцев, как думаешь, - ничего не выйдет с возвратом его заявления? Вот дерьмо-то! Хоть бы писал, когда мы на другую квартиру перебрались бы... Тоже, бдительность!

- Конечно, не вернешь... - пробурчал Зайцев. - Ну и гад! А старуха не вредная, угостит когда, комнату подчистит, на мать мою схожа... Попытать разве?

Через день Зайцев встретился со своим знакомцем, уполномоченным ЧК:

- Слушай, Крумин, там мой дурак один - Каржавин - на хозяйку нашу заявление подал. Так это всё

ерунда. Баба она старая и не вредная. Трудовая интеллигенция.

- А восемнадцать подушек ей на что? Два самовара?! Разлагаешься и ты, брат, в мелкобуржуазном окружении...

- Брось трепаться! Старуха - вдова учителя и не буржуйка. Отдай мне назад заявление...

- Да ты что?! Спятил, что ли? Обалдел совсем?!

- Говорю тебе по-свойски, Арвед: неплохая старуха. Услужи, замни это дело. А я тебе, в свою очередь, технического спиртяги припас.

- Ладно, попробую. Только заявление, кажись, попало к Сережке Муромцеву, а он, брат, у нас теперь большая шишка и большая сволочь, между прочим...

В тот же день Крумин примерно так же уговаривал Муромцева. Но тот оказался твердо-каменным партийцем. И согласился только на полумеру: Аракелову не арестовывать, а лишь выселить из квартиры с конфискацией всего неправомерно нажитого - нетрудовые излишки! - ей принадлежавшего имущества, а квартиру со всем инвентарем и вещами взять под "оперативную явочную" отдела, им, Муромцевым, возглавляемого, с выселением работников Политотдела армии. Об этих последних завести дело, как о разложившихся в бытовом отношении и в мелкобуржуазном окружении, а бойца Каржавина, за проявленную им бдительность, премировать одной из реквизируемых у Аракеловой подушек...

Когда старуху выбрасывали из насиженного угла, похудевший, с темными кругами под глазами Каржавин долго переминался с ноги на ногу. Наконец, густо покраснев, протянул премиальную подушку ошалевшей от горя хозяйке.

- Нате, Варвара Тиграновна! Пригодится...

И отошел с чувством некоторого облегчения.

КРИНИЦА

Над монастырской криницей стояла часовенка из песчаника. Стояла она в самой чаще леса, и шагов за пятьдесят можно было только заметить синюю главку купола с полинялыми золотыми звездами, да немного покосившийся крест с прорыжевшими цепями. Лес был корявый, беспорядочно вырубаемый и столь же беспорядочно выращиваемый, но веселый, певучий и грибной, и звонкоголосые детворы перекликалось в нем с ломкими альтами подростков, а в укромных уголках можно было спугнуть не одну затаившуюся парочку. Лес горожане любили, нередко он бывал переполнен гуляющими, и каждый обязательно заходил в часовенку испить вкусной студеной воды монастырской криницы.

На стене висела медная кружка для доброхотных даяний, к каменному повершию колодца, сложенному на манер гроба, была приделана скоба, а к ней - небольшая цепь с эмалированным ведерком. Над кружкой была грубо намалевана поучительная картина: скупой богач, высыпавший из мешка и алчно пересчитывающий червонцы, а за спиной его с огромной косой смерть. На противоположной стене тот же богач, окруженный унылыми козлоногими дьяволами, простирает из адского пламени клюквенного цвета руки свои к Лазарю, покоящемуся на ватном облаке, умоляя своего райского брата о мизинной капле воды. Этой весной медную кружку взломали, богачу, Лазарю и смерти пририсовали красные и синие усы, но ведерко не тронул никто. Только рядом с часовенкой водрузили на двух тощих столбиках фанерный щит с просветительным плакатом:

Потребляя воду с одного сосуда,
Ты распространяешь сифилис, простуду!

Прекращай, товарищ, это безобразие -
Попам не потворствуй, вере и заразе!

Поперек этого призыва чья-то размашистая, явно неофициальная надпись:

Как был царь с своей царицей,
Была рожь, была пшеница.
Посадили холуя,
И не стало

Дальше все было тщательно выскоблено, и рукою директивной и четкой выведено: "Просьба на общественных объявлениях матерно и вообще не выражаться", - а все завершалось сердцем, вздетым на стрелу: "Обожаю Нюру!"

Раза два-три в год, летом или ранней осенью, у часовенки появлялся огромный оборванный странник - с целой копной всклокоченных огненных волос, чуть тронутых у висков изморозью, с красной бородищей и усищами домового. Мальчишки, завидев Агафангела - так звали странника, в далеком прошлом кубанского станичного атамана, - свистели и вопили в остервенении: "Рыжий-красный - человек опасный!", - но близко подбегать не решались: на Агафангеле устрашающе звякали вериги, а посох, заканчивавшийся медным восьмиконечным крестом, был слишком велик и увесист. Босые жиливатые ножищи странника по-хозяйски уверенно попирали землю, а неутихомирившиеся дикие воловь глаза рассказывали мало-мальски наблюдательному человеку житие Агафангела гораздо ярче и полнее, чем косноязычная громогласная речь его.

Сопровождал его к кринице чаще всего щедедушный монастырский дьякон о. Власий, кривобокий, впало-

грудый и щуплоногий, с бескровным сморщенным личиком, редкой узенькой бородачкой и вечно свисающей из левого глаза слезой. Говорил дьякон кудахтающей скоробормоткой и как бы размахивая невидимым кадиллом.

- Неправ ты, Агафангел, - заливчато и в нос захлебывался Власий, сладко шуря подслеповатые глаза: - не оправится мир: обмирщился слишком. Глянь хоть на картину тую: как богач карежится, как деньгу пересчитывает и в мешок пхает, какие руки у его загребистые. А смерть уже за плечами: от ее не уйдешь. Ох, и худо придется нам! Забыли Бога, Христа гоним... Вон на прошлой неделе Ревком на базарной площади "суд над Богом" устроил... Мужик балует, за все втридорога дерет, иконы на дрова рубает, сатану радуется. Вчера моя пошла на рынок, думала маслица и сметанки обменять... Куды там! - Две чайных ложки серебряных за стакан топленого масла просят... Последние, знать, времена пришли...

- Ну, отцы, всё мудруете? Чревá на солнышке полируете? Откуда бредешь, Агафангел? - к старикам подсел лысоватый ветеринар Космодамианский.

- А из Армавира. Иконе обновленной поклонился, да сюда на престольный праздник приплелся...

- Наверно, смухлевали чего-нибудь: как ей обновиться-то, иконе этой? Не верится, отцы мои, - сомнительно покачал головой ветеринар.

- Видать, у тебя ум за разум зашел, - так ты с большого ума в безбожники записался? А ведь батька твой какой правильный был, благочинным был, а ты такие слова... Вот уж и вправду сказать, последние времена наступают, раз такие речи от ученого человека слышать приходится. И чему тебя, ареда, в семинарии учили?!

- Оставь его, отец Власий. Все они, ученые, - на дерьме печеные, с последнего ума сбрендили: с большого ума и царя скинули, и церкви закрывают, и братья с братьями своими бьются... А только царь-то наш жив: его в Катеринбурге верный солдат подменил. Солдата, значит, умучили, венец приял, а царь-то до поры скрывается и, как придет срок, - объявится... Ну, а до последних-то времен не так близко, слышь ты: ведь князь мира сего - по Писанию - народ вдосыть накормит, а глянь, как сейчас народ вместо хлебушка лебеду да курай чёртот жрет... Нет, это еще только детки антихристовы, а сам-то он еще не родился...

Солнце грело так ласково и великодушно, что не было охоты спорить ни цивилизованному ветеринару, ни дьякону, ни страннику.

- Д-даа, - протянул ветеринар: - об эту пору, бывало, к престольному празднику-то что народища к кринице после монастырской обедни ходило?! Причепуренные, веселые, с курами жареными, поросятинкой, яйцами, пирогами, винцом... Эх, времена были!

- Сами виновати: кто просил революцию разводить? - Вот и насидимся в холоде, посдыхаем с голоду, - ежли нас ране не спишут налево...

- Дьякон, дьякон, непутевая голова, - пробасил Агафангел: - Господь не зазря испытания посылает нам: заслужили, знать. Да ведь и раньше-то разве все было по-Божьи? Держи карман шире! - Жирно жили, брюхо растили, баб терли, а Бога и позабыли.

- Конешно, - о. Власий гулко высморкался в грязный скомканный платок с синей каемкой: - и раньше не всё рай было, но как вспомянешь - до слез жалко, что оборвалась жизнь. Народ пошел сейчас темный, ну, совсем гуманный: ничегошеньки не смыслит, только орет: "долой старое!"

- Не сетуй, дьякон: во испытание дана нам жисть, а не сластьбы. О смерти думай!

Но думать о смерти не хотелось никому. Солнце уже не пекло, как в июле, а бархатные губы ветерка так приятно щекотали кожу, волосы, тело, забивали за шиворот божьих коровок и черно-зеленых букашек, шелестели в ветвях. Плыли низкие сдобные облака, издалека неся монастырский благовест.

- Ну, пора в церкву... - о. Власий нехотя поднялся и, зевая, перекрестил мелким крестом рот.

- Успеешь, дьякон.

- А благодать-то какая! Солнышко еще милует нас, милует и Господь землю нашу...

Выдавала меня матушка далече замуж;
Хотела матушка часто езжати,
Часто езжати, подолгу гостити...

Глубокий грудной низкий голос. Старая, старая песня. А голос молодой, свежий:

Лето проходит - матушки нету;
Другое проходит - сударыни нету;
Третье в доходе - матушка едет...

На тропинку вышла красивая, рослая, пышнотелая мещанка в зеленом атласном платье и кружевном черном платке. Хорошенькая девочка-двухлетка семенила за ней.

Уж меня матушка не узнавает:
- Что это за баба, что за старуха?..

- Хорошо поет. И песня-то ладная, - задумчиво прогудел Агафангел.

- А ты поешь еще, доктор, иль забросил? Ведь какой тенор у тебя в семинарии был! - спросил дьякон ветеринара. Тот безнадежно махнул рукой:

- Где уж мне петь! Жена, теща, пятеро ребят. Еле-еле концы с концами сводим. Да и пил я немало. Разве останется голос-то?

- Жаль...

Мещанка подошла к часовне. Истово перекрестилась, поклонилась земно и опустила ведро в колодец. Девочка смешно стала на коленки, приложила ручонку ко лбу и груди, поклонилась, заглядывая назад.

- Прощай, доктор. Засиделись с тобой: больно денек хороший выдался. Идем, что ли, Агафангел, - не то опоздаем, не дай Бог...

- Идем. Прощай, друже. Бога не гневи и в Армавир ступай, пред иконой помолись обновленной, чтоб сомнение твое тебе простила...

Ушла и молодка, взяв девочку на руки. Ветеринар остался один. Песня всколыхнула всё его прошлое. В семинарии не было его голосистей. Не было в городе вечеринок, чтобы не просили его спеть "Хуторок" или "Дывлюсь я на нэбо":

- Ну, прямо Собинов! Учись, Вася! Тебе на сцену надо бы...

Но у отца благочинного было восемь душ детей, и учить Василия пению средств не было. Да и характерец у парня был боевой. Крепко сколоченный, ладный, с черными маслинами глаз и крутой смоляной вьющейся шевелюрой, быстroxватый и верткий, чистый цыган, - Вася был зачинщиком всех семинарских дебошей, а уж бабенкам спуску не давал. Еле успевали замять один скандал, как глядь - Василий уже нарывался на другой. Как-то поймали его, когда он лез в окно к инспекторше, спелой, как наливное яблочко, молодой и смешливой,

сидевшей поздним вечером у окна в одежонке - по жаре - отнюдь не многослойной. Нельзя сказать, чтобы инспекторша слишком обрадовалась поимке закоренелого Дон-Жуана, но Дон-Жуана с треском вышибли из семинарии. Насилу отец благочинный умолил перевести сына в другую семинарию, в другую епархию - не выбрасывать с волчьим билетом. Куда тут еще о пении думать! Уже много позже, на втором курсе Дерптского университета, женившись, Космодамианский попал как-то в Питер. Знакомые устроили ему встречу с Фигнером. Послушал Фигнер студента и сказал ему:

- Были бы у меня ваши данные, - я бы на весь мир прогремел. Но хватит ли у вас упорства, настойчивости, терпения: учиться, бедствовать, ждать?

Ждать?! Но жена ждет ребенка, но денег в обрез на обратный путь в Дерпт, но от отца помощи не дождешься: других детей на дорогу выводить бате надо... Жена... Да. И жениться-то пришлось волей-неволей: жениться на нелюбимой: зашло уже далеко, - и крепкий, как дуб, отец обиженной - настоятель пригородной церкви - силком потянул Василия под венец.

Долго мучился Космодамианский: тянуло на волюшку вольную, влекло к женщинам и веселым товарищеским попойкам, а, главное, тянуло петь, петь, петь. Не мог ходить на концерты, в оперу: было до слез нестерпимо. Потом забыл, окунулся в семью, в работу, в карты, сплетни, уездную соню...

Ветеринар встал, потянулся, прислонился к дикой черешне - и неведомо откуда полилась прямо из нутра далекая, милая, вся пронизанная музыкой воспоминаний песня.

- Не грехи, доктор. Пой лучше в церкви, - аукнулся издали насмешливый бас Агафангела.

Ветеринар вздрогнул, ссутулился и поплелся домой.

ХУДОРБА

И вот, поди ж ты, все мне прямо утверждали: с твоим, Пал Палыч, положением - я тогда нашим сельпом заведовал, - ты любую красавицу на селе оторвешь, которая в теле и личманиста, а Даша - что - худорба, одни глаза, что у цыганки, как уголья: так и прожигают. И, видать, с норовом. Не будет тебе с ей никакого удовлетворения. А я - я ни в какую. Полюбилась Дашка мне. Отвечаю:

- У меня на вольных хлебах отольется бабочка в нужную формальную ситуацию - и в смысле спереду, и сзади - как есть войдет в тело. А в смысле ее бабской идеологии, прошу не сомневаться: не таких объезживал.

Да только, действительно, не далось нам с Дашенькой счастья. Одиннадцать годков прожили мы с ней, а все ни-ни, никакого результату. Задумается, бывало, "Павлуша, - скажет, - кажись, наконец, тяжелая я". А потом - видим - опять ничего. Бивал я ее, - обидно было от людей, страм: ни одного дитя нет - будто и не мужик я. А она тоже страдает, сучает, томится. И не только не вошла в тело, а еще осунулась. Что твоя ковыль-трава по ветру клонится. И в глаза мои не смотрит, а как посмотрит, так не глаза у ее бабьи, а как у гадюки какой. С горю да со страму прибью ее чуток, - да и подамся в свое сельпо: в лавке прохладно, в нерабочее, неторговое время и людей нет, и ее, Дашку, не видать. Иной раз и заночевывал в сельпе. Ну, и зальешь горе водкой, коль доли нет с молодкой.

Прихожу раз домой после такой ночевки - сам мутный, с похмелу злой, как цепной кобель, а Даша лежит пластом, бледная, ни кровинки, и лицом в подушку уткнулась - ни на какие рассуждения не

отвечает. Разговорилась только часа через два. И все со страхом на углы скашивалась.

- Вот, - рассказывает, - чтой-то около полуночи вдруг в дверь эдак громко стук-стук. Забыла я, что спросить надо спервоначала - кто, мол, там? - а я разом "Войдите", шумнула: думала - ты припозднился. А он - верткий такой, весь как струна на гитаре, аж гудит на поворотах - и все меня щекотит и щекотит - и ни словечка. Отбиваюсь от него - а он все приступает - и все молчком. Конечно, надо б его как следовало отпихнуть, - да разве ж у бабы хватит силы? (А я вижу ее насквозь, самой все ж таки лестно было, что за ей какой-то хлюст городской ухлестывает: ведь уж немолодой за меня вышла: двадцать четвертый год ей шел, а с той поры больше десяти лет прошло: так как бабе не радоваться, что за ей, старой уже, интересуются? Вот я и понасупился, кулаки сжал, сам спяна покачиваюсь, хотел уж и двинуть, да она тут рассказывает дале.) Вижу, - говорит, что он кепки не скидает, - скидавай, говорю, головной убор, - ты в хате, не в клубе, - и рукой эдак, отмахиваясь, и сбила с евойной головы кепу. Он было за кепу, - но уже успела я углядеть: на лбе у него вроде небольшие рожки... Тут грохнулась я оземь, а он заскрипит на меня зубами, поцеловал меня на полу, значит - и нет его. Как бы дымом разошелся. А я вот только за полчаса до твоего прихода очнулась.

Ну, недолго после того прожила Дашенька. Родила мне чернавоньку девочку - назвали ее мы на комсомольских октябринах Нинель - это Ленин Владимир Ильич в обратном женском переводе, - а для дому - Ниночкой (так моя сестра ее тайком в церкви в городке одном недалнем и окрестила).

А Дашенька то целует, бывало, взасос младенчика,

то отвернется от ее - и шепотит чтой-то - вроде помешанная была: знай, лопочет: моя-твоя-не твоя, моя, мол... Так и померла. И почти ничего не говорила. И на лице ее только глаза и жили. Страшные, как на иконе. Вот, ей-Богу, правда.

Лесному Зверю

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

- Тебе, Сергей, повезло, - говорил мне Роберт Савелко, управделами и ответственный секретарь партийного коллектива Четвертого строительного участка: - Наш участок - мировой. Главный инженер - не только инженер, а еще и композитор; я, - ты сам знаешь, - кончаю консерваторию у Павла Захаровича; главбух - литератор, в "Вечорке" пописывает... Культура, брат! Могли бы загнать после института куда-нибудь на Тихвинские бокситы - там бы ты узнал - почем фунт лиха...

Аппарат, действительно, был не совсем обычным. Начальником участка был старый партиец Медведев, из трамвайных кондукторов, подагрик и циник, ворчун и умница. Жил он душа в душу с главным инженером Иосифом Владимировичем, автором музыки к одной из первых советских кантат и профессором Вечернего строительного института. Иосиф Владимирович состоял даже членом общества старых политкаторжан и, затаив смешинку в широко расставленных глазах, любил рассказывать - как это он попал в члены этого общества:

- Учился я, как вы знаете, Сережа, и в Институте

гражданских инженеров и в консерватории. Потому и учился лет эдак двенадцать, никак не меньше. Ведь и окончил-то я институт уже в восемнадцатом, после войны, на которую угодил только в конце шестнадцатого: до того пребывал в белобилетниках. Ну, студенческие годы были у меня развеселые. Я пописывал романсики в разухабисто-русском и надрывно-цыганском штиле - всяческие там "Эх, да эх, распошел - разгулять тоску-кручинушку!". Романсы хорошо шли, да и у отца - был он преуспевающим присяжным поверенным - деньжата не переводились. Вот как-то в публичном доме на Песках, уже под утро, изрядно нагрузившись, вздумали мы - целая компашка бездельников - спустить на связанных скатертях и простынях голую девку через окно прямо на тротуар - это со второго-то этажа. Сказано - сделано. Бабенка визжит, боится. Ну, ничего, не обронили. Обошлось без увечья. Но полиция всех нас за безобразничанье зацепила - и на шесть дней в арестный дом, в Казаки. И вот, в позапрошлом году, и избрали меня в члены общества старых политкаторжан как пострадавшего за политическую агитацию при царизме... Все-таки льготы есть: в трамвай с передней площадки можно влезать. А это немаловажно, когда с работы едешь: попробуй-ка, всадись тогда обычным порядком!

- Да, Серега, он у нас ловкач и хитрюга, наш Осип Владимирович, - рассказывал как-то в состоянии добродушного подпития Роберт Савелко: - Знаешь, он и кантату свою сочинял не один. В кантате ведь воспевается энтузиазм самообилизовавшихся партийцев и комсомольцев и красноармейцев, разгромивших восставшую матросскую шпану в Кронштадте. Так вот: контрреволюционные моменты кантаты взял на себя Осип, а советски-героические предоставил писать старому дураку Николаю Латковскому: это перестраховался: на всякий

случай. Чтобы не осудили его, Осипа, буржуйские родичи и знакомые за "приспособленчество"... А впрочем, чёт с ним. Может, он и прав. - Савелко хлопнул еще стакан водки и, хитро сощутив глаз, наклонился к моему уху: - Знаешь, - задышал он в меня перегаром, - если бы, скажем, да настоящее тайное голосование, - то, гляди, три четверти из нас, партийцев, против коммунизма бы голосовали... - И, испугавшись сам своей шепотливой откровенности, Роберт добавил со смешком: - Такой, знаешь, анекдот в Ленинграде ходит...

Но такие признания делались, конечно, с глазу на глаз, да и то за бутылкой, а на людях лукавый бело-рус-католик был твердокаменным блюстителем партийного авторитета. Но, в общем, парнем был свойским.

Я работал разъездным инженером-инспектором участка, и посылали меня тогда на самые что ни на есть захудалые стройки: институт я окончил неплохо, но практически был совсем желторотым.

Помню первое - ошарашившее меня - соприкосновение со строительством, как оно есть. В начале тридцатых годов многие артели были еще совсем старозаветными, с испокон века возглавляющими их родовладыками-бригадирами, стариками, назубок знающими старое урочное положение "грахва Рошефора" и проевшими зубы на торговле с десятниками. Подошел я к такому бородачу, - как все костромичи, конечно, плотницкому бригадиру. Объясняю ему что-то по части опалубки перекрытия. Ничего не понимает мужик - смотрит на меня оловянными глазами, и десятник Кандыбин переступает с ноги на ногу, потеет, а сам ни гу-гу. Я начинаю волноваться, злиться на себя и на них: ужель по неопытности сам влип? Нет, кажется, не влип. И так разозлился, что загнул длинный матросский матюг. Лица бригадира и десятника прояснели:

- Давно бы объяснили по-русскому, - говорят, - а то, трам-тарарам, как-то больно по-интеллигентному выходило, аж понять никакой не было возможности...

Эта необходимость пустить иной раз матерком очень смущала мою старую - еще по институту - приятельницу, - уютную и скромную Наташу - Наталью Михайловну Секирину, прораба строительства лабораторий Института металловедения. Ей приходилось все-таки "для прояснения" пускать зазвонистые заклинания, но ничего-то у нее, бедняги, не получалось:

- Нет уж, Наталья Михайловна, ты не старайся: все одно у тебя не по-нашенски выходит, - говаривали ей десятники и бригадиры.

На одну из ее строек я и пришел в тот раз. Ей тоже не давали ответственных заданий: так, какие-нибудь надстройки да капитальный ремонт. Вот и здесь: нужно было надстроить этаж и переоборудовать старый могучий особняк екатерининских, а то и елизаветинских времен, запущенный и обветшавший: в нем должна была разместиться одна из лабораторий.

Особняк - с сорванной крышей и проломленным чердачным перекрытием - глядел явно неодобрительно. В лестничной клетке два бородача лениво ковыряли неестественно толстую стену.

- Долбани еще, Петрович, здесь, - тут, кабысь, шов, - посоветовал один из них другому, с сильной проседью в рыжей клокастой бороде.

- Вот дурак! Ведь тут кладено по-старинке: думаю, и с творогом, как древние церкви клали: тут надо рвать по кирпичу, а раствор и взрывом не возьмешь: железом...

Звук при ударах лома был гулким и странным:

- Как бы тут не камора - в стене-то. А вдруг, ребята, на клад набредем? - И теперь уже оба с увле-

чением заколотили ломами. В одном месте стена подалась, и вскоре большой ее осколок бородачи вывернули на площадку и оббитые ступени лестницы.

- Так и есть: тёмно. Камора. А ну, тащи зажигалку... - прохрипел вспотевший и запудренный кирпичной и известковой пылью Петрович.

Я осветил пролом небольшим электрическим фонариком. Что-то необычное заставило всех, прильнувших к пролому, отпрянуть назад: мы увидели ножки кухонного стола и двух екатерининских кресел и какие-то тяжелые цепи, лежащие на полу небольшой узкой камеры.

- Ломай дальше! - и ломы заходили еще ожесточенней.

В узкой щели-камере, за грубым столом, на котором стояли тарелки и лежал опрокинутый графин, в креслах по обе стороны стола - два скелета с сохранившейся кое-где пергаментной кожей, в полуистлевшей одежде конца восемнадцатого века. На ногах - браслеты коротких цепей, наглухо заделанных другим своим концом в стены. На руках цепи были много длиннее. Они давно свалились со скелетов и валялись на полу камеры.

- Вот тебе и клад... Что ж это, братцы? - Лестничная площадка была теперь забита рабочими. Все с жадным любопытством сгрудились у пролома.

- Наталья Михайловна, - оттеснил я наконец навалившуюся на нас и тяжело дышащую толпу, - пойдите, пожалуйста, поскорее, вызовите милицию и позвоните в Общество Старого Петербурга: тут интереснейшая историческая находка...

Наташа, бледная, но с лихорадочно горящими, хотя и испуганными глазами, еле оторвалась от пролома.

- Д-да, занятная история, - протянул Иосиф Владимирович. - Савелко, дорогой, идите, послушайте, что рассказывает Сергей Павлович. Ну, прямо эпилог "Аиды"!

- Так что же, приехали-то из милиции и "Старого Петербурга" (они там все старые пердуны, неповоротливы и ленивы!)?

- Приехали. И милиция заупрямилась, не хотела было отдавать скелеты и инвентарь обществу: тут, мол, нужно решение ГПУ: мало ли, мол, что... Но позвонили Кирову - он распорядился...

- Да, Сережа... Почитайте-ка Пыляева. О графе Девьере такое, помнится, рассказывают, - и у Мельникова-Печерского есть рассказец на ту же темку. Вот как, бывало, с неверными женами разделялись. И с их любовничками. Так цепи, говорите, на ногах были совсем короткие, а на руках много подлиннее?

- Предусмотрительными люди-то в те времена были, - сочувственно ухмыльнулся Савелко, - лапаться - лапайся, а блудить и в смертной камере не могли...

- Да и не только неверных жен замуровывали: вот, недавно совсем, обвалился свод в вылазных воротах новгородского кремля, и обнаружилась в стене, над вратами, камерка с тронным креслом, а к креслу прикован скелет: это Иван Грозный замуровал последнего казанского царевича, уже крещеного...

- А об этом обо всем нужно бы рабочим нашим в клубе рассказать, а то разговоры уже идут о находке по всему тресту, особенно, среди сезонников, - заметил Медведев.

- И то правда: я разъясню, - согласился отсекр коллектива Савелко.

Вот эти камни... Сколько в них любили
И мучились, и лгали, убивали,
А ныне только тонкий стебелек
Кустарника пробился в щели свода,
Да обвалившаяся лестница хранит

Следы давнишних торопливых ног,
Спешащих на запретное свиданье...

- Сереженька, да какие же это стихи... И еще без рифмы! - Наташа сидела у меня, в моей крохотной комнатенке. Сидела на кровати, к которой был придвинут стол: стул у меня был один. Мне удалось раздобыть вкусной кабачковой икры и яблочного мармеладу, и я звал к себе на чай Наташу.

- Наташа, а пушкинские "Борис" и маленькие трагедии - тоже ведь белые стихи, - и, заметив, что выражение "белые стихи" ничего не говорит Наташе, пояснил: без рифмы.

- Так то в пьесной форме, для театра. А ты вот стихи без рифмы сочиняешь... Что тебе - трудно, видно, рифму подобрать? А как ты думаешь, целовались они еще перед смертью? А?

- Может быть. А, может, наоборот: с ненавистью глядели друг на друга: вот до чего дошло: довела, мол, меня! Довел, мол, он меня!.. А, впрочем, и глядеть-то они не могли в эдакой тьме кромешной...

- ...Я представляю себе его, князя Дубицкого: генерал-поручик в отставке, лысоват, но крепок. Ходил с Апраксиным на Берлин, был неукротимо отважен и свиреп крут. На старости лет ступал неслышно в мягких плюсовых полусапожках - подагра одолевала, - и изредка - по делу - заходя в людские, морщил короткий широкий нос и брезгливо встряхивал крепко надушенный платок из тончайшего батиста: холопьева духа не переносил совершенно. А она - она из тихих захолустных дворяночек, взята за исключительную красу, чуть ли не во внучки ему годна, все с книжками и стишками по тогдашней сентиментальной моде, - вроде, скажем, "Истории девицы Стернгейм, по ее письмам и другим

достоверным источникам” или ”Чувствительного пастушка”. У князя - гарем, пьянство, картеж, беспутство. Метрески из дворовых девок, мертвецки бледнеющие от страха при виде князя, не слишком-то считаются с княгиней: обнаглели холопки бесстыжие... А сам князь, когда соизволит разделить с княгиней ложе, в любви груб и охален, изобидит, часто хмельной и в чужом любовном поту, - и уйдет, даже не поцеловав...

- А он-то кто? Тот, что погиб вместе с княгиней? - расширились глаза у Наташи.

- Ну, скажем, какой-нибудь архитектурский ученик из солдатских детей. Послан был за талант в Италию, совершенствовался в парижской академии, пригож был и тих. Перестраивал что-то у князя, приглянулся заброшенной княгине, вечно напевавшей за клавирами еще из мелкопоместной глуши вывезенное:

Ох! тошно мне
На чужой стороне,
Всё уныло,
Всё постыло, -
Друга милого нет;
Не глядеть бы на свет...

- Отпевали княгиню в закрытом гробу - слухи расползлись по городу тогда же... Но князь-то был в силе - сродни был самому Ланскому: замолчали. А гроб-то был пустой...

- Откуда ты знаешь все это? - потянулась ко мне всем своим ладным телом Наташа. Вместо ответа я поцеловал ее в наморщившийся носик...

- Жируют, дьяволы, любят, а ты тут спи, - заворчал за тончайшей перегородкой сосед - старый рабочий-партиец Кононов.

- Может, Митя, они уже задряхли, помолчи сам, - унимала соседа жена.

- Держи карман шире! Разве спал я-то с бабой, как было мне двадцать пять?.. Всю ночь, небось...

- Эх расхвастался! Ишь, прыткий... Да ну тебя! Оставь! Чего кобелишься?! Спать пора - завтра чуть свет ведь на завод... - Но в голосе соседки преобладали довольные нотки.

- ...типичное явление феодализма. И отношение к женщине в период позднефеодально-крепостнического периода распада привычных социально-экономических форм было собственническим, как к товару... Еще Маркс гениально представил это в формуле...

В клубе строителей было накурено, как в кратере действующего вулкана. Председательствующий Медведев чутко дремал за столом, покрытым кумачом. Роберт Савелко окончательно завяз в формулах марксизма-ленинизма:

- ...отдельная семья стала основной социально-экономической ячейкой общества и, как гениально формулировал Энгельс...

Савелко раскрыл широко рот, чтобы побольше вобрать в себя воздуха, но очнувшийся от оцепенения председательствующий Медведев, взглянув на окончательно взопревший зал, застучал карандашом по столу:

- Так вот, товарищи. Наш уважаемый товарищ Савелко подвел марксистско-ленинскую базу под тот факт, что вскрылся на днях на одной из наших строек. А фактура дела такова: было это еще при царизме, аж еще при крепостническом помещичьем феодализме. Ну, следовательно, у старика-князя женка была молодая и красивая. Вот и схлестнулась она с молодым парнем, из

трудового народа. А муж их и накрыл. И враз заму-
ровал обоих в стену, в камору эту...

- И у нас на селе такую курву проучили бы, - им
только дай поблажку, - слышались в зале явно со-
чувствующие голоса тех, что постарше. - Шш, - зашипели
на них другие, а Медведев поспешил со своим разъяс-
нением дальше:

- Чтобы доле помучились, даже питья им и еды
оставил, а обоих приковал к стене и креслам: сверху
так, чтоб могли не только еду принимать, но чуть ли
не обниматься, а снизу, по ногам, совсем накоротко:
чтоб никаких непредусмотренных движений и
поступков...

- Озаботились, значит, спроектировали на совесть,
- хохотнули в зале.

- И вот так-то зверствовали бары - помещики и
капиталисты - над нашим братом - трудящим народом,
- и ничего им за это не было - закон-то был в их
руках, на ихней стороне...

- Пойдем ко мне, Наташенька. Поздно сейчас тебе на
твою Полтавскую тащиться...

- Обзаконился бы ты с Наталкой, - ворчала поутру
соседка. - Девка ядреная, что твой грецкий орех, и
характер подходящий... А то поиграешь с ней - да и в
кусты...

- Я, Лизавета Ивановна, и рад бы, да меня скоро
угонят в Надеждинск на стройку - куда же ей в такую
даль тащиться...

- А и на Урале люди живут. Чего она тут, в Питере
этом, не видела? Или ты и бежишь-то на Урал, чтоб не
обзакониться?

А вечером ко мне склонился сморщенный мило носишко
Наташи:

- Ну, что же, пожалуй, и поедем. А только, милый, - нельзя ли похлопотать, чтобы не усылали? чтобы здесь остаться?

КАТЮША

Памяти Александра Кулиниченко

Выходила на берег Катюша,
На высокий на берег крутой...

Часто слышу: все, мол, мои рассказы по одной схеме: *теперь* что-то вызывает в памяти моей *прошрое*. Сознаюсь, часто это у меня так. Но что поделаешь? Ведь всегда-то мы рассказываем *по поводу*, не иначе. А повод всегда тут, всегда рядышком.

Уж, казалось бы, можно ли любить, скажем, советские песни? Всегдашняя дешевка, сырная слеза густомещанского сентиментализма всяческих там "подмосковных вечеров", - а ведь и те, что любят в музыке настоящее, всплакнул иной раз, так как в их жизни что-либо с этими мотивчиками связано. Так вот и у меня. Я даже чуть-чуть не написал "на высокий на берег Крутой": с заглавной буквы.

В пересыльной ленинградской тюрьме сдружился я с морским офицером, вернее, инженером-портостроителем, бывшим мичманом царского флота, милейшим и сердечнейшим Владимиром Ивановичем. Дали ему десятку "через испуг", то есть вначале приговорили к расстрелу. И в этап - как оказалось, на Ухту, попали мы

вместе. Когда дотащились - пешим хождением - от Усть-Выма до Чибью, будущего города Ухты, лагерной столицы, то попали, по счастью, не на общие физические работы, а в планово-производственные части: я - нефтяного отделения лагеря, Владимир Иванович - строительства тракта Чибью - Крутая, соединяющего поселок Чибью с Асфальтитовым рудником. Дорога недлинная, но условия строительства тяжкие: таежные ручьи, торфяные болота, а где посуше, там копнешь немного - и сплошь почти пливун, мельчайший песок, что как подмокнет и смерзнется, к чёрту рвет все шоссейное покрытие. Из-за сложности и трудоемкости строительства и была организована особая лагерная командировка.

Столица лагерной империи (территория ее была побольше, чем Франция, Бельгия, Голландия и Люксембург вместе взятые!) называлась тогда Чибью, по имени жалчайшей речонки, впадающей в Ухту как раз в центре поселка. А неподалеку от впадения стоял небольшой барак-временка топографической партии, где останавливался на ночлег Владимир Иванович, частенько приезжавший в управление нефтяного отделения или всего лагеря - по производственным делам. Бывал и я у него в конторке на тракте, но чаще Владимир Иванович бывал в Чибью, и мы сживали с ним на обрывистом берегу речушки, рассказывая друг другу и прошлую жизнь, и лагерные новости. В тридцать шестом году заключенные инженеры не были еще законвоированы, и в перерывах между работой можно было и погулять вдоль речки, и даже по улицам вольнонаемного поселка.

Вскоре из Москвы прислали нового начальника строительства тракта Чибью - Крутая, капитана госбезопасности 3-на. На такой малый объект - и вдруг капитана! Ведь и сам-то начальник управления лагеря, Яков Моисеевич Мороз, был всего-навсего майором

госбезопасности. Ясно, что капитан-то капитан, но из бывших эзков (как, впрочем, и сам Мороз). Так и оказалось. Владимир Иванович хорошо знал историю 3-на, даже встречался с ним когда-то на воле. История эта настолько занятна, что не могу не отвлечься - хочется хотя бы мимоходом остановиться на ней. Как и Владимир Иванович, 3-н окончил еще до первой мировой войны Морской корпус, следовательно, был из столбовых дворян. Высокий, осанистый, чистый барин с виду, он и теперь резко выделялся из всех обычно плюговатых чекистов. Октябрьскую революцию встретил враждебно - подался на Дон, оттуда - к Деникину. Ну, какой уж там у Деникина был флот?! Потому дрался с Красной армией не то будучи в Корниловском, не то в Марковском полку. И как-то, когда его части пришлось поспешно отступать, остался он на поле боя. Думали его товарищи, что 3-н убит, захватить же с собою труп не смогли. А 3-н очнулся - и видит, что свои ушли, но нет еще и красных. Ранен сильно, куда уж тут поползти до своих! Но и погибать, быть зверски добытым - не дело. Глядит - рядом труп его же примерно роста, весь, как тогда у комиссаров принято было, в черной коже: потрепанной кожанке, кожаных же галифе, а на кожаной фуражке - маленькая красная звездочка. Была не была, решил 3-н рискнуть. Из последних сил переоблачился в комиссарову одежду, успел еще посмотреть - кто он по документам, и снова впал в беспамятство. И вот - бывает же такое везенье! - на место боя пришла не та красноармейская часть, что тут сражалась. Была она слишком потрепана, - и ее отвели подальше на переформирование. Пришла совсем другая часть. Подобрали тяжело раненного комиссара "3-на", и наш моряк, как-то подремонтированный в ближайшем госпитале, волею судеб стал обладателем большого партийного

стажа, полковым комиссаром Красной армии. Он отличился в боях, заработал ордена, дошел до звания комиссара дивизии, а когда кончилась гражданская война, занял какое-то большое военно-политическое положение в одном из важнейших округов - все время предусмотрительно избегая даже кратковременных командировок на север от Байкала, откуда был родом тот человек, роль которого ему пришлось играть. Но З-н заслужил благоволение самого *хозяина*, и решил Иосиф Виссарионович порадовать своего любимца, сделать ему сюрприз: на очередное награждение орденом Красной Звезды были выписаны из какой-то сибирской таежной глухомани "его" родители, безграмотные мужики.

- Да то ж не наш сынуша! - только и вскрикнули на смерть удивленные "папаня и маманя" З-на. - Наш-от рыжий и конопатый, а этот-то, глянь, вовсе другой, и говорит не по-нашенски...

Приговорили было З-на (это имя так и приросло к нему, а подлинного и при допросе не выколотили!) к высшей мере - расстрелу, - да ворон ворону глаза не выклюет - был ведь он на такой же работе, только по военной линии, - вот и заменили ему вышку десятью годами лагерей, а там, через два-три года, "за ударную работу", освободили, сняли и судимость, и "за успешное выполнение особо важных государственных заданий" дали и орден, и звание капитана госбезопасности.

С З-ным прибыли на строительство тракта и новый начальник третьей - оперчекистской - части (внутрилагерного НКВД), и его жена, аппетитная Катерина Андреевна, как раз инженер по автодорожному строительству. Ну, инженером-то она была липовым, до пути даже чертить не умела, но бабой была доброй, вульгарноватой, но красивой и ласковой.

А муж - известно, каким мужем может быть чекист-оперативник? "Не мужчина, а облако в штанах", - как говорил Маяковский. А тут рядом - Владимир Иванович, не красавец, правда, но воспитаннейший, интересный собеседник, вдоль и поперек изъездивший весь свет, аристократ. Вот и добилась наша Катюша, чтобы всяческие дополнительные проектные работы делались даже не в конторке на лагпункте управления строительством тракта, а в центральном проектном бюро лагеря, в Чибью, и чтобы Владимира Ивановича туда, как крупного специалиста, перевели. И от мужа подальше, да и - как-никак - не в полной глуши, а в лагерной столице: тут и кино, и даже опера (артистов-то заключенных было хоть отбавляй).

Вот работают они вместе целыми днями, часто и на ночь остаются - работа ведь срочная! - далеко ли до греха? А Катюше уже под сорок, и сдобные тела своего требуют. А мужа, кстати, послали в длительную командировку на Печору и Воркуту... Тут уж развернулось все так, как того природа хочет. По совести сказать, и мне по душе была Катенька. Но где уж было мне соперничать с Владимиром Ивановичем! Я огорчился, писал по ночам сквернейшие стихи, вроде таких вот:

Эта тонкая, русская грусть,
Акварельная ласковость взгляда...
Я опять одинок. Что же, пусть!
Мне любви Христа-ради не надо...

- "Как дошел ты до жизни такой?" - смеялся Владимир Иванович. - Ведь вы осуждены не за похищение чужой собственности, а ваши вирши слишком отдают некрасовской строчкой: "Беспокойная ласковость взгля-

да"! И притом, запомните, уж кто-кто, а женщина сама не терпит любви "Христа-ради"...

Все у них, понятно, было шито-крыто: ведь за связь с заключенным можно было и самой пять лет срока заработать, а заключенному самому срок удвоить, пожалуй. Начальник строительства, З-н, подозревал что-то, но ему-то что? Тем более, что с зэка Владимиром Ивановичем они были давними знакомцами. Лишь бы наружу не вышло.

А Катюша расцвела - даже как-то менее блинообразным стало лицо, глаза сияют как звезды, некая расплывчатая сырость, что была раньше в фигуре, - и та села в форму, веселая стала, не только Владимиру Ивановичу, но и другим стала подмогать чем можно: то кусок сала притащит, то пирожок (а ведь и за это, если кто-нибудь стукнет, донесет, - ох, как можно было поплатиться!). И в разговоре у нее стали появляться какие-то до той поры несвойственные ей интонации и даже слова. И какая-то душевная сытость - не откормленность - совсем, совсем другое: успокоенность женщины, которую любят. И любит первый по-настоящему порядочный человек. Даже почитать стала, чтобы подтянуться до уровня Владимира Ивановича, не только книжки по специальности. Говорила, что любит "стишки Пушкина и Иосифа Уткина". Как-то, когда мы все остались заканчивать спешную работу допоздна в бюро, притащила гитару и довольно приятным низким голосом пропела про Катюшу, что выходила на высокий берег - на крутой... И тут же печально вздохнула: ведь так или иначе, а придется возвращаться на эту самую Крутую, куда уже подходил заканчивающийся строительством тракт...

Но может ли хотя бы самая непритязательная идиллия долго длиться в стране уже построенного социализма? В

1937 году капитана З-на вызвали "по делам строительства" в Москву, но расстреляли, кажется, еще по пути в Белокаменную. Владимира же Ивановича, как крупного государственного преступника, угнали посеевернее, кажется, на Ыджид-Кырту.

И не узнать стало нашу Катюшу: глаза обрезались, платье на ее когда-то налитой фигуре висело как на вешалке - и всё, рассказывали, выходила она на крутой берег Крутой, где сиживала с Владимиром Ивановичем, и тихонько там плакала.

Обыкновенная история? Может статься. Но вот, как запоеет кто-нибудь эту самую разухабистую, на плясовой напев написанную "Катюшу", - так и вспоминается Ухта, так и приходит на ум Крутая, так и воскресают в памяти все те же, проклятые, но значительные, мучительные - и все-таки молодые! - годы...

СНЕЖИНКИ

Снег лепил и лепил причудливые всхолмления, фантастические сосны и ели. Темные ветви почти не вырывались из-под белых балахонов, а небо было бледно-серым и безнадёжным, как снятое молоко.

А в комнате конструкторского бюро было тепло, стены из векового леса были хорошо во всех пазах проложены мхом, даже центральное отопление работало в этот день без перебоев. Сидя в тепле, было хорошо следить за снегопадом, и мы как-то не думали о тех, кто в эту пору был на лесоповале, на постройках или на буровых. А ведь многие из нас побывали на общих работах, технолог Сергей Михайлович пришел в бюро с лесозаготовок всего две недели назад, да и в любой

день любого из наших инженеров, сплошь "контриков" и со сроками заключения в 8-20 лет, могли опять погнать на рытье котлованов, строительство буровых вышек или трелевку леса вручную. Таких бедняг, выволакивавших лесины с места порубки до лесных дорог, так и называли в лагере - "вридло" - временно исполняющими должность лошади".

- Ведь вот, поди ты, - побарабанив пальцами по стеклу, задумался вслух архитектор Воронков, - нет ведь ни одной снежинки, которая бы повторяла другую: все решительно неповторимы, как отпечатки пальцев, скажем.

- Это тебе не люди, - люди в массе все на один манер - попробуй в толпе отличить одного скота от другого, - проворчал нефтяник Николай Гаврилович.

- Ну, это как раз чепуха: как раз личность-то человеческая совсем исключительна, неповторима, - возмутился молодой топограф Гриша.

- Вы, Гриша, философ, - огрызнулся Николай Гаврилович, - это все из кантов да лейбницев, - а вон, гляньте за окошко: видите, прет очередной этап: вся эта серая, безликая, однородная масса: одинаковые грязно-серые бушлаты, ушанки, штаны. И такие же серые помятые лица. Какие там лица, впрочем! - серое, безликое, однородное...

- Пока не присмотришься, - тихо возразил Сергей Михайлович, - а как взглядишься, - и каждый на свой образец. Это только машинное производство серийно и одинаково.

- Не скажите, дорогой. Купишь бритвенные ножи: так в одной и той же пачке: одним скоблишь морду - ничего себе, а другие с корнем волосы рвут, прямо наплачешься, пока бреешь физию...

А через день у нас в бюро уже работал горный

техник из нового этапа - Володя Штерн. Небольшой, страшно худой, небритый, с вечно голодными провалами глаз, но компанейский и веселый. А уж в части соленых анекдотов и рассказов про баб зашиб самого старика Николая Гавриловича, великого циника и острослова.

- И чего треплется, - бурчал Гаврилыч, - сам махонький, подумаешь, жеребец...

Володю на первых порах и подкармливали немного - чем Бог послал. Но зимой посылок из дому не было, сами поголаживали. И парень оставался таким же византийским аскетом на вид - как со староверской иконы. И глаза черные. И сам, как побреется, - сизый. И густые черные кудри. Просто - красота.

Начала на него засматриваться жена начальника грозной оперчекистской третьей части, Вера Николаевна. Бабенке лет тридцать, ядреная, кровь с молоком, а промысел наш далекий, до лагерной столицы часто не доберешься - тракт полуразбитый: поедешь - наплачешься. Скука. Муж-то - разве настоящий? - вышедший в тираж чекист-оперативник откуда-то с Урала. Такие всегда с изъязном: нервы расстроены допросами с пристрастием да расстрелами, обласкать бабу физически не в состоянии, не то что детей завести. Ну, а в лагерной столице - там и вольнонаемных мужиков немало, главным образом, понятно, из бывших заключенных же, но на дальней командировке - тут выбора большого не представляется. А Володя-то - парень-ягода, двадцать три года, хотя и небольшой, но видный, глазастый, краснотубый. Уедет куда-нибудь по работе муж нашей Верочки, а она тут как тут. Служила в культурно-воспитательной части, вот и вызывала - больше к ночи - Владимира: то насчет спектакля какого-нибудь, то "поговорить о делах библиотеки", - благо, Володя в жизни книжки в руки не брал.

Видим, толстеет наш техник не по дням, а по часам, да и у Верочки стан как-то заметно округляется - это через полгода и скрывать стало нельзя. А у мужа морда сердитая, в глаза никому не глядит при встрече. Хотел было упечь подальше нашего Володю, уже и свидетелей подыскал для нового ему срока "за лагерную антисоветскую агитацию", - для привеска эдак лет в пять, - да только Вера Николаевна такой привесок мужу показала, что он, гроза не только заключенных, но и самого начальника промысла, толстого старшего лейтенанта Павлова, - ходил с неделю с подбитым глазом и разорванной губой. Так и уцелел наш Владимир, и Вера не бросила его.

Но не одна Вера Николаевна. Жена начальника промысла, Сима, Серафима Ивановна Павлова, тонкая, как черкешенка, с заметными усиками над большим, но красиво изогнутым ртом, тоже отметила Володю. И не раз вызывала его, хотя на промысле не было недостатка в специалистах, а Володя был горняк, да притом липовый, - то починить электропроводку, то поправить что-то в отоплении. И все - к ночи. И все - когда муженек в отъезде. А с Верой Николаевной, с которой до того водила печки-лавочки, по неделям теперь не говорила ни слова, даже отворачивалась при встречах.

- Работай, Володя, вспахивай чужие пашни! Ишь, какую ряжку нажрал, - полузавистливо-полудружески поскрипывал по утрам в конструкторском бюро Николай Гаврилович.

- Прекрасный из тебя вышел штейгер, - вздыхал верзила Воронков, вечно мечтавший о женщине, говоривший только о женщинах, рисовавший женщин - не весьма пристойно, но искусно - на всех обрывках кальки, черновых расчетах, полях и чистых страницах книг: в тюрьмах и лагерях голодный желудок, увы, не убивает

голода любовного - кое-кто даже свихивается с последнего ума.

А Володя сонно хлопал покрасневшими веками - видно, завидная доля не давалась ему даром: днем он пребывал в каком-то полусомнамбулическом состоянии.

- Оставьте его, чёрта сытого, в покое, - зло кривился совсем юный топограф Гриша: на него, белобрысого, белоглазого и робкого, не обращала внимания ни одна лагерная Мессалина. В присутствии женщин он весь покрывался мелким бисером пота.

Видать, посовещались-посовещались наши промысловые вожди - да и загнали лагерного Керубино на дальнюю-дальнюю, совсем Богом, начальством и людьми забытую командировку Лья-Иоль. Поставили его там на работу коллектором - по собиранию и первичному изучению кернов - эдаких цилиндриков породы, извлекаемых из скважин при бурении. До Лья-Иоля было километров сорок - не меньше, дороги шоссейной, даже хреновой, туда отродясь не водилось, а ехать по гатям, по накатам из разного диаметра сосняка - да еще на расхлябанном грузовике-астматике, - это такая сласть, что и врагу рода человеческого не пожелаешь.

"Уж туда-то наши бабы не сунутся", - решили, очевидно, наши начальнички. И - просчитались. Бывало, чуть катнут они в управление лагеря - за двадцать три километра разбитым трактом (это за день не обернешься!), а уж наши обе дамы - тут они поневоле примирились - на грузовик - и на Лья-Иоль, к Владимиру. Вернутся мужья - нет жен. А начальник третьей части еще и беспокоился: ведь должен же был понимать, чьего ребенка ждет его половина, а ждал его с нетерпением и даже с любовью:

- Растрясет ее, дуреху, на накате-то... Времянки наши, сам знаешь какие: как для чёртовой чехарды...

- Что же, еще и автостраду для них, потаскух, строить прикажешь? - огрызнулся начальник промысла, - но оба ехали на Лыа-Иоль, матерясь и дуясь друг на друга, хотя оба были в одинаковом положении.

- А ведь мы с Верочкой ждем, наконец, прибавления семейства, - вдруг расплылся чуть ли не восторженной улыбкой начальник третьей части.

- Почему это мы?! - начинал было Павлов. - Жена твоя ждет, а ты-то причем?! - И тут же спохватывался: что за разговоры в присутствии шофера-контрреволюционера; да вдруг и у Симы... Похоже на то...

Собеседник же его все улыбался, радостно и полубесмысленно, как, впрочем, немалое число мужей:

Тьмы низких истин нам дороже
Нас возвышающий обман...

И снова думали-гадали, и снова думали наши злополучные мужья - и долго придумать ничего не могли: как ни всемогущи чекисты (ведь в порошок можно было бы стереть этого Штерна!), но поди-ка, тронь! - Жены за него, проклятого, глаза выдерут. Себе дороже. Потом смягчили: написали по линии, что, мол, администрация и оперчекистский отдел промысла, учитывая совершенно блистательную работу стахановскими методами и полную идейную перековку з/к Штерна Владимира Семеновича, 24 лет, осужденного по статье 58-10 УК РСФСР на три года и отбывшего уже год и четыре месяца заключения, включая и время пребывания под следствием, - считают возможным ходатайствовать об условно-досрочном освобождении вышеназванного з/к Штерна Владимира...

И - чудо! Видно, внял чекистский промыслитель мольбам своих ветеранов: через три месяца, когда

осчастливленный папаша нянчил крепыша-сына Вовку (не подумайте чего худого: в честь Владимира Ильича Ленина!), а Верочка, еще более дебелая и с томной поволокой глаз, шипела мужу про Симу Павлову: - И чего только этот дурак глядит, - его баба от Володьки понесла...

...почта из Москвы принесла Штерну Владимиру Семеновичу досрочное освобождение.

Ликовал начальник промысла. Ликовал начальник третьей части: "Уедет теперь, небось!" А Володя ходил озабоченный и хмурый: как быть? Наконец, решился: остался на промысле по вольному найму. И остался подло: не поговорив с промысловым начальством, а прямым, через его голову, через назначение из главного управления лагеря.

- Молодчага, подлинный энтузиаст строительства, - пожал ему руку сам начальник управления - полковник-орденоносец.

А Володя говорил Николаю Гавриловичу:

- Ну, куда мне ехать?! Я ведь - недоучившийся студент. Здесь же я - в хороших работниках хожу.

И опять за окном лепила снежная замять. И опять шли серые, безликие, в одинаковых бушлатах и ушанках новые этапы.

И падали снежинки, вовсе не похожие одна на другую.

ДУША, КАК ГОСТЬ

Редактировал я тогда одну книгу. И, чтобы выпустить ее как можно тщательнее, последнюю неделю буквально не вылезал из типографии: тут же корректировал гранки, следил за расположением стихотворных

строф на страницах, ругался с линотипистами и хозяином.

Выйдя в перерыве, чтобы где-нибудь перекусить на скорую руку, я случайно взглянул в витринное зеркало: - батюшки! не стригся, видать, месяца четыре... Вид аховый. И тут же я завернул в ближайшую парикмахерскую, в подвальчик, совсем небольшую, с одним мастером и с совсем старомодной вывеской - такие встречались в русской провинции, только здесь буквы были латинские:

"Якопо Бенвенуто Рубини".

Мастер, средних лет, с большими залысинами на лбу и седыми висками, со скорбно опущенными углами губ и выпуклыми печальными глазами, театральным жестом предложил мне занять кресло, обвязал вокруг шеи покрывало и старательно заткнул за шиворот мягкую бумажную салфетку.

- Поко-поко, - сделал я у самого затылка жест пальцами, сдвигая и раздвигая их, как ножницы: - э модерато, - этим был исчерпан весь мой итальянский словарь.

- Может, вы говорите по-русски? - неожиданно спросил меня маэстро Рубини.

- О, да, конечно.

- Мы пана обстрижем по-нашему, под-полечку...

- Вы хорошо говорите по-русски. Вы давно из России?

- Два года. Через Польшу.

- А где жили в России?

- А не так много - где: на Ухте, в Казахстане...

- На Ухте?!

- Ну да. Я был заключенным там. Работал вторым парикмахером на управленческом лагпункте.

- Рубин?! Это - вы?!..

- Да неужели... Да Господи ж... Да быть того не может...

- Это я, Яков Вениаминович, это я. Ведь и наши койки в бараке были рядом... Но почему вы стали Якопо Рубини? И как попали в Нью-Йорк?

- Если хотите знать, - это целый роман. Или, вернее, драма... А Рубини стал потому, что квартал этот, ну, только художники и потаскушки... Ночные бары, артисты, бродяги разные... Тут половина взяла итальянские имена: искусство! Нельзя же отставать от других - коммерция...

...Последний этап на Ухту - поздней осенью 1940 года - живо заинтересовал и уголовников, и лагерное начальство:

- Ну, держись, братва, - Европа к нам хряет, - смеялись уркаганы.

В модных тогда коротких пиджаках с нашивными карманами, в широких брюках и в мягких фетровых шляпах; в атласных и шерстяных платьях; с необычными разноцветными чемоданчиками, к нам подходили все новые и новые толпы мужчин и женщин. Это были схваченные в только что освобожденных от панского гнета областях Западной Белоруссии и Украины евреи (поляков погнали на Ветлосян, украинцев и русских на тракт Чибью - Крутая, а белорусов на лесоповал к Лыя-Иольским буровым).

За что их схватили? В чем их обвиняли? На это ни они, ни их конвоиры не могли бы ровно ничего ответить: их схватили, посадили в теплушки - и привезли вот сюда, не предъявив даже обвинительного заключения. Некоторых, правда, для порядка били, кое-кого даже попытали, но без большого усердия. И формулировку обвинения, и сроки им объявили только через несколько месяцев, уже на месте, в лагере НКВД: "ПШ" - "подозре-

ние в шпионаже": "могли *оказаться* шпионами"... Сроки - от пяти до десяти лет. И всё. А сейчас - они не понимали ничего:

- Мы встречали русские войска с цветами... Ведь нас, евреев, поляки не очень-то жаловали... И вот - пришли освободители, для которых нет различий между людьми - все равны, все братья... Да и все мы - трудящиеся - портные, шапошники, сапожники, парикмахеры...

За их пиджаками и юбками, штанами и шляпами и началась теперь свирепая, ожесточенная и упорная охота. Оголодавших, непривыкших ни к приполярным условиям, ни к тяжелому физическому труду евреев-ремесленников намеренно поставили на самые непосильные для них работы - на рытье котлованов, на засыпку и осушение торфяных участков на строительных площадках новых цехов. Евреи норм выполнить не могли - и получали штрафной паек - триста граммов липкого глинистого хлеба и пустые щи из хряпы - зеленых внешних листов капусты; они тощали - и продавали за бесценок свои вещи: лишь бы как-то прикупить хлеба, какого-нибудь жиру и сахара. Покупали вещи чекисты и их жены, а кто повыше, кому торговаться с заключенными контриками было совсем зазорно, - те покупали пиджаки и юбки через уголовников, работавших в аппарате управления. Наконец, покупали вещи у тех уголовников, которые попросту ограбили зазевавшихся "западников".

Рубину посчастливилось устроиться в парикмахерскую управленческого лагпункта; заправлял ею вор-рецидивист, уже неоднократно бегавший из тюрем и лагерей, Федька Чума; Федьке страстно захотелось носить фетровую шляпу с проломом, и, получив ее от Рубина, он быстро сварганил назначение Якова Вениаминовича вторым мастером. Рубин был на верху блаженства: в тепле, не надо топать за пять-шесть километров

на работу, да и доход кое-какой - чаевые от стригущихся и бреющихся заключенных, из которых, правда, львиную долю выхватывал Чума.

Однажды Рубин подсел ко мне на койку совсем убитый:

- Федька Чума меня нагло ограбил...

- Каким образом, Яков Вениаминович?

- Вы понимаете, пошел я сегодня в баню. А у меня деньги были - двести целковых. Ну, я, знаете ли, уже слышал - как обкрадывают в бане! Я и отдал свои деньги на сохранение Федьке... А он после, когда я у него их спросил, не только матом меня покрыл, но и ударил что есть силы: - Отойди, гад... Надоел...

- Что вы сделали, Яков Вениаминович?! Ведь Федька - вор и бандит... Как можно было доверить ему деньги?!

- Да, вор, конечно... Но ведь и он - парикмахер, и я - парикмахер... Должна же существовать корпоративная честность?!

С тех пор так и прозвали Рубина "Корпоративной Честностью"...

...И вот теперь "Корпоративная Честность" стояла передо мной в Нью-Йорке, в халате парикмахера - маэстро Якопо Бенвенуто Рубини, радостно глядела на меня, потирала короткие ручки, переступала с ноги на ногу, как бы пританцовывая от нетерпения.

Наконец Рубин не выдержал:

- Знаете что?! Разве могу я сегодня больше работать?! Нет! Такая радость! Если б вы только знали - какая вы мне радость! Во мне уже не было почти души - ведь у меня не оставалось уже прошлого. А без прошлого - как жить душе? Вы - то, что у меня осталось от прошлого. Только вы... Вот, последние разики ножницами - и вы будете как римский бог! Классическая полечка, а не паршивый здешний бокс... И теперь -

мастерскую на замок - и идем - и выпьем! За такую встречу!..

В ресторанчике местных художников, выставяющих свои произведения прямо на тротуарах Вашингтон-сквера, было в этот час пустовато и темновато. Где-то ныл осипший теноришко какую-то пронзительно-омерзительную, как зубная боль, мелодию о любви, а Рубин, голосом срывающимся от волнения, наплыва воспоминаний и давно невысказывавшегося горя, - рассказывал мне свою эпопею.

После первых месяцев войны и поражений его досрочно освободили: на воле уже так мало оставалось мужчин-работников. Но домой его не пустили. Да и куда было пускать?! В Белоруссии хозяйничали немцы. Послали в Акмолинск. Там работал парикмахером. Стремился что-нибудь узнать о семье - ничего. Как и не было. А дома остались и молодая жена Яся, и сынок - хорошенький и умненький, уже восьмилеток - Бенья. И старая его, Рубина, мама - Сарра Моисеевна, и брат матери - портной Наум Гольдберг, и еще много родни - не всех же арестовали тогда. Где же они все? А слышно было о тех краях такое, что не хотелось ни жить, ни думать, ни даже узнавать *наверное...* В Двинске двадцать тысяч расстреляли, многих не дострелили, зарыли заживо. Не так глубоко. Ночью жители слышали стоны из-под земли. В Невеле сами и ямы себе копали перед расстрелом. Да, Господи, разве есть силы пересказать все?!

- Я надеялся - и не надеялся, я не раз сомневался даже в Творце. Я кричал, как в древности наши предки кричали Небу: "- Тебе принадлежит все: и весь этот мир, и земля, и леса, и воды, и все мы, и дома наши, и семьи наши... Зачем же Ты разрушаешь все целиком?" - И казалось мне в отчаянии моем, что слышу я с неба

Голос не всемогущества, а покаяния передо мной, песчинкой на берегу необъятного океана: "- Победили Меня сыны Мои, победили Меня"... - И становилось мне так страшно, будто заживо душа моя ушла - и борется с Ним, как прародитель наш - Иаков...

- И вот - немцев погнали, как скот, далеко, далеко, били их уже за Берлином. И я, наконец, смог - после, ой, каких хлопот и беготни! - поехать домой, к своим. Домой! Дома - одни обгорелые трубы торчат. И - никого. Узнал после: мать убили здесь, жену, дядю Наума Гольдберга, сына, Бенечку моего - и девяти ему тогда не было, - и всех, кого знал, кто еще оставался дома, - сожгли в Аушвице. И друзей - кого здесь, кого в лагерях в Риге прикончили. Не спрашивайте уже - как. Самому не хочется жить. Сам ходил, как мертвец. Даже ненависти не было - страшнее: была мертвая пустота. Только бились, как жилка, в душе слова Наума Гольдберга - он был ученый человек, очень умный: "- Душа, как гость: приходит и уходит, но не знаешь ты наверное, никак не знаешь - когда она уйдет от тебя".

- Да, вот, - мучили меня, арестовали, в лагерь швырнули ни за что: а я - жив. А мои, к которым я годы рвался, - что с ними сделали?! За что?! И не знаешь - что лучше: жить - или не жить, чтобы не знать, не видеть, не думать?.. Разве лучше так вот жить, как я живу? Ведь душа моя ушла почти вся к ним, туда, нет меня здесь...

- Потом уехал вот сюда - ехал через Германию, как через ад, но ненависти не было: было больше, чем ненависть, - и хуже, чем она. Не скажешь даже - что: слов таких нет у меня. Вот приехал сюда. Здесь - дальние родственники отца. Но разве они могут понять?..

- И вот вы: вы, единственный из моего прошлого.

Душа, как гость: приходит и уходит, когда вздумается ей... Не уходите же от меня! Не уходите так скоро! Чем смогу я вам быть нужным? Ну, дорогой, хотя бы брейтесь и стригитесь у меня. Даром. И с самым лучшим одеколоном. Хотя бы это! Ведь больше у меня - ничего. Вы один оттуда, где всё, всё прошлое. А без прошлого человек - как деревцо без корней. Вот - и горе всколыхнулось, но и радость: встреча. Идемте же - я вас еще хоть выбрею...

ЧУЖИЕ ГНЕЗДА

...Это было волнующее время! Как все ждали тогда приезда генерала! Какие надежды возлагались на него! С каким замиранием сердца слушались его простые, не-красноречивые речи! В немцев уже не верил никто: хорошо их узнали, да и увидели, что большевиков им не сбросить. "Спаси Россию могут только русские!" - слышалось повсюду. "По путям жизненных передрыг и ужасов Господь ведет нас к новому порядку вещей. Нельзя повернуть события назад. Вперед же!" И трезубец св. Владимира все чаще появлялся на тощеватых брошюрах, то и дело рассовываемых молодыми людьми, всеми правдами и неправдами просачивавшимися с неведомого и запретного русского Запада. Сколько вытаскивалось из старых и новых книг утешающих в беде изречений, сколько выискивалось стихов и предречений! Была бы охота, а уж умишко человеческий так устроен, что вечно подберет себе желательное, подсунет заранее заготовленное искомое...

Я был вовлечен тогда в водоворот событий. О, у меня и до сих пор не так мало в душе "кусочков непрожеван-

ного детства"! Могу, кажется, и до сих пор увлекаться, даже жизнь свою положить за други своя. Но только, конечно, с позочкой: чтобы музыка играла, прославляли бы за подвиг, ну, хоть на полтинничек...

Ну, да это в сторону. Я жил тогда в поганейшем северном городке. Устраивал встречи *его* офицерам, ему самому. Когда Андреевский флаг и трехцветное знамя взвивались, прикрывая ненавистный гакенкрейц, все верили: так будет. И так *должно* быть.

Я участвовал в самых трудных начинаниях: высадках в советском тылу, организации политических диверсий, пропагандной работе на самой линии фронта.

Городок был глухой и сквернейший. Здесь, помнится, стоял одно время царский поезд, уже после отречения императора от престола. А сейчас здесь была школа переводчиков при германской армии и небольшая часть РОА.

РОА... Как много говорили тогда эти три буквы! Ведь он, чуть рябоватый, высоченный, в больших круглых очках, сильно окающий, - сразу нашел нужный тон. И с немцами, и с такими, как я. И - тем более - с солдатами. Весь городишка ждал его тогда. Городской голова, посаженный немцами обербургермайстер, был случайно заброшенным военными передрягами в эту дыру большим ленинградским инженером, маленького, впрочем, роста. (Не смотрите на меня так свирепо: я плохо остроумничаю? Ну, что же...) Важный, гордый своей эфемерной властью, он сидел в небольшом кабинете в бывшем здании Госбанка, уступленном немцами для городской управы. Любой унтер-офицер Вермахта мог ликвидировать всю эту управу и отменить все распоряжения городского головы. Но, как говорит, пословица, - сделайте меня начальником, а сволочью я уже сделаюсь сам... Речь бургомистра текла медлительно, словно

капала, и слова торжественно выступали, сторожко и раздельно, точно опасаясь наступить друг другу на пятки или задеть соседа локтем. Серый костюм мешковато сидел на нем - он был в свое время богат и позволял себе роскошь - не обращать внимания на платье. Не менее пятнадцати лет из своих шестидесяти пяти отдал он советским тюрьмам и лагерям - и люто ненавидел советчину. Ненависть эта перерастала, впрочем, в неприязнь ко всему русскому, и он искренне, а не только из подхалимства готов был служить любому немецкому зондер-фюреру: - придите и владейте нами... Земля наша велика и обильна, но наряда в ней нет...

- Советская школа?! - Ну, оставьте! Не образование, а оболванивание молодежи...

- Ну, какой он инженер! И кончил-то он институт в советское время! - Но при этом он был сентиментален и любил декламировать о национальном величии *прошлой* России и о ее вселенском призвании. Но тоже - если она вернется к прошлому...

Жена его - толстая, рыхлая, белая, ходившая в раскачку, - всем своим внешним и внутренним обликом напоминала квочку. Влюбившаяся сразу же после прихода немцев в немцев и все немецкое, она мечтала о переезде в Германию, о немецкой партии для своей живой и миловидной семнадцатилетней дочери Наташи, дочери, которую она неестественно-восторженно любила, спала с ней в обнимку и всю с головы до ног исцеловывала:

- Дай, Наточка, я поцелую тебе грудку, животик, бедрышки...

К мужу она относилась сурово-деспотически, не любила трат, следя за каждой копеечкой их, действительно, более чем скромного жалованья. Верующая традиционно и крепко, она была животной привязана к мужу, звериной любовью обожала дочь и столь же зверино

ненавидела всех остальных и все остальное: особенно чужих детей и животных. Исключение составляли немцы - резурвуар возможных партий (если фюрер разрешит браки с русскими!) для ее дочери.

Наташа была неглупа, себе на уме, начитанна, ласкова, воспитанна. Ее бледное личико всегда было приветливо и осмысленно. Она любила Есенина и шоколад, церковную службу и кинокартины с блестящей жизнью и хорошими костюмами киненебожителей.

В квартире городского головы я и получил комнату. Вести себя я не умел - и не умею. Взлохмаченный и вечно встревоженный, я в свои тридцать восемь лет бегал, как мальчишка, с увлечением говорил о вещах, выпадающих из круга приличных общепринятых в обществе разговоров, и в глаза и за глаза ругал людей, с которыми меня сталкивала судьба и от которых нередко зависела моя собственная судьба. Я сразу же, например, повздорил и с городским головой и с его рыхлой супругой. Только с Наташей установились у меня какие-то полудружеские-полувраждебные отношения, не без привкуса кокетства и легкой дразнящей влюбленности с обеих сторон.

- Вы все равно ничего не понимаете в практической жизни. Мечтатели и поэты должны отказаться от участия в политике. Вот, например, мы, практики, - мы никогда не пойдем за вчерашним большевиком, советским генералом. Да и какой он *генерал*? И почему вождем Освободительного движения не выдвинуть какого-нибудь из испытанных старых белых генералов - Краснова, скажем?..

Я горячо возражал, забыв и про разницу в возрасте и про германофильские воззрения обербургомистра, а затем, спохватившись, махал рукой. Но было уже поздно:

- Большевик, - злобно шипел на меня хозяин, - и уходил к себе в кабинет, хлопнув дверьми.

- И зачем вы все спорите с мужем? - подступала ко мне его жена. - А если вы таких взглядов, то почему не бежите к партизанам?!

Мне и впрямь после подобных споров, обывательских рассуждений и немецкой оголтелой тупости - иной раз хотелось плюнуть на все - и бежать к партизанам: пусть вешают на русской осине, только бы не видеть и не слышать, что творится вокруг...

Но однажды городской голова пришел со службы в каком-то патетическом настроении. И среди его до тошноты захватанных и немецки-верноподданных фраз неожиданно прорвались такие уже знакомые и привычные: "Россию может победить только Россия же", "большевизм смогут свалить только люди, четверть века испытывшие его на своем горбе" и "солдат - святой человек"...

- Андрей Алексеевич, - сказал он мне, не глядя в глаза и каким-то приторно-вкрадчивым голосом, - скоро сюда прибудет наш национальный вождь. Ему нужно организовать достойную встречу... Унтер-штурм-фюрер Клотц сказал мне, что к Андрею Андреевичу сильно переменялось к лучшему отношение на верхах... Так это или не так, - но мы-то с вами прежде всего русские люди, - не правда ли?

- Андрей Алексеевич, как бы мне хотелось познакомиться с генералом, - пыхтела жена бургомистра, закатывая маленькие круглые глазки и улыбаясь. - Я ведь знавала много интересных людей - у нас в доме бывал даже сам Куприн...

После торжественного собрания генерал принял нас у себя на квартире. Городской голова суетился, старатель-

но протаскивая в свои обращения к Андрею Андреевичу "ваше превосходительство" - и два раза восторженно взвизгнул: "Россию могут победить только русские" и "солдат - святой человек, как сказали вы, ваше превосходительство". Жена городского головы млела молча, ловя окающие басистые реплики генерала, а Власов спокойно и не торопясь разговаривал с нами:

- Нам почти безразлично, какая в России будет форма правления: демократическая республика, советы... Народ интересуется отнюдь не формой правления: республика ли, монархия ли - народу нужды нет до этого: народу нужен строй, при котором 30% смогут жить хорошо, а остальные 70% населения будут жить более чем удовлетворительно. А если 90% граждан живут отвратительно, а только 10% хорошо, - то как ни назови такую форму правления, - все равно она для нас неприемлема...

- Господина генерала ждут комендант города полковник граф Зоммерфельд и генерал фон Берг, - подошел к Власову выложенный немецкий адъютант.

- Подождут. Я еще не закончил беседы здесь, - медленно повернулся к немцу генерал.

Когда мы выходили уже из приемной Власова, ко мне подошел новый переводчик комендатуры Василий Михайлович Гроссберг:

- Андрей Алексеевич. Я был бы вам очень благодарен, если бы вы познакомили меня с местным обществом. Мы, эмигранты, не имеем никакого представления о новом русском человеке. Простите, что я, едва знакомый вам, так явно навязываюсь, но я здесь - как в пустыне...

Квартира Гроссберга состояла из двух комнатенок и крошечной кухоньки, служившей одновременно и столовой. Когда я пришел к Василию Михайловичу, он только что бросил читать "Якорь" - антологию эмигрантской поэзии:

- Вы, конечно, незнакомы с нашими поэтами, - сказал он мне. - Этот сборник неважно составлен, но и он дает некоторое представление о поэтах русского зарубежья...

- Я читал Поплавского, Сирина, еще немногих. Но я не слишком люблю ваших поэтов...

- Вы познакомились с ними уже здесь при немцах?

- О нет, - в моей питерской библиотеке были разрозненные номера "Современных Записок", "Чисел", немного книг стихов и эмигрантской прозы. Все это, конечно, было случайным набором книг - то, что мне привозили мои друзья из заграничных командировок... Более или менее систематически я подбирал только книги философские - эмигрантские издания Франка, Лосского, Бердяева...

Гроссберг внимательно и как-то сосредоточенно посмотрел на меня:

- Вот как... Вы знаете, Андрей Алексеевич, у меня как-то начинают меняться взгляды на советского человека: так элементарно не следует, видно, себе рисовать вашу жизнь...

Василию Михайловичу только что стукнуло тридцать пять лет. Красивый, стройный, - он был культурен, хорошо разбирался в философии и литературе, но почти ничего не понимал в музыке: "У нас не было материальной возможности часто посещать оперу и даже концерты, - борьба за существование поглощала все силы". Горячий патриот, он вскипал, когда подшучивали над его немецкой фамилией:

- Мы - исконно-русский военный род. Мой предок - бургомистр какого-то южнонемецкого села - перешел на русскую службу при Петре Великом - и был в бомбардирской роте. Женился он на русской, а сын его уже и по-немецки разучился говорить...

Гроссберг в юности мечтал о духовной карьере, пытался поступить в религиозно-философскую академию в Париже, но сумел окончить только электромонтерские курсы и лет пять тому назад женился.

- Моя жена на днях приедет сюда, ко мне. Вы скоро сами познакомитесь с нею. Но мы, впрочем, совсем разные люди, у нас мало общего...

И, желая переменить тему разговора, он стал вспоминать стихи Мандельштама: "Легче камень поднять, чем вымолвить слово "любить"..."

- Любите ли вы стихи? Как вам нравится Мандельштам?

- Я очень люблю его, хотя мои стихи совсем, совсем в ином роде... Я ведь и сам пишу...

- Ах, вот как, - протянул Василий Михайлович с таким видом, как будто говорил: ну, кто не грешен... У всякого есть свои слабости...

Мы быстро стали большими друзьями. Василий Михайлович носил мне щуплые брошюры с трезубцем и горделивым смирением лозунга: "Да возвеличится Россия, да гибнут наши имена!" Затем - под полупокровительством нескольких чинов германской армии - из числа русских немцев и тайных русских патриотов - мы организовали отряд молодежи, переходивший зыбкую и подвижную линию фронта и осуществлявший пропагандные акции в неглубоком тылу Советской армии. О, это были, конечно, булавочные уколы, но они ведь тоже нам недешево давались...

"Да возвеличится Россия и да гибнут наши имена"...

Пусть! Но ведь и я тогда чему-то все-таки верил...

Я ввел Гроссберга в семью городского головы. Василию Михайловичу понравилась Наташа, он даже немного увлекся ею. А Наташа щурила серые блестящие глазки,

гордо поднимала свою хорошенькую головку с венцом светлорусых кос - и с достоинством римской матроны принимала ухаживания красивого переводчика. Мать ее смущало только то обстоятельство, что Гроссберг был женат:

- Женатому нестарому человеку не к чему так часто бывать в доме, где имеется молодая девушка, - закругляла она и без того пуговичные свои глаза.

А вскоре приехала в городишко и тридцатилетняя жена Гроссберга Нина. Трудно было бы назвать ее красивой. Низкий широкий лоб. Крупные энергичные черты скуластого лица с широко расставленными серыми глазами. Слабо развитая грудь и широкая спина. Но что-то было в ней такое, что влекло побольше, чем правильные черты лица и классическая статность: какая-то юношеская свежесть, напористость, порывистость, какой-то внутренний огонь и хорошая, хотя и чуть грубоватая простота.

Когда Гроссберг познакомил меня со своей женой, я вдруг, без слов, без мыслей, без всякого осознания даже, - почувствовал: мы встретились не случайно. Вслух были произнесены какие-то совсем незначущие слова, но глаза говорили иное. Я стал завсегдатаем в квартире Василия Михайловича. Общая работа по отряду. Редактирование маленькой еженедельной газетенки, рассчитанной главным образом на распространение среди населения по ту сторону фронта. Чтение своих и чужих стихов и философские споры. Иногда запрещенное слушание английских радиопередач. Мы все больше и больше сближались с Василием Михайловичем, и все крепче и крепче становилось что-то, что влекло меня и Нину друг к другу.

Как гимназистка, Нина завела даже тетрадь, в которую аккуратным мелким почерком - без завитушек

и украшений - записывала мои стихи. Это было вместе и смешно и трогательно.

А Василий Михайлович все чаще и чаще стал пропадать из дому. Поговаривали, что он слишком зачастил к городскому голове, и его ухаживание за Наташей стало притчей во языцех всего маленького, гнусно-сплетнического городка. На именинах Наташи Василий Михайлович танцевал с радостно раскрасневшейся именинницей, без умолку болтал с нею, протанцевал вальс с ее грузной маменькой, потолковал о политике с ее отцом - и всех окончательно очаровал.

В отряде были проводы двух мальчиков, готовившихся сегодня вылетать в советский тыл. Один из них, красивый двадцатидвухлетний здоровяк, из бывших военнопленных, был уже на взводе, и от него на расстоянии разило коньяком. Другой задумчиво пощипывал гитару, напевая "Землянку".

- Как бы мне хотелось быть в вашем отряде! - сказала Нина. - Кажется, я могла бы так же полететь куда-нибудь с вами, работать в тылу, в подполье... Есть у вас документы?

Бывший пленный показал ей хорошо сработанные документы советского лейтенанта, показал и висящее в соседней комнате полное советское обмундирование:

- Все в порядке, товарищ.

А молодому парнишке с гитарой, видимо, не очень-то хотелось лететь в неизвестность. В неизвестность? Ох, скорее на гибель... Он меланхолично перебирал белыми нерабочими пальцами гитару и с какой-то аффектированной выразительностью выпевал щемяще-тоскливое:

Ты сейчас далеко, далеко.
Между нами снега и снега.

До тебя мне дойти нелегко.
А до смерти четыре шага.

Потом пили. Много и беспорядочно пили. Пили за родину, за Москву, за друзей, за счастье, за удачу и счастливое возвращение парней. Гитарист попросил спеть что-нибудь Нину: "Вы так напоминаете мне мою сестру", - и голос его чуть заметно дрогнул. Нина предложила ему подобрать аккомпанемент и неожиданно запела романс Полины. Но сразу же оборвала, вспомнив его окончание: ну, совсем невпопад! Но ее упростили петь. Парнишка с гитарой, ленинградец-студент, особенно настойчиво просил ее: "Я так люблю Чайковского"...

Нина опять запела. Голосок у нее был небольшой, но приятный, и слух недурной. И когда она закончила:

Любовь в мечтах златых мне счастье сулила;
Но что ж досталось мне в сих радостных местах,
В сих радостных местах? -
Могила... -

то веселый лейтенант вдруг заплакал, а задумчивый парнишка оборвал струну на гитаре и сказал просто и веско: "Правда".

И опять пили. В каком-то полузабытье я приветствовал вошедшего Гроссберга.

- Почему ты здесь, Нина? - холодно спросил Василий Михайлович жену. - Тебе здесь не место. Иди домой.

Нина заспорила.

- Проводи ее домой, Андрей. Я должен потолковать с ребятами.

Городок спал, даже собак не было на его плохо мощеных улочках. Дойдя до квартиры переводчика, я крепко обнял Нину и прижал ее к себе:

- До свидания. До завтра...
- Неужели ты не зайдешь?
- Василий может скоро вернуться домой.
- Ну, нет. Не думаю. Зайдем, милый...

Потянулись нескончаемые дни, полные сумятицы свиданий, тайной переписки, работы в газете и прифронтовой пропагандной части, работы с отрядом молодежи. А вечером, когда я не был наедине с Ниной, опять то же чтение стихов, все те же философские и политические споры с Василием, всегдашние политические гаданья на кофейной гуще, социальные проекты. Иногда - домашнее музицирование. Появлялась на квартире переводчика и влюбленная в него Наташа, недобрым взглядом всматривавшаяся в Нину и все окружающее.

Нина всегда старалась сесть рядом со мной; улучшить момент, чтобы хотя бы на минуту остаться со мной наедине - тогда обняв меня, прижаться ко мне, сказать что-нибудь такое, что кажется таким значительным, когда любишь и любим. Но наступают - и наступают скорее, чем этого бы хотелось, - и будни любви. Хорошо дрожать ночью в чужой спальне, когда неожиданный стук в дверь создает романтическое подобие цельной жизни доброго старого времени. Хорошо раз-другой быть пойманным и на милых полупозволенных глупостях. Но ведь каждая женщина после того, как ты назвал ее - уже по-справедливости - своей, - смотрит на тебя, как на свою нераздельную собственность. Как нудно ловит она тебя на каждом твоем шагу: не посмотрел ли ты слишком внимательно на другую; не пишешь ли ты кому-нибудь из знакомых женщин писем; наконец, как ты сегодня одет...

- Я хочу, чтобы ты был моей подлинной гордостью: изящнее, умнее и талантливее других, мой милый... Я хочу гордиться тобой...

- Но мне совершенно безразлично, что обо мне скажут другие, Нина.

Заплаканные глаза:

- Ты этого не понимаешь... И не хочешь понять...

- Слушай, Нина, - я никогда не обращал внимания на костюм. Откуда у меня это барское пренебрежение к своей одежде и своему виду? Я ведь постоянно нуждался. Но у меня нет вообще привязанности к вещам. Я не могу и не хочу обдывать всякую пылинку с пиджака, следить за правильностью складки на брюках...

- Но ты можешь это делать для меня, милый. Мне не хочется, чтобы на тебя смотрели как на чудака. Мне хочется, чтобы я могла гордиться тобой не только в аудитории или дома... Мне хочется всюду видеть тебя если не лучше других, то хотя бы...

- Нина, ты не переделаешь уже меня. Я давно сложившийся человек.

Надутые губы, слезы на глазах:

- Убирайся. Ты не способен даже на пустяковейшую жертву для меня...

И так бывало всегда. Все женщины, которых я знал, всегда мучили меня, придираясь к моему костюму и стараясь отучить меня от моих привычек. Должно быть, они и были в чем-то правы.

- ...Я опять убежала к тебе. Василий сегодня допоздна задержится в комендатуре. Часов до одиннадцати мы можем чувствовать себя в безопасности...

Ну, погибнуть-то я не погиб. И в партизаны не ушел. Но война нас скоро, очень скоро раскидала в разные стороны. Берлин, Карлсбад, Мариенбад. Гросс-бергов забросило в Шверин. Переписка была сладко-мучительной. И трудно сказать: кого я больше любил: пожалуй, не Нину, а Василия...

Когда я в последний раз встретился с генералом, он был так же сдержан, как и всегда, но, как и всегда, бросил мне:

- Борьба с большевизмом, *настоящая* борьба начнется только после окончательного разгрома Германии.

- Ну, а вы, Андрей Андреевич? А все мы?

Генерал ничего не ответил мне. Только безнадежно махнул рукой...

Что же? - "Да возвеличится Россия и да гибнут наши имена?" - Так, что ли?

А писем ни от Василия, ни от Нины больше и ждать нельзя: советская армия уже на подступах к Берлину...

Конец? Да разве бывают начала и концы в жизни? Или, может быть, жизнь только и состоит из сплошных концов, без всякого намека на начала? Ох, поставлю - вопреки всяким приличиям - эпиграф в самом, самом конце:

Жизнь - без начала и конца.

Нас всех подстерегает случай.

Над нами - сумрак неминуемый...

Александр Блок

ДЕНЕК, КАК ВСЕ

Ты знаешь, это одно из самых трудных испытаний - скрывать свое лицо, свое имя, свое происхождение, и скрывать ото всех. Никому, решительно никому не открываться. Не знаю, все ли могут выдержать до конца. Я, по крайней мере, не смог.

Когда нашу часть окружили и податься стало некуда, - я перерядился в немецкую солдатскую форму. Да и все мы переоделись, кто во что горазд. И разбрелись

кто куда мог. По-немецки я говорю сызмала, во время войны насобачился болтать уже совсем перфект, тип у меня, как видишь, питерский: сам чёрт замешал, да и сам смешался: кто же такой будет питерщик? Одним словом, схватили меня, раба Божьего, уже как немца, отбившегося от своей части. Немцем я оказался угрюмым и мало сообщительным, всё, мол, задумывающимся о своей разбомбленной под Ольденбургом семье. Больше помалкивал да приглядывался. Сбили нас в этапную колонну - немцы почти сплошь пожилые, понятно, невеселые, и различнейших мастей: один, видать, силезец, даже с монголоидными скулами и конопатый, белобрысый, помоложе других, так, лет за сорок; другие же - совсем пожилые, думаю, из ландштурма, ополченцы. Приставили к нам переводчика из бывших остовцев, бойкого парня в мохнатой кепке, хорошем немецком костюме и спортивных ботинках: немцы при поспешном отступлении открыли все склады, что вывезти уже было невмочь: бери кто и сколько может. На бойком просторечии германцев парень хвастал, как много он насбирал всяческого добра, да еще у местных хозяев, помогая им, как переводчик, когда пришли *наши*, выцыганил пять пар хороших уров - часов - одни даже золотые с браслеткой, - и из них *наши* отобрали только две пары: остальные запрятал так, что ни фрицам, ни грицам не сыскать.

- Вот, ворочусь в Брянск, - там у меня мамахен осталась, - заживем на славу: я по-немецкому теперь могу, а переводчики будут еще долго надобны... Хотел еще к нашей части один власовец примазаться в переводчики: переоделся германцем, трубку даже, как бауэр, курил. Да ребята его враз опознали. Не совался бы в долметчеры, - никто б его пальцем не тронул: на кой хрен человека зря подводить. Так нет же, полез за

хорошей жизнью: тут уж пришлось его выявить. А уж как побледнел-то: аж мне самому жалко стало.

Я не побледнел, кажется, но с трудом сдержал сразу заплывавший мускул щеки: а вдруг опознают и меня. Ну, ничего, обошлось.

И пригнали нас - кто бы мог подумать? - прямо-хонько в Питер. В лагерь военнопленных у Пороховых. В лагере сейчас же образовался комитет военнопленных, все больше из бывших активистов-нацистов и эсесовцев: теперь они из кожи лезли, чтобы стать коммунистами. Многим удалось. Вот и живи тут: с одной стороны - как бы пленные коммунисты-активисты не разоблачили, не догадались, с другой - вдруг кого из знакомых земляков на улице встретишь, как на работу в колонне топаешь. На работы гоняли больше на стройки, часто очень далеко. А город-то, хотя и сильно вымер с голодухи во время блокады, но большой и родной: не все же вымерли, гляди и остались в живых и друзья, и недруги: встретить такого - не поздоровится: один узнает из дружества, другой - из неприязни: хрен редьки не слаще.

А тут еще переводчики из остовцев или тех, кто под немцами на оккупированной территории оставались, ну, и работали на немцев, конечно: попробуй не поработай! Жили эти переводчики теперь в наших же лагерях, но сытно и даже вполпьяна: не то что мы, грешные. Мы-то голодали - не приведи Бог! - почти как голодали и в немецких лагерях русских военнопленных: я ведь и ту и эту сласть испытал: в свое время и к немцам в окружение попал.... А нашу провизию, прямо грузовиками, комендант лагеря, вечно пьяный майор из особистов, загонял на черном рынке. Привезут, бывало, картошку, - и нас, после рабочего дня, на ее разборку: гнилую - нам в котел, а хорошую - в мешки: что для кухни

администрации и, отчасти, для активистов из пленных, а больше - для комендатуры: продавать налево. И пьянка у них шла - дым коромыслом. А переводчики - они с администрацией. И, понятно, многие выслуживались: такого опасайся пуще пленного активиста. Да только все они держались не так, чтобы долго: то и дело отправляли их в лагеря МВД, как изменников родине: работали на немцев, мол, хотя бы и принудительно. На смену старым - новые переводчики, и новый страх: а вдруг попадется такой, что видел меня марширующим под Андреевским флагом? Так вот, в таком постоянном не страхе даже, а смертном томлении, прожил я полтора года, пока меня, всего съеденного цынгой, не отправили, как к работе больше непригодного, под Ольденбург, "на родину".

Работали мы, как уже я сказал, все больше на стройках. И на работу, и с работы идешь, бывало, знакомыми местами - часто очень далеко идешь. Вот Литейный мост, Итальянская, Филармония. Афиши со знакомыми именами: Юдина играет четвертый фортепианный Бетховена, Глазуновский квартет, Преображенская поет в "Хованщине"... Господи, как еще недавно...

А ко мне все приглядывался и приглядывался - не то с тоской, не то с какой-то подозрительной внимательностью - скуластый и конопатый силезец: видно, невтерпех стало человеку: хочется поговорить, да опаска удерживает. И я настораживался - еще больше в себя замыкался. Но на стройке все ж таки не выдержал. Кроме нас, работали там все больше бабы, даже не только молодые. Мужчин-то рабочих раз-два, да и обчелся. Среди них один - бригадир-плотник. Стоял на опалубке. Веселый такой костромич, видный, немного рябой, с глазами навывкате, голубыми и добрыми, хотя и был злым матер-

щинником: то и дело, бывало, бабенок-бетонщиц длинным словом крыл, а они ему в ответ рассыпались и смехом и мелкими матерками.

Жалел меня Павел: то кусок хлеба сунет (а в сорок шестом много ли сам получал!), то хвост вареной трески, то картофелину и крупной серой соли в обрывке "Ленинградской правды". Я и не удержался. Как-то, когда остались мы с ним одни на перекрытии третьего этажа, я огляделся по сторонам, да и сказал ему о себе все начистоту. Испугался мужик до ужаса, затрясся: а ну как я - да провокатор?! Однако ничего, не донес. Только очень долго избегал меня. Вообще, доносчиков в нашем народе маловато, - я в этом не раз убеждался.

- И как ты меня напужал, - признавался он мне через полгода, - ну, думаю, а как если он меня это испытует? Ведь за недоносительство, сам знаешь, у нас по головке не гладят: хорошо, коли тремя годами отделаешься.

А у меня, как рассказал о себе, отлегло на сердце: все-таки, хоть один человек знает, кто я на самом деле. Хотя с одним человеком по-русски несколькими словами перекинулся.

Ну, а конопатый скуластый силезец вдруг исчез: как в воду канул. Уже третий день без него топаем на стройку. Помер, что ли? Цынга ведь уже начала косить вовсю. Только вдруг слышу - разговаривают две бетонщицы:

- Мань, а Мань! А третьеводни Надька своего мужика среди фрицев опознала: конопатый тут Фриц плотничал. Она к нему, а он никс фырштейн. Она еще дюжее: "Вася, а Вась?! Васенька!!" - а он отворотился. Ну, тут она на другой день детишек своих на стройку приволокла, обеих двойчаток: девоньки у ее уже по десятому году. Кинулись они к Фрицу: "Папаня, кричат, папаня!" - А

Фриц, который Василий, значит, ни гу-гу. Ну, тут его и забрали... Уж как Надька билась! И девоньки орут...

Денек, как и все. То же серое небо, то же неласковое голодное солнце. И тот же вечный, неумный страх: а вдруг... И не чужая беда - что греха таить! - билась в каждой моей жилке, в каждом вороватом огляде вокруг, - а все время толкающаяся в душу мысль: ну, на этот раз, слава Богу, еще не тебя.

ОНО

- Нет, ты подумай: ну, совсем разные. А имена: ты не поверишь: Ульяна Тихоновна и Альфред Оскарович. Он - эстонец. Она - кержачка. Да, из бывшего Семеновского уезда. Неподалеку от Светлояра. И сама: глаза светлосерые, пепельные волосы, походка: "а сама-то величава, выступает словно пава". Только бы на нее повойник да сарафан... Ну, да - сам увидишь. А он - тоже увидишь, впрочем. Но умница. И очень, очень порядочный. Из тех коммунистов, что не из-за карьеры только. Не веришь? Ну, конечно, теперь таких раз-два, да и обчелся. Но Альфред - молодчага. Когда арестовали Митю, я очень боялась за себя. Неужели выгонят с волчьим билетом? Неужели выезжать из Питера? Пришла к Альфреду сама не своя: "Митя арестован. Может, подать самой заявление об уходе по собственному желанию? Что посоветуете, Альфред Оскарович?" - и жду с замиранием сердца ответа, а вдруг скажет: "Да подавайте. Нам вас держать на работе никак нельзя: институт связан с оборонной промышленностью"... А Альфред долго-долго молчал, походил по кабинету, постучал в раздумье пальцами по стеклу окна, а потом повернулся ко мне, побледневший,

но решившийся: "Оставайтесь на работе, Аглая Михайловна. Вы - ценный и старый наш сотрудник. А что арестовали Дмитрия Николаевича, - то это нас не касается: я постараюсь, чтобы вас не тревожили: да и какая семья сейчас без арестованных? - "Сегодня ты, а завтра я", - прибавил он, чуть подпевая. А ведь сам как рисковал: он - директор института, старый большевик, ученый, не всегда скрупулезно-точно придерживающийся партийных установок в его науке... И сам-то не раз бывал под ударом, особенно когда этот подлец Кондратенко... Ну, сам его увидишь. А тебе он поможет, я уверена...

Мое положение, действительно, было безвыходным. Месяц назад я освободился из лагеря НКВД, где провел, правда, всего пять лет - срок по тем временам детский! - за так называемую "антисоветскую пропаганду". Но на мне еще висело пять лет лишения избирательных и прочих гражданских прав, а как "политический" я не имел права не только вернуться в Ленинград, на свою кафедру в институте, но и просто заехать хотя бы на денек в свой родной город: любой милиционер, задержав меня, скажем, за неправильный переход улицы, мог потребовать предъявления личных документов и - по особым отметкам на моем паспорте - арестовать меня "за нарушение паспортной дисциплины и посещение запретной зоны". И все-таки я не только страстно рвался в Питер, но и не мог не приехать в него тайком, так как только в Ленинграде оставались у меня друзья, которые, может быть, были в состоянии мне помочь.

При освобождении из лагеря вы указываете место - город или поселок, - где вы собираетесь поселиться: это ваше местожительство должно отстоять от столиц и пограничной зоны не ближе, чем на сто или двести километров. Вы не можете также поселиться и в крупных

промышленных и культурных центрах. По прибытии в избранный вами город, вы обязаны явиться на отметку, а затем являться каждый месяц - в регистрационный стол НКВД при местном отделении милиции. И должны сразу же - на новом месте жительства - найти работу. Если вы в течение, скажем, трех недель не найдете работы, НКВД и милиция высылают вас из города как "паразита, проживающего на нетрудовой доход" и как социально-опасный элемент. А попробуйте-ка поступить на работу! - "Да, нам очень нужны квалифицированные специалисты, - встречает вас с распростертыми объятиями руководитель учреждения, - у нас, в провинции, кадры - узкое место: это вам не столица". Но стоит предъявить документы с их каиновыми отметками, и лицо говорившего с вами начальства становится непроницаемым: "Придите за ответом завтра". А завтра вас встречает уже не начальство, а делопроизводитель отдела кадров: "У нас нет для вас работы"... А в регистрационном столе НКВД уже покрикивают: "Хотите опять пожить "на севере диком"? Нет? Так поторапливайтесь с устройством на работу"... Вот и выходи из положения! Слава Богу еще, что до Питера - одна только ночь езды на поезде. А там - все-таки не всех же друзей переарестовали!

Аглаю я встретил на концерте в Филармонии. Мне, конечно, говорили: "Побойся ты Бога, Андрей, - неужели ты не удержишься - и заявишься в оперу и в филармонию?! Ведь тебя могут там встретить и те, которых ты встречать не хочешь и не можешь: узнают, донесут - вот тебе и второй срок"... Но люди много лучше, чем о них думают и говорят: да, меня в Филармонии узнали все. И все, даже знакомые партийцы, радостно жали руку, расспрашивали, поздравляли. А когда я шел из раздевалки в зал, кто-то сзади крепко обнял меня за шею:

- Андрюша! Ты?!

Никогда мы с Аглаей не переходили на "ты", но она так горячо и искренно обрадовалась встрече со мной, что все это не показалось ни странным, ни необычным.

- Ну, конечно, придумаем что-нибудь. Да, кстати, ты ведь можешь и не поступать на постоянную работу. Митя тоже в таком же положении: он освободился полгода назад: живет в Череповце. Я езжу к нему раз в два-три месяца. Так вот он получил от ленинградского университета сдельную работу - переводы. И этого оказалось достаточно для НКВД. Но не для жизни, конечно, - улыбнулась Аглая. - Для жизни этой работы недостаточно: приходится мне помогать. Но я - я-то двужильная! У меня сил еще много! Вот и тебе нужно похлопотать о сдельной работе. И получить официальную справку от давшего тебе работу учреждения... Постой, я завтра же сведу тебя к моему директору: Альфред не побоится помочь. И с ним можно говорить по-человечески... А где ты ночуешь? - И, увидав мое замешательство, категорически отрезала: - Глупости. Переночуешь у меня: не возражай: я живу с мамой и дочкой - ничего тут особенного нет.

Я вспомнил, как шарахнулась от меня при сегодняшней встрече та женщина, которую я так любил до ареста, и возразил: - Ты, Аглая, должна понять - как строго карается предоставление убежища и ночлега таким, как я...

- Прекрати болтать глупости, - оборвала меня Аглая. - Мы ведь давние друзья...

О, как хорош был этот разлет темных бровей, эти решительные глаза и гладко причесанная маленькая голова с туго закрученными в узел косами! И вся Аглая, как тростинка, с упругой походкой: прямо - пружина.

- Она всегда такая, - рассказывала мне наутро ее мать, старая, но еще красивая аристократка - не из тех, что опустились и съжились в новых трудных условиях: таких не сломишь! Аглая ушла на службу, а я остался еще у нее на квартире.

- Вот только не повезло ей с мужем: Митя - неплохой человек. Но не по нашему времени. И не для такой, как Аглая. Он - податливая, чуткая, чистая душа, мечтатель, очень интеллигентен. Но - тряпка. Нет, никого не предал на допросе. И не предаст. Даже на пытке, пожалуй. Пассивного сопротивления у него достаточно. Но бороться за жизнь, за какое-то довольство, за благополучие семьи - нет, это не для него. Ему бы в схимники, а не с женой жить. Всё Аглая, всюду Аглая, обо всем Аглая. Вы знаете, когда арестовали Митю, Аглая кинулась в Москву, добилась - и это без всяких связей! - свидания с самим Вышинским, что-то доказывала, о чем-то молила - и Митю, представьте, освободили. Да, освободили. Но через месяц арестовали снова - по новому обвинению. Вы думаете, Аглая смирилась? Как бы не так! Ее не остановили прямые угрозы ленинградского НКВД, начальник которого призвал как-то Альфреда Оскаровича и приказал объявить Аглае, что НКВД не потерпит больше ее вмешательства в их дела. Нет, она опять укатила в Москву. Но уже - на этот раз - ничего не добилась, конечно. Вот она какая! А ей досталась такая размазня! Прости меня Боже, как не люблю я этих хваленых тихих русских мальчиков с походкой иноков в миру! Слава Богу, Надюшка уродилась не в отца: вся - огонь, сама жизнь... Эх, не такого бы ей мужа, моей Аглае!

Вечером Аглая повела меня к Альфреду Оскаровичу. Дом стоял на Екатерининском канале (ныне "писателя Грибоедова"; "писателя" - чтобы не обознались), у

Львиного мостика, на задумчивом извороте обсаженного деревьями узкого протока. И дом был удивительный - екатерининский или "дней Александровых прекрасного начала". Широкая лестница. И старинный - не электрический, а заливчато-колокольчиковый - звонок.

Дверь открыла хозяйка - чуть излишне полная, вальяжная, плывущая лебедью. Серые мохнатые глаза, пепельные косы - косы ниже пояса:

- Простите, я по-домашнему. Осторожно, здесь ступенька: ведь дом наш - совсем старый. Здесь еще Гнедича и Крылова потчевали, Пушкина принимали. И в нашу столовую нужно подняться на ступеньку. А оно, что дом старый, и лучше: в старых домах обычно душевнее. Правда, в нашем... - и она оборвала, многозначительно переглянувшись с Аглаей.

В столовой - она же служила и кабинетом Альфреду Оскаровичу - стояло много книжных полок. Тесно-тесно, прижавшись друг к другу, стояли "классики марксизма-ленинизма" - все в чистельных переплетах, все в строгих и стройных рядах. И стояли так чинно, чисто, упорядоченно и тесно, что сразу было явно: к этому строю книг хозяин прикасался только в редчайших случаях - для обязательно цитаты в предисловии или на партийном собрании. Но книг по технологии, математике, химии было такое множество, что они никак не умещались на полках, даже в два ряда, и лежали на подоконниках, на письменном столе и даже на спинке дивана. Я люблю квартиры, затолканные книгами, и они сразу хорошо располагают к хозяевам. А серьёзный, спокойный, седоватый и лысеющий хозяин и сам был достаточно привлекательным. Коренастый, ширококостый, но никак не жирный, мускулистый и почти белоглазый, он решительно и коротко пожал мне руку - и сразу же, без ненужных проволок, заговорил о деле.

- Аглая Михайловна рассказала мне всё. Ну, конечно, дать вам работу по проектированию новых цехов никак нельзя. Но мы проектируем и рабочий городок - там кое-что, в частности, составление смет, - мы можем сдать и на сторону. Сдельно. Согласны? Ну, вот и отлично. А вот вам и официальная справка - для стола НКВД при вашей милиции. Я ее заготовил заранее, не сомневаясь в вашей согласии работать для нас. Да, охотно верю, что вы - просто жертва. Мало ли их было за последнее время?!

- Что это?! Опять?! - вдруг вскинулся в каком-то необычном гневе наш сдержанный и хладнокровный хозяин.

Невольно и я обернулся в ту же сторону: из спальни в столовую промелькнуло, противно извиваясь в воздухе, что-то вроде лисьего хвоста - без туловища, без головы, без ног.

Мы с Аглаей, видя полную растерянность хозяев, поспешили распрощаться, наскоро условившись, что за проектным заданием и необходимыми для работы материалами я зайду завтра - нет, лучше не на службу, а на квартиру, к нему, как поправил меня осторожный все-таки Альфред Оскарович.

- Это уже не впервой, - рассказывала мне по пути домой Аглая. - Завелась в их квартире какая-то мелкая нечисть. Ну, Ульяна-то хотя бы из староверов, даже из бегунов или из федосеевского согласия, а Альфред-то ведь смолоду атеист и большевик, если и не материалист, то, во всяком разе убежденный естественник-невер. А вот и он тоже видит эту - кикимору, что ли...

- Нет, кикимора - это что-то другое: кикимора ведь - прежде всего девка. Даль, помнится, говаривал, что *такое* называется иначе: *игоша*. Эта нежить - без рук и без ног. Это - ребяташки, помершие до крещения: за-

спанные или удавленные, как пригулки. И, как кажется, появление игоши - не к добру...

- А ты знаешь, Ульяна говорила мне как-то, что года два тому назад родился у них с Оskarовичем мальчонка. Да оказался не жильцом на этом свете: помер недель двух-трех. Не успела она его и окрестить: не оправилась еще сама, а крестить-то надо было, конечно, втихую: Альфред бы не допустил...

На следующий день пришли мы к Альфреду Оskarовичу затемно. Он уже приготовил для меня не только задание, но и некоторые расчеты и материалы, поговорил минут пять по делу, - а потом пригласил к столу. Водочка как-то невольно развязывает язык даже таким скупым на слова людям, как наш хозяин:

- Вы сами понимаете, что греха таить: материалистом, даже диалектически, я не могу оставаться: я - физико-химик, мне приходится следить за современной научной литературой: тут уж не будешь веровать в "Антидюринга" и "Материализм и эмпириокритицизм" Ильича! Но не могу же я уверовать и в какую-то мистику! И вот мне, старому коммунисту-ученому, инженеру-физику - и вдруг какое-то... Да нет, не привидение! Это - не галлюцинация! Ведь и жена видит его, и вы видели вчера, и Аглая Михайловна видела - да еще, кажется, не раз... И вот - является, проклятое, уже два года таскается по комнатам - чуть ли не каждый месяц нас допекает. И не пойдешь в жилотдел: переменить, дескать, квартиру. Ведь спросят: а почему, собственно говоря? Квартира - первый класс, до работы - рукой подать, жилплощадь - даже с избытком... Что им скажешь? И хотя бы являлось-то что-нибудь поприличнее: вот, у романтиков в их повестях - являются всяческие бледные дамы, окровавленные младенцы, скелеты на худой конец... А тут - на тебе! Один хвост. Ну, что это?

Раз я - коммунист, то мне и чертовщина являться должна, скажем, третьего сорта, - невесело рассмеялся хозяин.

Хозяйка же как-то безучастно смотрела и не смотрела на нас, а ее слабо накрашенные губы как-то машинально и беззвучно шевелились. Я вслушался - и уловил обрывок какой-то старинной песни-припалочки:

На него, дитю малого, креста не надёвано,
Я его, дитю малого, и не подпоясала -
Не во что ему, моему дитятку,
В вертограде Господнем гуляючи,
Виноградье собирать да вишенье -
Нет у дитятка для этого запазухи...

- Опять, Ульяша?! - простонал ее муж. - Оставь. Что ты все время бредишь себя?

- Нет, не поверю, что все некрещенные младенцы - там, внизу, - ничего не видя, шептала Ульяна Тихоновна. - Ну, чем они-то, младенчики, виноваты? Богородица того не допустит... А вот - не опоясала его, как в гробчикек...

- Ох, уж эти мне нервы, - продолжал между тем хозяин, сломав несколько папирос и еле-еле раскурив, наконец, одну, кое-как засунутую в обкусанный мундштук. - И все это - конечно, нервы. Нервы и нервы. А вам всем я сам, конечно, внушаю этот проклятый, трижды окаянный хвост. Не может же быть, чтобы даже потустороннее, если оно существует, было таким оскорбительно-нелепым...

- Не надо, Альфред... Не надо так... - прошептала его жена.

- До свиданья, - поспешил я оставить хозяев наедине с их невеселыми воспоминаниями.

- До завтра, Аглая Михайловна. Всего лучшего,

Андрей Алексеевич, - и хозяева не без облегчения простились с нами.

Уже через полгода я узнал, что при первом же налете немцев на Ленинград, одной из первых была убита Аглая. Какова же судьба Альфреда и Ульяны, - я этого не знаю до сих пор.

"EINE KLEINE NACHTMUSIK"

Сказка

Ветки склоняются низко-низко. Мы, кажется, опаздываем на концерт в замке, а потому карабкаемся по чуть заметной, круто вздымающейся на гору тропинке, а не по спирально поднимающейся к замку аллее. Деревья шишковатые, кривые. Они изувечены садовничьим ножом, вырабатывавшим из них замысловатые причуды еще во времена пудренных косиц и вышитых цветным бисером кошельков. А сейчас все деревья разрослись свободно и прихотливо и заполнили все склоны горы.

Скорее! Не опоздать бы на "Серенаду" Моцарта!

Но ветки цепляются за платье, сердце выстукивает неистовую чечётку, мы спотыкаемся о камни руинных беседок и мостиков. А над нами все так же высокомерствуют башни замка, шпили его дворца и служб, далеко выдвигающиеся раскаты с бойницами и сторожевыми башенками подошвенного боя. Если бы не Моцарт, - хорошо бы лечь на траву и, лежа на спине, глядеть через узорную резьбу листьев на высокое голубое - нет, синее - небо с тяжкими кучевыми облаками. Небо горячее, даже не южно-немецкое нынче, а прямо адриа-

тическое. Внизу - красные зубцы домов, серый шифер церковных шпилей и грузных башен - и зелень - потемнее и посветлее - бесчисленных садов и парков игрушечной резиденции.

Трубят рога... Что это? Неужели валторны начинают концерт? Или это въезжают в замок победители - вереница автомобилей американской комендатуры?

- Осторожней!

Да, мы чуть не налетели на безрукого. Он в черных очках и низко надвинутой шляпе, и лица его я не приметил. Заметил только, что его кривые и худые ноги мускулисты и необычайно волосаты, короткие кожаные штаны особенно засалены, а грубые солдатские ботинки сильно смахивают на копыта. Хорошо, что хотя бы нет бородки клинышком!

На концерт мы все-таки не опоздали.

Двор замка с резным каменным колодцем под первобытным богатырским дубовым навесом. Колодец старше самого замка - ему свыше семисот лет - и в нем не менее полутора метра глубины. А рядом - маленькая эстрада и на ней пять пюпитров: значит, моцартовская "Eine kleine Nachtmusik" будет исполняться смычковым квинтетом. Перед эстрадой - наскоро расставленные стулья и скамейки. Публика переполняет и их, и все балюстрады древних деревянных переходов, и все парапеты и лестницы. Герцогиня - бывшая герцогиня - слушает из окна замка, ее семья с нею. Только муж все еще в тюрьме - герцог был генералом СС.

А вот и безрукий. Он сидит на лестнице, в двух шагах от меня. Его нельзя не узнать. Я вглядываюсь в его лицо. Боже мой! Быть того не может! - Да, это он.

...Ах, какой красивый день! Особенно красивы деревья, густо посеребренные инеем и сверкающие на солнце. Но не

весело: в руках повестка: "Сего 9 декабря 1920 года явиться к 10 часам утра в Губернскую Чрезвычайную Комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности. Третий подъезд". И всё. Зачем? За что? Почему?

Но он, этот кривоног с подвернутым и подшпиленным левым рукавом щеголеватой гимнастерки, тот, что вызвал меня, - объясняет:

- Ну, а теперь ты - заложник...

Но почему? За что? Ведь мне всего пятнадцать, и я так свято *всему* верю...

- Я покажу тебе, полковничий ублюдок, как скалить зубы!

Я только сейчас всматриваюсь в следователя. Узкоплечий, с узловатыми ногами и витыми брюками вокруг них. А лицо - лицо *его*, того самого, о котором шепотом рассказывает бабушка. Имя его запрещено произносить вслух - привяжется...

Хорошо! Нет тяжелых облаков над головой, небо иссиня голубое, сахарные деревья сверкают на солнце. Сегодня пронесло... И опять, и опять - уже в третий раз: и оба раза - в городе над Невой, летом 1927 и 1929 года...

- Ну, чего тебе от меня нужно? - кричу я. - Что ты привязался ко мне?

И в четвертый раз - в феврале тридцать шестого. На этот раз я узнал его имя: Рафаил Черепов. Да, как это ни безвкусно, но это - не выдумка: имя было именно таким.

- Мы сделаем из вас человека.

- А я не человек разве?

- Нет.

Ночью вывели из камеры. По коридору ведут бесконечно, мучительно долго. Когда встречаемся с другими

вызванными, ставят лицом к стене или в ближайшую нишу.

- Иди дальше.

А идти трудно, ибо отнято все: подтяжки, ремни, срезаны пуговицы, выдернуты шнурки из ботинок. Засунув руки в карманы падающих брюк, медленно скользишь ногами по резиновому настилу коридоров, то и дело приволакивая сваливающуюся обувь.

- Стой!

Здесь, я знаю это наверное, расстреливают. Я поставлен в шкаф - глухой узкий железобетонный шкаф, обитый изнутри толстой резиной. Ряд маленьких дырок по бокам: в них вставляют дуло пистолета на уровне твоих висков: дыры на всякий рост. Упасть в шкаф нельзя. Присесть нельзя. Пошевелиться нельзя. Человек в шкафу - как скрипка в футляре. Смыть кровь и мозг необычайно просто: резина. И все-таки запах многих кровей преследует неотвязно.

- Выходи. Ожидальня ослобонилась.

Да это почти маленькая аудитория! Ряд кресел с откидными сиденьями. Кафедра. Стул. Но я один. Много часов подряд. Та же одиночка! Мне кажется, что несовершенства в устройстве мира начинают орать: "Ты всё бездействуешь! А потому страдаешь, и по заслугам..." - Свобода и справедливость? - Да возможны ли они?!

На реке нет ни одной лодки, ни одного пароходика. Величавая, она наполняет гранитное ложе свое, и полукруглыми пристанями спускаюсь я к воде, темной, тяжелой, манящей. И все-таки она возможна, сказка! Вот эти самые статуи, белеющие в темнозеленых аллеях Летнего сада, сквозящие через строгую черную решетку, кричат: "Сказка будет! будет! будет!"

В белокаменном зале Филармонии искрятся люстры.

Михаил Михайлович Курбанов, восьмидесятилетний, но живой как ртуть, дергает меня за пуговицу и шелестит:

- Андрей Алексеевич! Я был почти миллионером. Я был придворным: я заведовал дворцовым электрохозяйством. Но и я скажу вам: меня, глубокого старика, увлекает геологическая и индустриально-строительная пятилетка... Это будет новая Россия - новая Америка! Да какое - Америка! - А тогда...

- ...Что тогда?

- ...Вы все-таки пристрастны, Андрей. Нужно считаться с тем, какой отсталой и варварской, безграмотной, азиатской была царская Россия. А большевики вот первыми запустили Спутник...

- Мистер Смит, но ведь какими жертвами, какой кровью все это было куплено. И если бы Россия развивалась нормально, то разве...

- Я понимаю, Андрей, вы и не можете быть объективным: вы много пострадали на родине. Но должны же вы понять, что теперь не Сталин уже, а Брежнев и Косыгин, - о, это уже инженеры, технократы больше, чем партийные фанатики...

...Люстры Ленинградской филармонии всегда горят как-то особенно празднично. Никогда не привыкнешь к ним. Хрустали отливают многоцветно, весело - как радуга. Ганс Кнаппертсбуш чудесно дирижирует. Особенно хорош он в Моцарте. "Eine kleine Nachtmusik". Радостная, но - мужественно-радостная музыка. А все-таки мир прекрасен!..

...Герцогиня - бывшая герцогиня - аплодирует, свесившись из окна замка. Американский полковник - комендант города - вытирает лоб платком. Концерт под горячим летним небом: жарко все-таки...

И этот безрукий рядом со мною... Брр!

Но он-то ведь и здесь не впервые. Не только в Эйзенахе, но и здесь, в этом замке, показывают на стене несмываемое чернильное пятно - след от брошенной в него Лютером чернильницы...

- Мы сделаем из вас настоящего человека! - Вы недоумеваете, - почему мы преследуем малейшие проявления идеализма? Почему мы гоним религию? - Да ведь всякий идеализм и всякая религия с математической неизбежностью неотвратно приводят к индивидуализму. Кроме того, у нас богатый исторический опыт: гибель старого режима произошла именно от того, что расплодились критиканы, либералы, социалисты и анархисты, философы, богоискатели, идеалисты... А материалисты - практики, строители, дисциплинированные голосователи: им важны успех в жизни и жизнь в успехе... Физкультура лучше и полезнее культуры, во всяком случае, полезнее для государства. И не только мы: вот и в Америке культуре в газетах уделяется несколько страниц, а спорту... Спорту - целая огромная тетрадь - страниц 16 ежедневно. А индивидуализм, а философия... Это неважно, что аскеты и философы готовы довольствоваться нищенским уделом! - но их не так легко купишь, и они разлагают тело любого государства хуже сифилиса и проказы... - И все были бы несчастны в этом невозможном - ему не бывать! - государстве философов и попов: ведь "притязания растут быстрее достижений", а в духовной области притязания неизмеримы и неистощимы. Ну, а мы - мы когда-нибудь насытим их... хлебом земным, конечно. Если они заслужат эту сытость...

Сухая рука, играющая маузером. И то же лицо.

Ты учишь меня, - ты и душу мою хочешь купить этим базарным, дешевым пересказом "Великого Инквизитора"?

Большой Проспект Петроградской стороны - маленький Невский. Я иду с Сергеем Андреевичем, большим ученым востоковедом и умницей, по направлению к Каменноостровскому, и он медленно рассказывает мне:

- Счастье - в пути за счастьем. Радость - дорога в поисках радости. Свобода - в великом послухе Истинного Ученичества. Учитель у китайцев - выше физического отца.

- А что, если все эти поиски свободы, справедливости, счастья - только наши заранее рассчитанные и исчисленные шахматные ходы? Если мы и не можем *иначе* сделать ход? Если не мы произвольно устанавливаем законы шахматной игры, а сами шахматные фигуры играют нами, игроками, подчиняя всю нашу жизнь законам своей насквозь механической игры?

- Глупости, Андрей!

- А если не глупости? Если это - весьма вероятно?

...И вот - я снова встретил безрукого в Бамберге. Я только что бежал из Мариенбада - и все лето 1945 года метался в поисках какого-нибудь притула. На горе Св. Михаила, в бывшем монастыре, - всегда прохладная, чудесная пивная. Немцы часами сидят в ней за своим "ein Bock" пива, играют в покер и в шахматы, обсуждают новости. Он вошел в пивную на кривых неуверенных (хромоват, очевидно) ногах. Знаменами вились вокруг его ног, худых и копытообразных, ветхие брюки. Лицо с провалами ничего не говорящих глаз - страдающих и упорных, но не открывающихся никому. Он! Опять он! Он пьет свое пиво и читает немецкий перевод "Краткого трактата о Боге" Спинозы.

- Мы страдаем не меньше вас. Вы думаете, - держать на своих плечах, на своей совести всю эту расползающуюся по швам машину государства - и сковывать ее

страхом, паять кровью и скреплять смертью - нам легко и радостно? - Но мы верим в свою правоту, и мы знаем, что мы *должны* быть правыми! А к чему приводит ваш индивидуализм? К распаду государственной плоти. Или - он сам себя пожирает в тоталитарных режимах нашего сегодня... Будьте же строителем, конструктором жизни - или умирайте, уходите из жизни, уходите как можно скорее...

- Скорее! Сейчас начнется "Серенада" Моцарта...

- Мы договорим с вами, Михаил Михайлович, после, в антракте...

- Но, Андрей Алексеевич, помяните меня, старика... Один Кольский полуостров, один Норильск - это полная таблица элементов Менделеева... Они - строители, и за ними победа...

- Моцарт - тоже строитель.

- Моцарт - сказка.

Здравствуй, сказка! Здравствуй, великая освободительница мира и радости - от мира и страданий! Ты жива, ты вечна. Ты - наше великое завтра. Сейчас ты только в безоблачности неба и в младенческой беззлойной, неосуждающей улыбке. Но завтра...

...Завтра снова на допрос. Тяжело передвигаются ботинки без шнурков. Руки в карманах поддерживают непомерно отяжелевшие брюки.

- К стене!

А старик сидит за залитым пивом столом и читает, причмокивая тонкогубым и беззубым ртом, своего Спинозу.

- Вы помните, - обращается он ко мне, - в "Этике" это место: "Воля не может быть названа причиной

свободной, но только необходимой... Отсюда следует:
1) что Бог не действует по свободе воли. Следует,
2) что воля и ум относятся к природе Бога точно так же, как движение и покой..."

- Помню, - отвечаю я, стараясь не смотреть ему в глаза. - Помню, и даже вставил эту цитату в одно из своих стихотворений...

- Да? Я, впрочем, знал и это... Я предполагаю даже...

- Нет, я верю не в него, не в Бога-Абсолют Спинозы, а в Бога Живого, Воскресшего...

- Как кому угодно, - пожевал старик бескровными губами.

...А сейчас он отбивает, как метроном, такт мощартовской Серенады своей худой когтистой рукой.

Я спускаюсь к себе в камеру. Сегодня допрос длился восемнадцать часов! Но спать днем строжайше воспрещено. В глазок то и дело заглядывает коридорный "попка" - курсант следовательской школы НКВД...

Мы спускаемся с Замковой горы в другом направлении. Концерт окончился. Мы ищем загородную пивную - и забредаем в аккуратный немецкий лесок. И вдруг - оцепленное колючей проволокой какое-то заведение. Деревянная табличка. Ба! Это здесь вырабатывают усовершенствованные системы граждан? - "Типография и редакция Новоземельского Курьера" - Шестая часть света. Пресса? Или концлагерь? - Дальше, - все это уже общее место! - и я читаю письмо своего друга:

"Сейчас хочу написать рассказ «Одиночество»: население земного шара - это почти три миллиарда не человек, а одиночек. Страшно! А когда одиночки в толпе - еще страшнее. Какой-то механический конгломерат,

машина. Человека, оказывается, не позабыли, а нет его, просто нацело вымер...”

Неправда, неправда, мой друг! Вот здесь, например, за этой вот проволокой, вопреки намерениям ее властителей, вырабатываются и настоящие люди. Не веришь? А я скажу, что именно в лагерях НКВД я соприкоснулся с подлинно настоящими людьми. И с подлинной жизнью. Да, там.

А здесь - какие хорошие граждане: обструганные, покрытые лаком добропорядочности, сортированные, коллективизированные. Даже, позевывая, но и в церковь ходят - или на партсобрание - для поддержания национальных или коммунистических традиций! - Да здравствует дряхлая молодость мира!

- А где твоя сказка?

- А сказка будет завтра. Но заслужить ее надо.

КОНЦЕРТ

Отрывок

Дирижерская палочка постучала по пюпитру. Концерт начался. Протяжные торжественные звуки хора пилигримов. Валторны сурового хора стараются заглушить причудливо извивающиеся эротические скрипки Венерина грота. Такая привычная, простосердечная, немудрствующая вера! Такая наизусть знаемая увертюра! Но для него нет привычной, детской, простосердечной веры. Тот, кто хоть раз заглянул в грот Венеры, кто в душе своей носит язву лобзаний Киприды, - навеки погиб для домашности и приходского алтаря. Туда, туда - в Рим! И, может статься, тяжкий босой путь странничества и

величие престола Наместника Христа выжгут грешные песни и греховную память земной утлой радости.

- Господин Андрей! Сюда... Здесь наиболее укромный и поэтический уголок нашего парка.

Ротонда, плавно изгибаясь около маленького бассейна с золотыми рыбками, ведет в грот. Посреди бассейна амур на дельфине. Пухлое порочное личико немецкого барокко, с отвислыми щеками и смеющимися глазами сорокалетнего скептика. Одной ручонкой обнимает он шею дельфина, другой, с растопыренными короткими пальчиками, кажет на грот, а сам тонкой блестящей струйкой пополняет бассейн. Между плитами и ступенями ротонды пробивается трава. Скаты бассейна замшились, и черной проказой пятнают мох и трава белые в ясную ночь камни песчаника. Колонны бросают причудливые тени на стены грота и бронзовую Венеру с отбитой рукой и почерневшим от лет и непогоды носом. Не шелохнет. Буки, клены, пирамидальные дубы обступили грот, и лишь изредка хрустнет песок под ногой запоздалой пары, спешащей к смешной готической башенке на холме или к миниатюрным меланхолическим скалам у столь же миниатюрного заросшего пруда. И вся жизнь этой упраздненной около ста лет тому назад миниатюрной резиденции упраздненного карликового государства столь же миниатюрна, столь же ограничена, как этот огороженный высоким забором дворцовый парк, как этот провинциальный Венерин грот, как эти упирающиеся в близкую ограду аккуратно вычерченные аллеи.

- Господин Андрей! Не заставляйте даму дважды повторять свое приглашение...

Из дворца, как-то странно и тускло освещенного, несутся звуки клавира и оркестра. То совсем затихающие, то ясно улавливаемые, они доносятся до грота

Венеры, и я узнаю большой А-дурный концерт Моцарта. Только странно: это не рояль, это клавесин или спинет начала прошлого века. Тот же звенящий с дребезжинкой гитарный тон, тот же стеклянный звук приглушенной арфы. Я вглядываюсь в мою даму. Боже! Да ведь она - *Дама с маской*. Еще сегодня, беря билеты на концерт, я решил: до моего поезда - больше часа. Пойду еще раз в галерею. И вот стою - в который раз! - перед портретом малоизвестного художника кассельской школы Иоаганна Апелиуса: "Портрет дамы с маской. По старому инвентарю - написан в Париже, в 1753 году". Так написано в каталоге. К чёрту каталог! Какая лессировка! Как играет кровь под этой тонкой чуть оливковой кожей! И какие глаза: грешные, манящие, преувеличенно-большие, они вытягивают в себя вас, и только насмешливо-сладострастный рот с тонковатыми губами немного приоткрывает тайну этих влекущих в пустую и таинственную бездонность глаз. Манящие руки с тонкими удлинёнными пальцами. Эти пальцы хорошо знали, как мучительны они для других, сколько в них ядовитой радости, отчаяния и порока! И покатые плечи, плавная линия плеч, желтоватых, с полупрозрачной кожей. Небольшие яблоки груди, намеренно плохо прикрытых кружевами великолепного платья цвета вянущих фиалок. Красота гофмановских грешниц - кровосмесительниц, убийц, сладострастниц. Но почему она здесь, в гроте Венеры Вильгельмсталля, почему колеблющееся пламя свечей освещает окна давно уже необитаемого дворца, и концерт Моцарта звучит все сильнее, и трагическое Анданте сменяет солнечную радость в завершённости своей незаконченно-го, как жизнь и любовь, Аллегро?

Нет, это не лето. Давно уже погас свет во дворце, и лишь сторожа судачат в одной из комнат флигеля о новых политических новостях и местных сплетнях. А голые

деревья качает ветер, снег густо и рыхло покрыл все аллеи, грот, ступени ротонды, - и безрукая Венера зябко кутает озябшие колени в остекленные морозом листья, забитые ветром в грот. А дама стоит подле в черной короткой шубке и говорит о том, что не передашь словами, всегда грубыми и неловкими, когда мужская рука переносит их на бумагу. И вдруг злой, ненавидящий поцелуй, колющий зимний ветер, - и нет Дамы с маской, и на меня насмешливо глядит изуродованная Венера. Но что это? Ее губы раздвигаются, нос морщится, беззрачковые глаза издеваются, и площадная брань хлыстом свистит в морозном воздухе.

Ведьма! Дьяволица! - Скрипки бешенно гонятся за мною, хохочут, плюются, лают, старческая ненависть к жизни и радости, уже навеки утраченным, заставляет их изрыгать проклятья, кусать самих себя в ненасытной алчбе немощных сластолюбцев:

- И ты с нами! Ты прожил жизнь в погонях за искусственными радостями, ты любил только нас, плод твоей больной мечты, ты жил в свальном грехе с нами - и проворонил живую жизнь... Ты - наш.

И опять медноголосица хорала. К подножью Наместника Христова был положен и мой посох. Расцвел ли он, как страннический посох Тангейзера?

Звонит тонкий лед пруда. Ветер гудит органом в голых буках и дубах. Черная тень креста легла на Венеру. Затихает вакханалия памяти. И лишь звонко призывают Победителя смерти валторны...

- Андрей, слушайте же концерт более внимательно. А то вы выдумываете какие-то пошлые пародии на Гофмана! И что за пошлая мертвечинка?! Откуда эти Венеры-ведьмы и дьявольские портреты, какая-то болезненная слабосильность и раскидчивость мысли - и даже сладо-

страстная упоенность этим слабоволием! - возмутилась Мария.

- Об этом после, Мария. Но всякий из нас любит скорее искусственно образованный идеал, чем откровенно-неприемлемую для большинства подлинную жизнь. Кто-то утверждал, что для нас идеал красоты образован красотками на мыльных обертках и парикмахерскими восковыми манекенами. Мы, впрочем, эстетически более взыскательны - и любим портретную живопись и сонатные звучания, легкую поэтичность скользящих над бездной образов готического романа...

Но разве со мною рядом она, Мария? Нет, скорее это - Дама с маской. Но нет, от нее несет смертельным холодом промерзшей бронзы. Ты! Безрукая, но всемогущая, злая Венера-дьяволица!

Тащится босой усталый Тангейзер. И не зарастает язва греховная в душе его, и тщетно режут трубы и поют Осанну валторны. Осанна не для его духа, растленного искусством, вкусившим от проклятого древа познания добра и зла. Но - расцвел ведь страннический посох его?! Может, воскреснем и мы?

Гул аплодисментов оглушил меня. Я поднял глаза на раскланивающегося дирижера. А Мария спрашивала меня уже не в первый раз: - Андрей, как вам понравились валторны финала? Ведь чудесно провел он увертюру!

Маленький, щуплый и лысоватый, едва-едва касался он клавиатуры. Казалось, это птицы носятся над морем, задевая легкие, набегающие на солнечный берег волны. А, может, это невеста играет на клавире? Тихая улочка Бамберга с фахверковыми домами, зубчатой стеной огораживающими ее. Вторые этажи с фигурными резными балками и гербами выступают вперед, солнце радостно переливается в пузырьчатых стеклах окон, над улочкой, на холме - острые башни Св. Михаила и парк епископ-

ской резиденции. А из окон дома льются звенящие звуки клавесина, и беленькая пухлая Марихен играет Аллегро господина Моцарта, капельмейстера его высокопреосвященства архиепископа - князя Зальцбургского. Но звуки все мощнее и шире разливаются в солнечном луче.

Нет, это не Марихен. Нет, это не Мария. Нет. Это - Дама с маской кассельской галереи. Но где же демонический ухмыл тонких губ, странно-влекущий и оттапливающий овал желтовато-перламутрового лица? Она - вся радость, вся любовь. Правы древние, утверждавшие, что медузы, эмпузы и фурии в любви становятся прекрасными и просветленными!

Но над городом собирается гроза. Вражеские истребители кружат над горбатыми мостами стоящей на воде ратуши, гремят устаревшие бесполезные зенитки: смертельно раненный народ еще противится неизбежной смерти. Анданте не элегично: оно трагично в своей вечно незавершающейся и неутолимой скорби. Неужели, о Господи, опять?!

Венера Тангейзера превратилась в вампира. Но Моцарт вознес ее снова на Олимп, и горячая кровь заставила радостно биться сердце его финалов. Но не была ли она лишь гальванизированным трупом? Или сегодня все это лишь мерещится мне? Скорее напиться до потери сознания, до бреда, до галлюцинаций! Нет, ты снова прекрасна, моя Дама с маской! Ты способна исчерпать всю глубину порока, ты способна и к величайшему просветлению! В тебе жизнь и радость, и ты не можешь ловить мгновенные радости сержантского или коммерческого благоволения. Это ложь! Но что это? Неужели на этом балу ты шепчешь гнусный анекдот победителю на выборах? Не может быть! Ты - победительная любовь и мука Берлиоза и Моцарта, Вагнера и Достоевского!

"...Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что..."

Кладбище ли? Нет, ведь расцвел-таки посох Тангейзера! Но ты, ты, Мария, ты, Дама с маской, - ты ведь на том адском балу, где свечи поют, как скрипки, и глоссандо арфы отсвечивает кровосмешением... Бледно-фиалковое платье совсем упало с небольших яблок грудей... Это она, она...

Моя голова падает в опилки. Треск барабанов не заглушает предсмертного сознания: "Я любил не Альдонсу-Генриетту, а Дульсинею - Даму с маской, Европу-Марию!". Но вскипают в последнем кошунственном танце скрипки. Костями повешалок и шабашем ведьм стучат смычки о деки. Тромбоны и туба кошунственно изрыгают DIES IRAE. И завертелся бешеный хоровод смерти...

А все-таки она вертится!

Программа концерта

Вагнер. Увертюра к опере "Тангейзер".

Моцарт. Концерт для ф-п. с орк. А-дур, К. 488.

Берлиоз. Фантастическая симфония.

СОБЕСЕДНИК

Отяжелевшее бабье лицо, чуть рябоватое, то покорное, то вскипающее бессильной горделивостью бунтовщика. Каблуки стоптаны окончательно, но это не мешает старательно скрывать небольшое прихрамыванье. Поэтому шажки убыстренные, походка приплясывающая. Уголки

кривоватого рта опущены вниз, с навеки застывшей маской мировой скорби:

- Конечно, соотечественник: только русские интеллигенты так растерянно озираются в Вечном Городе, словно ища в его намоленной земле родственную душу...

Аккуратно подштопанный, когда-то элегантный черный в белую полоску костюм, сильно побелевший по швам. Но и теперь отглаженный и отчищенный до блеска.

- Вот и Ивану Карамазову признавался, что хотел бы давно проситься в отставку: устал, знаете ли, быть всегдашним минусом к осаннистому Плюсу, быть вечной тенью, необходимой для оттенения Предвечного Света. Ну, кому, скажите, охота быть вечно, навсегда *вторым*, только лакмусовой бумажкой для проявления Добра?! Поневоле взбунтуешься и возненавидишь *Его*...

Великий Ориген писал, как вы знаете, что *Он* и меня помилует... В последний день, когда сольются в единую и окончательную Осанну все концы и начала. Ведь так - по справедливости, по логике душевной, что ли - и следует: ведь не будь меня - кто бы смог как-то отличить черное от белого, истину от лжи, добро от зла? Не было бы никакой диалектики бытия - да и ничего бы вообще не было: никакого движения, никакого изменения, никакого *действия*, - а ведь "что не действует, то не существует". Так за что же меня, изначального *спорщика*, изначального, если хотите, *alter ego Его*, - казнить и изничтожать? Справедливо ли? Думаю, что прав Ориген. Но одного не учел он: приму ли я *Его* прощение и пощаду?

Вы, мой милый, типично по-русски ущербны по части языков: немыр. Объясняетесь больше знаками. Ну, а я - я просто влюблен во всяческую филологию. Я ведь вечный *собеседник*. Вдумайтесь только в это слово: в нем - целая диалектика - и мысли, и бытия: *со-бес-едник*. Ведь

хорошая беседа предполагает спор, противодействие. Иначе - скука. А где спор - там и я. И всякий со-бес-ед-ник - воедино со мною. Так-то. А вы вот: "жарить скупердяев не легко ведь"... Разве ж только это? А века веков "стоять укоризной" перед торжествующим Светом? Легко ли? То-то. Эх, я скорее не дух зла, а - это вернее! - усталости и уныния... Но, с другой стороны - не только "пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит", - а и дух волевого напора. Думаю даже, что ближе подошел ко мне не Федор Михайлович, а Михаил Булгаков: его Воланд (ведь Воланд - от volo, а volo - начало всяческого существования, всяческого я, всяческого обособления, от *Него*) с одним глазом зеленоватым (цвет надежды!), другим - могильно-черным (небытие!) - это больше уход в Ничто от неизбывных страданий, чем прямое зло.

Ну, да я зафилософствовался, а мне, увы, пора на работу... А как я устал, дорогой мой! И вот - подагра... А все меня подгоняют: работай, искушай, приводи в движение мутную заводь душ человеческих: иначе вода застоится, заболотится. А я-то здесь при чем?!

Я ведь вас сразу узнал, дружище. Это вы, русский эмигрантский поэт, по-своему все-таки пожалели меня. Вот в этом стихе, что я уже упоминал:

Жарить скупердяев нелегко ведь -
чёрт присел на бочку из-под сала:
без конца - без краю ада овидь,
много грешников, чертей же мало.

Нюют кости старые с устатка,
обросла седой щетиной морда:
старость съела силы без остатка,
дряблый хвост висит отнюдь не гордо.

Адовый сквозняк и льдины-призмы,
в спину дует, а у печки жарко,
скрючили копытца ревматизмы, -
не поможет старому припарка.

Ну, так что ж! - Сменить установленья
он не в силах, видно, до скончанья.
И кряхтя бросает в печь поленья,
умножая общие страданья...

Ну, что ж?! Ведь нам даже профсоюз свой нельзя
основать: мы ведь по самой сути своей - анархо-ин-
дивидуалисты... Вот и страдай в особицу, обособленно
от всех... А иной раз - ох, как хочется поплакаться в
жилетку. Да что - разве поймут мою скорбь и мое
вечное отъединение...

Собеседник безнадежно махнул рукой. Я заметил,
что локоть левого рукава был протерт до непристой-
ности: левша, конечно. Так и есть.

Видимо, стыдясь нищеты, он надвинул на высокий лоб
полинялую фетровую шляпу с баварским глазастым пе-
рышком, небрежно кинул какую-то мелочишку на чай - и
растворился в жарком воздухе июльского Рима.

БЕЛОЕ ВИНО

Вот, зафилософствовался я в прошлый раз и опять
получилось не то... Уже давным-давно писал мне один
талантливый и остроумный литератор, что как только я
начинаю философствовать, так сразу же впадаю в не-
внятицу и искусственность... А все-таки поразмышлять

тянет и тянет. Вот, кстати, и о реализме поговорить. Не о том, назвавшем себя социалистическим, а о подлинным себя считающем.

И сразу же возникает недоумение: а осуществим ли вообще этот самый реализм? И даже не в психологическом рассказе или романе, не в живописном портрете, а, скажем, в живописном же или литературном пейзаже - предмете, казалось бы, к которому можно подойти много объективнее, чем к реальному или выдуманному ближнему своему?

Но ведь и пейзаж-то мы воспринимаем всегда под влиянием нашего возраста и самочувствия, нашей той или иной заинтересованности в нем и нашего настроения. Сельский хозяин воспринимает свое поле и живописные камни на нем вовсе не так, как практически в этом земельном уголке незаинтересованные эстет, художник, турист: "Чертовы каменюки!.. Убирай их", - у одного; "Как оживляют пейзаж эти сами по себе суровые камни!" - для других. Когда молодые любовники, на заре своей влюбленности (помните: "Только утро любви хорошо", как думают - и ошибаются, конечно, - юные), смотрят на окружающее, то самый сумрачный, серенький, безнадежный день для них ярок и радостен. Но самый веселый, солнечный, великолепный пейзаж кажется вам унылым или нагло-олеографическим, когда вы разочарованы, разозлены, когда, хотя бы, у вас болит живот...

Какой уж тут возможен реализм! Какая объективная картина бытия! Ведь каждый из нас - и в каждое мгновение - видит все и всех совершенно по-разному. Да и сам-то мир поворачивается к нам всегда своими различными сторонами и качествами.

Помните ли вы средневековый рассказ о двух съехавшихся друг другу навстречу странствующих рыцарях, встретившихся у ворот замка? На копье, воткнутом над

воротами, висел ребром вперед щит с гербом владельца замка.

- Какой синий цвет щита, - прямо, как южное небо, - восхитился один из рыцарей.

- Вы смеетесь? Вы шутите? - ведь щит оранжевый, как утренняя заря, - возразил ему другой рыцарь.

- Это вы издеваетесь надо мной! Я еще в здравом рассудке: щит синий! - и рыцари схватились за мечи.

- О чем вы спорите, синьоры? - вышел к сражающимся сенешаль замка. - Поглядите: щит с одной стороны синий, с другой - оранжевый...

Как часто мы, одержимые нетерпимостью к взглядам других, забываем о ежемгновенной изменчивости и переменчивости мира, - и о его неистощимом многообразии. Забываем и слова кёнигсбергского мудреца: природа сама ничего нам о себе не говорит, а лишь отвечает на поставленные нами ей вопросы. И, понятно, отвечает так, как любая умелая и умная гадалка: отвечает именно так, как мы от нее ожидаем.

Вот тебе и реализм!

...Подкопил я деньжат и захотелось мне посмотреть на замки Луары, которыми всегда восхищался на открытках и в книгах по искусству Франции. А я - завзятый бродяга, для меня самое большое наслаждение странствовать, нанизывать одно впечатление на другое, хотя бы и на бегу, хотя бы и быстролетно.

Прилетел я на провинциальный французский аэродром с некоторым запозданием, уже затемно. При выходе с аэродрома меня поджидала потрепанная карета, запряженная парой гнедых.

- Вам куда, ситуайен? - спросил меня кучер в потертом синем суртуке в талию и длинных, в обтяжку, нанковых белых панталонах. Я недоуменно взглянул и на

свой костюм: да, на мне мой спортивный клетчатый пиджак, но ниже... - Ниже - короткие, тоже в обтяжку, атласные небесного цвета штаны и кремовые шелковые чулки, туфли с серебряными пряжками...

Карета гроыхала по булыжным мостовым узчайших улочек заснувшего городка. Но вот - ярко освещенные окна дома, из окон несутся веселые крики, звон стаканов, всплески музыки.

- Может быть, это - таверна? Или гостиница? Если есть свободная комната, я бы остановился здесь...

Лакей во фраке и шелковых штанах, но с красным фригийским колпаком на узкой, сдавленной с висков голове, молча взял у меня чемодан и пригласил в залу. За длинным столом царило непринужденное веселье. За правым торцом стола, уставленным букетами белых роз, тортами, пирогами, целой батареей бутылок, сидела юная девушка в белом и молодой человек, а с обеих сторон суетились два старичка в синих фраках тонкого сукна с золочеными пуговицами и - под фраками - в испещренных веселыми мелкими цветочками палевых атласных жилетах. Старички то и дело подливали в бокалы молодой паре вино, поминутно вскакивали, провозглашая шутливые тосты. Две поджарые скрипки и жирный флейтист наигрывали игривые песенки и церемонные танцы, заглушаемые оживленным стуком ножей и бокалов, громким хохотом и возгласами пирующих. Веселились напропалую... Станным только показалось мне, что здесь, в прекрасной Франции, стране вина и знатоков вина, вино подавалось только белое, исключительно белое, - даже к мясу...

Наконец, мне надоело это шумное, назойливое веселье и я решил поискать себе другое пристанище на ночь.

- Где я был сейчас? - спросил я у кучера, как ни

странно, той же, что и привезла меня, и теперь ожидающей у подъезда кареты.

- В доме местного палача, гражданина Лебона, - отвечал кучер. - Он выдает свою дочь за сына палача Тулузы - гражданина Жофруа... Конечно, мастера гильотины - исполнители народного дела - уничтожают сторонников Капета и австриячки, но все-таки... Все-таки палачи живут и теперь отъединенно, только своей, обособленной от других жизнью, вот и браки у них тоже - только в своей среде, между своими, со своими... И ведь метье палача - всегда наследственное, испокон веков...

Я невольно содрогнулся - и велел поскорее отвезти меня на аэродром: авось, не опоздаю домой: приеду не к разгару гражданской войны, не к разгрому генерала Ли и армии конфедератов - и даже не к утверждению Декларации прав человека и гражданина и победе Вашингтона...

...А на мне теперь мешковато сидел синий республиканский сюртук с золочеными пуговицами и трехцветной розеткой, а под ним - клетчатый свитер и клетчатые спортивные брюки, - те самые, в которых я садился на самолет в Вашингтоне. Куда же теперь занесет меня самолет Панамериканской компании?..

УГЛЫ

...сидел - и без мысли, без чувства, с тупым отчаяньем глядел в угол: умрет. Ничего от него не останется. Написанное им будет одиноко тлеть на полках, ненужное, мертвое больше, чем подгнившие ноябрьские листья на грязном асфальте нудного приго-

рода. И все, чем он болел, что всю жизнь терзало и радовало его, умрет с ним, с его вчерашними озарениями - зеленовато-желтым миганьем лампадки в сумеречной конуре бездетного.

А из противоположного угла уставился на него Он, невидимо-ощутимый, как щемящее сердце, как неподъемная боль в обреченном затылке:

- Я тоже без Сына. Вечно одинок в одинокой вечности. Голгофа Сына - предвечное искупления. Предвечная безсыновность - предельнее оставленности.

Из двух углов друг на друга. Но никогда - друг с другом.

Всплывшее в памяти

Главы из воспоминаний

В истории я люблю только анекдоты, а из анекдотов предпочитаю такие, в которых, как мне подсказывает воображение я нахожу правдивую картину нравов и характеров данной эпохи. Страсть к анекдотам нельзя назвать особенно благородной, но, к стыду своему, должен признаться, что я с удовольствием отдал бы Фукидиду за подлинные мемуары Аспазии или Периклова раба, ибо только мемуары, представляющие собой непринужденную беседу автора с читателем, способны дать изображение человека, а меня это главным образом занимает и интересует.

*Проспер Мериме.
Хроника царствования Карла IX*

*Итак, я еду в мемуары.
Какая чудная страна!
Проедешь время самоваров -
Навстречу мчится старина...*

Иван Буркин

...На лето большая семья моей матери съезжалась обычно в шумную, веселую, полуазиатскую Астрахань, где дядя занимал должность, носившую странное название - "начальник калмыцкого народа", а старшая сестра матери, Аполлинария Андреевна, служила машинисткой в городской управе. Постоянно приезжала и младшая сестра матери - тетя Наташа, и с нею ее дочери, с которыми меня с детства связывала горячая дружба. И Лёлька, и Наталка выше небес расхваливали мне их Варшаву, ее веселые и нарядные улицы и "кавьярни" с такими пирожными, "такими, каких ты и представить себе не можешь и даже никогда", а я повествовал, привирая в три короба, о прогулках по сопкам моего Забайкалья, о подаренной мне отцом самой настоящей шашке, даже совсем железной, с которой я никак не боюсь один, без мамы и денщика, ходить в эти страшные заросли на сопках, где встречаются злые, как черти, японцы-самураи с длинными кривыми саблями и раскосые китайские разбойники-хунгузы... Жили мы весело, и только в моей семилетней душе копошилась некая горечь: Лёлька на три месяца меня моложе, а уже слыла в семье даровитой поэтессой; рифмованные строки сыпались из нее неиссякаемым потоком, как пирожные и крендели из рога изобилия на вывеске угловой кондитерской Карапетьяна.

Каждый четверг, ровно в 6.15 вечера, заявлялся на наш второй этаж пылкий поклонник старшей тетки, красавицы, прозванной в семье "Клео де Мероде" (фотография этой - знаменитой тогда - львицы была в дядином альбоме и нам, детям, вовсе не нравилась). Поклонником этим был небольшой шарообразный и совершенно лысый статистик Опанас Богданых. В светло-палевом чесучевом костюме, всегда свежевыбритый и благоухающий какими-то мужскими английскими духами, до приторности

деликатный, он по старинке расшаркивался, подходя к ручкам дам, и по каждому поводу и без всякого повода извинялся, нередко переходя на тот изысканный французский язык, каким говорили наши бары середины прошлого века. Церемонно поздоровавшись со взрослыми, он гладил нас по голове и сейчас же оделял каждого из нас невероятно крупным и ярким апельсином, вынимаемым им двумя пальцами (в старинных перстнях с камнями) из аккуратнейшего, как он сам, картуза. О нет, не мог он назвать кулек иначе, как "картузом": новые названия и новое произношение претили ему, и кулек был у него картузом, конфеты - конфектами, апельсины именовал он "заморским плодом", и даже приезжал он к нам не на извозчике, а на фазтоне.

Ухаживание его за нашей теткой постоянно обсуждалось и осуждалось в нашей детской компании: и наша Пуля - глубочайшая старуха: ей ведь больше тридцати пяти! А дяде Опанасу Богданычу столько, что сказать - никто не поверит. Мама рассказывала, что он родился за два года до смерти Пушкина, того, в красном переплете с золотым на нем портретом и с баками, как у собаки, больше, чем у нашего Тиграшки. А дядя Сережа сказал, что дядя Опанас - реликвия...

- Нет, дядя сказал, что он - Реликвий, - перебила младшая, Наталка. - Реликвия - это может быть девочка, ну, мама, а если дяденька или дедуня - то Реликвий...

- Молчи, Наталка, не перебивай старших...

Из разговоров взрослых, постоянно подшучивавших над платоническим романом тетки Пули и Богданыча, мы, далеко не всё понимая, узнали, что дядя Реликвий был каким-то "шестидесятником" и "народовольцем", почему-то "ходил в народ", потом жил долго не в России, бывал у какого-то Искандера в Лондоне, потом - в Лондоне же - у какого-то Герцена, немца, очевидно.

Был и в Сибири, бежал оттуда. Я пожимал плечами: ну, зачем бежать из Сибири, у нас ведь так хорошо и интересно. И в Астрахани был он под надзором полиции, что было тоже совсем непонятно: здесь ведь ни злых самураев, ни опасных хунгузов - зачем же полиции его и от кого охранять?.. Но, впрочем, ему разрешено работать статистиком, только не очень-то его продвигают по службе... И опять: ведь он, Богданыч, - реликвия.

Из нас, ребятни, Реликвий больше всего любил самую младшую - Наталку. И Наталка, вообще нагловатая четырехлетка, покачиваясь на его колене и не обращая внимания на сердитые взгляды взрослых, смотря в глаза дяде Опанасу, спрашивала:

- Дядя, а почему у тебя зубы лязгают, как у нашего Тиграшки, когда он ищет блох? Но у Тиграшки вся голова в волосах, а у тебя совсем нет никаких волос, как мой голый животик, вот так, - и при этом зади-рала платишко, показывая свой пуп.

- Наталка, убирайся вон, - не умеешь себя вести, - сконфуженно и сердито прикрикивала на дочку ее мать.

- Да что вы, Наталья Андреевна: пусть ее, ще мала дивчина. Что с нее спрашивать? А у меня, правда, голова, что твой бильярдный шар... А вы, Наталья Андреевна, лучше спойте нам... Люблю ваш ангельский голосок...

И тетя Таля, сама себе аккомпанируя, старалась загладить дерзость дочки, выбрав любимые Опанасом Богданычем "Дывлюсь я на нэбо" и "Ой, не свити, ми-сяченько".

- Чудесно вы спиваете. Вот только, простите за откровенность, у вас выговор какой-то москальский, мягкости - не в пении, о нет, - в словах надо бы побольше...

- И что это дядя Опанас носит нам все одни апель-

сины и апельсины? Я хочу ему сказать один мой стишок, хотя, думаю, неудобно. Как ты думаешь?

Милый дядя Опанас,
Принеси нам ананас.
Кто несет лишь апельсин, -
Скупердяй и сукин сын.

- А вот и не скажешь, не прочтешь ему, - подзадоривал я Лёльку, снедаемый лютой завистью к ее поэтическому гению.

- Нет, прочту, прочту.

И, действительно, в ближайший четверг подошла к Богданычу, и когда тот, жеманно отставив указательный палец с кольцом-камеей, вынимал Лёльке из картуза солнечно-оранжевый апельсин, краснея и заикаясь от волнения, но с вызовом поглядывая на меня, прошептала:

Милый дядя Опанас,
Принеси нам ананас.
Кто приносит апельсин, -

далее, дядя, я стесняюсь, но совсем в рифму, дяденька, - и быстрехонько удрала на двор.

Лето подходило к концу. Уже уехали в Варшаву тетя Таля с дочками, мы с мамой тоже собирались возвращаться в Забайкалье, когда дядя Сережа пришел со службы какой-то нахохленный и сказал: "Вчера умер от разрыва сердца Богданыч. Послезавтра похороны. Ушел с ним и старый, наивный, но трогательный и, более того, героический мир мечтателей-народников... Ведь он был близок не только с Германом Лопатыным и Михайловским, но и Драгомановым, Костомаровым и с самим Искандером... Знал и Шевченку..."

На кладбище собралось немало народа. Были и в вышитых по вороту украинских косоворотках, подпоясан-

ных витыми шнурами с красивыми помпонами на концах. Они стояли дружной кучкой и, как только какой-то вихрастый и достаточно (из социалистического принципа) неряшливый эсер закончил речь об "одном из стаи славных борцов за вольную волю и светлую народную долю", о "святой реликвии еще времен великого Искандера", украинцы запели над могилой "Заповит" батьки Тараса. Пели до слез хорошо.

Милый дядя Опанас...



Моя научная деятельность началась лет в десять. Началась записыванием частушек. Жила в то время у нас наша родственница, молоденькая хорошенькая девушка, приехавшая в Москву на Высшие Женские курсы. Она писала курсовую работу о частушках, сама собирала и записывала их. Это вдохновило и меня, я стал записывать частушки у нашей горничной Фроси, у всех прислуг наших знакомых. От курсистки Вали, веселой хохотушки и кокетки, я узнал, что народную словесность следует записывать так, как она слышится, и отмечать - от кого, когда и при каких обстоятельствах записана песня, из какой местности и какого звания и какой профессии исполнитель частушки.

Я завел толстую общую тетрадь в черном клеенчатом мягком переплете. В ней появились мои первые фольклорные записи. Таких тетрадей за три, примерно, года мною было заполнено пять или шесть; записи в них сопровождались примечаниями в лучших традициях академических комментаторов, хотя и не всегда отличались тщательно соблюденной орфографией:

Сидить заяц под бирезой
Неженатый, холостой...
Маво милава забрали,
Я осталась сиротой.

"Записано 11 декабря 1915 года у горничной зубного врача Л. А. Ф. Фроси, 17 лет, из крестьянок Зарайского уезда, халастая".

Эдак через год началось мое достаточно длительное увлечение и этнографией. Оно было серьезным, я отдавался ему всей душой. Это заставило друзей моей матери, хорошо знакомых с Дмитрием Николаевичем Анучиным, повести меня к патриарху русской антропологии и этнографии. Семидесятитрехлетний академик, типичный семидесятник-позитивист, погладил меня по вихрастой голове, осведомился, как я учусь, на что я пробормотал в ответ что-то невнятное (был я в гимназии неисправимым двоечником), посоветовал побольше налегать на естествознание. Затем, крихтя и поглаживая поясницу, он поднялся с кресла, подошел к книжному шкафу и вынул оттуда свою книгу "Сани, лады и кони как принадлежности похоронного обряда" и даже надписал ее мне: "Юному Боре, моему будущему коллеге на ниве отечественного народоведения".

Книга эта долго сопровождала меня во всех моих странствиях и житейских передрыгах, пока не исчезла во время одного из обысков уже в тридцатые годы - и вынырнула для меня неожиданно в ленинградском магазине антикварной книги. Но эта чуть суховатая, воистину ученая книга не так заинтересовала меня, как случайно попавший мне в руки второй том афанасьевских "Поэтических воззрений древних славян на природу" и, в особенности, тоненькие, в сизой обложке брошюры некоего Пуцыковича, из которых каждая, с

портретом типичного представителя данного народа, посвящалась всем народам и племенам мира. Автор этих весьма для отрочества занимательных книжек заинтересовал меня и своей странноватой фамилией; лишь через десять-пятнадцать лет я узнал, что В. Ф. Пуцыкович - преемник Достоевского в редактировании "Гражданина", достаточно рьяный реакционер и мракобес.

Летом семнадцатого года мы с мамой (отец был убит еще в 1914 году под Варшавой) перебрались из начинавшей подголодаывать Москвы в Ставрополь Кавказский. В переполненные, главным образом дезертирами с фронта, поезда пришлось влезать через окна вагонов; внутри все было заплевано полсолнухами, сизо от самокруток с махоркой, мат сменялся то марсельезой, то заунывной "страдательной", а чаще - частушками:

Не ходите нынче девки
С дымократами гулять -
Дымократы вас научать
Пракламации читать...

Кое-как доплелись до Ставрополя еще по стародавнему, обильному пути: чего только не было на станционных базарах! Только уже ненадолго.

В Ставрополе мое увлечение этнографией еще больше усилилось. В Первой мужской гимназии обучались и армяне, и грузины, и осетины, и эвакуированные поляки и латыши, и, понятно, украинцы, тогда еще не осознавшие, что они - не русские. Учились там и кабардинцы, черкесы, даргинцы, имевшие неписаную привилегию оставаться в каждом классе не на два, а на три-четыре года. Сидевший со мной за партой в третьем классе горский князек Абдул Азизов уже трижды в

неделю брился и, возвращаясь в гимназию с каникул, привозил и показывал нам фотографии своих четырех жен. Впрочем, он был хорошим товарищем и на пари съедал в один присест чуть ли не пудовый арбуз с большой французской булкой.

Вместо ветхих брошюр Пуцыковича на моем столе появились тогда увесистые тома "Вселенной и Человечества", увражи Ратцеля и книги по этнографии Кавказа. А главное, я смог теперь наблюдать и записывать свои наблюдения прямо с натуры - гимназия ведь была настоящим интернационалом.

В гимназической и городской библиотеках я стал брать книги путешественника Вамбери, написанные чрезвычайно увлекательно. Какое множество сведений о народах Турции, Персии, Туркестана, во времена Вамбери еще не завоеванного Россией, можно было найти в этих книгах! Бабушка предупреждала мою мать:

- Следи за Борисом, он что-то рано увлекся порнографией.

- Этнографией, мама.

- А это не одно и то же?

И вот тут-то, году на тринадцатом-четырнадцатом моей жизни, Федор Яковлевич Семин, муж старшей сестры моей матери, бывший эсер и бывший эмигрант, заметив мое запойное чтение "серьезной" литературы, решил приохотить меня к еще более серьезным и более отвлеченным занятиям, по интеллигентской старинной традиции - к Спенсеру, Миллю, Михайловскому, а затем к Канту. Вера старого эсера в святость позитивизма и английского натурализма уже начала сменяться обруселым кантианством. Федор Яковлевич стал начинать меня "Логикой" Милля, психологией Джеймса и "Психологией без всякой метафизики" Введенского, толстенными томами Спенсера; Спенсер, считал он, грубоват и эле-

ментарен, но дает "хорошую основу". Я до сих пор помню определение жизни у английского скукодея: "Жизнь есть постоянное приспособление внутренних отношений к внешним сосуществованиям и последовательностям".

Зная о моем увлечении этнографией, Семин (Федя, как мы, его племянники и племянницы, его звали, безо всякого даже "дяди") принес мне "Социологию по данным этнографии" Шарля Летурно, а потом и другие книги того же Летурно, включая "Эстетическую эволюцию", неуклюже и безграмотно переведенную кем-то как "Литературное развитие народов и племен". Рекомендую мне работы Летурно, Федор Яковлевич сказал, вздыхая:

- Да, Летурно - настоящий ученый, его следует знать. Между прочим, он явился причиной гибели дочери нашего Герцена: она покончила самоубийством, когда Летурно, ее возлюбленный, ее бросил...

Семин был человек не только самобытнейший и интересный, но и весьма даровитый.

С Летурно началось мое увлечение социологией и историей театра. Дело в том, что в "Эстетической эволюции" Летурно очень много фактов из истории театра, театр же с детства был моей слабостью - меня сизмалу водили в театр, я сам разыгрывал, один или с двоюродными сестрами, сочиненные мною пьесы и отдельные сценки. В Ставрополе в зимнем театре Меснянкина постоянно играла довольно приличная драматическая труппа, а в летнем театре Пасхалова каждый год выступала вполне приличная оперетта.

Вскоре я близко познакомился с разнесчастнейшим помощником классного наставника нашего класса; фамилии и имени-отчества его я уже не помню, ибо мы, гимназисты, звали его весьма непочтительно "Облезлым". Конечно, за глаза. Небольшого роста, чуть кривоватый, с какой-то пятнистой головой, на которой

волосы росли на случайных местах, то и дело чередуясь с красными проплешинами, Облезлый семенял на своих коротких ножках по коридорам и двору гимназии, с каким-то загнанным, испуганным видом делал нам замечания, и тут же сам конфузился и отбегал, опустив свою пятнистую голову. Да и времена уже были другие: революция опрокинула многие прежние устои и строгие гимназические требования. Жил он, видимо, впроголодь, одинокий, всем чужой в этом сонном степном городе, но, как выяснилось, последние деньги (а много ли получал помощник классного наставника) тратил на театр и книги о театре. Случайно узнав о моем увлечении историей театра, он начал давать мне редчайшие книги о русском театре из своей личной библиотеки. Рассказывал о московских театрах - Малом, Корша, о Садовском и Садовской, о Ермоловой, Комиссаржевской, Сумбатове. Не закончив ученья в Московском университете (и именно из-за страсти к театру), он отправился с какой-то странствующей захудалой труппой в скитания по глухим городкам южнорусских губерний. Играл, понятно, резонеров, благородных отцов, а чаще был на выходных ролях - на большее он не мог претендовать хотя бы из-за своей внешности, да и таланта, вероятно, не было. А когда заболел и составил, с трудом получил место классного наставника (он не хотел сказать: "помощника").

Тем временем жизнь города и страны сотрясали и корежили гражданская война, грабежи и террор красных, отместка белых, виселицы зеленых, тачанки с пулеметами и черными знаменами анархистов: "Смерть брюкам галифе и юбкам клёш!", обыски и аресты - вся та "романтическая" прелесть жизни, какую воспевали Пильняк и Бабель.

- Господи, помяни Царя Давыда и всю кротость его...

Куриной гузкой сжатый тонкогубый рот, морщинистое с кулачок личико, мышинные бегающие глазки и полуседые жидкие волосы, выпроставшиеся из-под черного с белым горошком платка. Входила она в комнаты мелкими шажками и всегда с какой-нибудь очередной обидой:

- Елена Ильинишна, - слезливо жаловалась она бабушке, - вчера опять мой зятюшка мене уважил: "Ты, - говорит, - Пелагея Ивановна, снова Агашин полушалок бахромчатый, что я ей на именины подарил, к себе, как крыса, в конуру утащила". А ведь он, змей, мне еще на Пасху полушалок купить обещался. И не подарил. Так вправе же я, да еще у своей родной дочери, полушалок взять? Вежливо так, без всякого шума: ты, мол, зять мой любезный, позабыл, наверное, что мне полушалок обещался. Пойду-ка я к дьякону нашему на фатеру: пусть он зятюшку моего Сто Восьмым псалмом помянет...

И старуха дробно зачастила: "...Поставь над ним нечестивого, и дьявол да станет одесную его. Когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет во грех! Да будут дни его кратки, и достояние его возьмет другой. Дети его да будут сиротами, и жена его вдовою. Да скитаются дети его, и нищенствуют, и просят хлеба на развалинах своих... Да будет потомство его на погибель..." - Ох, ты, Господи, засиделась я у вас Ильинишна. А дьякон в церкву уйдет, там он за Сто Восьмой вдвое берет, и то пока отец Федор не пришедши.

Чуть что, старуха обращалась к Сто Восьмому псалму и кляла им через дьякона, Петра Крестовоздвиженского, всех своих неприятелей. Врагов у нее было без числа; они появлялись у старушенции и исчезали

такой же непрерывной чередой, как и ее мелкие старушечьи обиды.

В Ставрополе была Степанчиха притчею во языцех. Усмеаясь, рассказывали:

- А вчера наша тетка Сто Восьмой псалом притащилась к дьякону Крестовоздвиженскому отчитать при ней же, чтоб без обману, Настасью Алексеевну Сто Восьмым. Обидела, видите ли, она ее - у ее курей хвосты повыщипывала, чтоб не лезли к ее, Настасьиному, ретивому петуху. А дьякон, отец Петр, тетке говорит: "Давай за рабу Божью Настасью не четвертак, а цельную полтину. Иначе клясть ее не стану, она, Настасья, мне ведь кума".

И вот пришла в Ставрополь революция. А тетка Сто Восьмой псалом все жила своими мелкими заботами и обидами:

- Сёдни пошла моя дурында, младшенькая (младшей дочери Степанчихи было уже за сорок), искать службишку в этот их большевицкий, как его там, ну, где браки и смерть, и рожденья реглистрируют, там какой-то товарищ Закс заправляет... Так я ей говорю: "Наташа, тебе не службишка надобна - ты женишков себе ищешь!" А чтоб ей о матери своей подумать? Я ж ее родила-воспитала, а ты, говорю, теперь от меня сбежать хочешь? Довольно уж того, что старшие ее повыскакивали замуж. И ты штаны мужицкие ищешь? А с кем же я останусь одна-одинешенька, а? А она мне: "Заели вы мою жизнь, мамаша!" - Ужо придется мне пойти к отцу дьякону, пущай ее Сто Восьмым псалмом отчитает. Ну, не цельным, а наполовину: всеж-таки дочь она мне, кровная. О, Господи, помяни Царя Давыда и всю кротость его!

Юность, тем более - отрочество, нетерпимы, пожалуй, еще безжалостнее, чем старушина злоба. И мы, три-

надцати- и одиннадцатилетние, всячески старались чем-нибудь напакостить тетке Сто Восьмой псалом. Домишко ее под замшелой камышовой крышей-нашлепкой буквально врос в землю. От нашего дома он был в двух шагах, и нас забавляло в сумерки лазать на ее крышу и дико там завывать. Подслеповатая Степанчиха выползала на двор, на улицу, но нас уже и след простывал.

- Ильинишна, - жаловалась Степанчиха нашей бабушке, - вчера опять на меня кто-то из соседей чертей напустил. Сглазить меня хотят, думаю. Они, черти-то, опять так были на крыше, ну, сил моих не было. Должно, ведьма старая Костюченчиха мне гадит. Ужо пойду к дьякону. Пусть ее отчитает Сто Восьмым. Ох, Ильинишна, все косточки мои изныли. Как посоветуете: ромашку настоять и пить, или лучше липовый чай?

*

...Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые...

Как бы не так!

Летом 1918 года, почти в полночь, к нам кто-то постучался в окно. Сначала моя мать перепугалась: время было страшное: свирепствовала "героическая" ЧеКа. Выглянула на улицу в маленькое отверстие в ставне. Стучал переодетый в плохо сидевшее на нем штатское платье двоюродный брат матери, кадровый офицер Петр Ртищев:

- Если можешь, если не боишься, пусти переночевать. До рассвета уйду. А прислуга спит? Никто не должен меня видеть.

Петр Ртищев и его брат Павел - офицер военного времени, глубоко штатский по своему складу, уже не одну неделю скрывались от ЧеКи. Они готовили офицерское восстание в городе. В Ставрополе находилось тогда несколько тысяч офицеров, но на призыв братьев Ртищевых не дать чекистам себя перерезать, как кур, откликнулось немногим более ста - ста двадцати человек. Восстание было подавлено, оставшиеся в живых офицеры спрятались на мельнице миллионера - хлебного экспортера. Как только они уснули, миллионер сообщил о них в ЧК. На следующее утро, как раз в день Петра и Павла, офицеров, выданных мельником, а заодно и еще многих офицеров, никакого участия в восстании не принимавших, захваченных просто так, как потенциальных классовых врагов, повели на расстрел. Казнь была - для острастки - публичная, в самом центре города, на площади перед собором. Офицеров вели босыми, в одном белье. Мать Ртищевых, Федосья Ильинична, почти без слез, в каком-то окаменении, бросилась к месту казни. Напрасно дочери, жены ее сыновей, мы с мамой, ее сестра - моя бабушка, удерживали ее. Все было бесполезно. Она только твердила каким-то неестественным, глухим, деревянным голосом: "Я пойду... Я не могу не идти... Я последний раз хотя бы погляжу на Петю и Павлушу". Отпустить ее одну было нельзя. Я и мой двоюродный брат пошли с нею, едва за ней поспевая.

Весь городской плебс, все хулиганы, все окраинные мальчишки сбежались на площадь перед Соборной горкой. В сторонке жались матери и жены расстреливаемых. Площадь гудела, слышались злобные выкрики озверелого хамья, задирали родных и близких расстреливаемых: и до вас, мол, очередь дойдет. Мальчишки, забравшиеся на крыши и верхушки деревьев, чтобы получше видеть, восторженно орали, свистали, матерились. Пьяные сол-

даты ЧК стреляли плохо. Павел был убит сразу, Петр Ртищев и еще несколько офицеров только ранены.

Окровавленный, страшный, Петр крикнул расстрельщикам:

- Мерзавцы, даже стрелять не умеете! Говно вы, а не солдаты!

Петра Ртищева и других подстреленных, но не убитых офицеров добивали штыками. Трупы увезли за город, на Холодный родник. Босячье, не разошедшееся сразу после расстрела офицеров, стало угрожающе надвигаться на близких и родных расстрелянных. Слышалось: "Вот этих буржуев еще не добили". Мы тщетно пытались увести Федосью Ильиничну. Она села на землю на том месте, где стояли ее сыновья, сгребала руками пропитанную кровью землю и песок, бережно складывала в два носовых платка: "Вот Петина кровушка... вот Павлуши".

И только когда смерклось, дала увести себя домой.

...Виселица на окраине города. Повешен атаман шайки - не то зеленых, не то анархистов, знаменитый в те годы Шпак. Недавно глумившиеся над расстреливаемыми офицерами городские босяки, сплевывая подсолнухи, хохочут: "Гляди, шлеры (сапоги) с его сняли, а носки оставили. Не снять ли? Не рваные..." Другие грозятся: "Погодите, беляки, офицерье проклятое... Мы все вам припомним, мать вашу!"

А наши гимназические занятия? Какие уж там уроки! Город занимали то белые, то красные; мы копали иной раз окопы, многие подростки и юноши ушли - кто в белую, кто в красную армии. Идешь по улице, а в канаве лежит труп - раздетый до рваного белья офицер или красноармеец, или матрос, или "зеленый" партизан.

Когда в жизни народа и страны происходит столько событий, личные биографии затухают, стираются. Поэтому я буду писать не о себе, а о встречах на перепутьях жизни. Мои воспоминания об участниках трагедии и кровавого фарса русской истории поневоле носят отрывочный характер. Но, может статься, и они помогут что-то понять. Ведь история - это не только деяния, преступления или подвиги исторических деятелей, так сказать героев исторического спектакля. Это и характерные, второстепенные персонажи, и даже статисты - все участвуют в этой не-божественной комедии.

...Этот ставропольский дом из местного пористого песчаника с такими толстыми стенами, что на подоконниках мы, пятнадцатилетние дылды, зачастую полеживали, читая или просто мечтая, помнил еще Пушкина и Лермонтова. Подвалы в доме, темные, с узкими щелями окон под потолком и глиняными полами, казались нам таинственными - прямо подземелья то ли Кощея, то ли готического замка с привидениями. В одном из подвалов была и кухня с русской печью и лежанкой на ней; под Рождество на этой кухне била ключом предпраздничная веселая жизнь: пеклась, жарилась, варилась рождественская снедь.

Мы любили кануны Святков больше самих Святков. Благодатный юг еще не вконец оголодал, а новые порядки не вытеснили старых традиций.

Когда разошлись из кухни родители, когда ушли последние колядующие, у неостывшей русской печи собрались мы: мои двоюродные сестры, помоложе меня, Лёля и Наталка, наш двоюродный брат - одиннадцатилетний Андрей, и соседская девчонка, пятнадцатилетняя Настька,

дочь почтальона из мужиков, заморыш с крысиными косичками, свернутыми у висков в бараньи рога. Как и положено под Рождество, рассказывали друг другу рождественские были и небыли, рассказывали о всем традиционно-рождественском, разумеется, и о кладах.

Так как я в те годы был увлечен этнографией, фольклором, то, конечно, подзадоривал Настьку, у которой был непочатый запас народных преданий, поверий, легенд. К тому же Настька была отчасти и цивилизованной - окончила двухклассную школу, любила читать про таинственное. Ее старая бабка слыха на городской окраине, на Мутнянке, доподлинной ведьмой.

Незадолго до этого я нашел в щели каменной стены сарая хорошие часы, видно спрятанные кем-то от очередного обыска. Так что рассказы о кладах были интересны вдвойне.

- Знаете, - шептала Настька, широко раскрыв выпуклые оловянные глаза, - надобно бы пошукать под вашей печью. Дом-то ваш старый-престарый. А не только сейчас, от обысков, но и в давнее время, когда замиряли Кавказ, много-много чего зарывали. И часто под печами. Вот моя бабка рассказывает: "Под печью, - говорит, - если хорошо прислушаться, то часто, особенно на Святках, услышишь, как из-под земли, враз после полуночи, кто-то стонет: "Душно мне, душно! Тесно мне, тесно!" А значит это, что зарывший клад так и помер, не успел детям своим его передать... Тут надо сразу же взять рождественскую свечу из церкви, обойти с зажженной свечой вокруг кухни и около печи, сказать: "Святой старче Агафон, ты пошли мне вещий сон!" Потом лечь и заснуть на печи. Во сне Агафон и укажет, где рыть клад. Не ране двух, ну, трех ночи - это под Рождество или Новый год... Тут ему, скупцу, особенно душно и горячо.

Скептически настроенная смешливая кузина Лёлька оборвала рассказчицу:

- Врешь ты все, Настька! Кто это может стонать под печкой? И какие там клады? Вот у нас тут два раза уже при обысках под печью копались, и под порогом землю разворотили.

- Ну и что? - пожала плечами Настька. - Рыть они могут, да слова такого не знают, и не дается им клад. Они роют, а клад от них все глубже и глубже уходит. Он ведь, клад, заговоренный. А чтоб его найти, надо вызвать и заковать сопатого старика. Он длиннющий, как жердь. И противный-препротивный. Заклянешь его, вытрешь ему нос, он и рассыпется весь золотой да серебряной дорожкой - прямо к тому месту, где рыть. А на том месте опять появится, да только одна его голова. Тут надо ему дать прямо в рот кутьи и узвару, он с кладом и поможет.

Лёлька ухмылялась, я старался запомнить все от слова до слова, а Наталка, заинтересованная до предела, расспрашивала Настьку:

- А сколько надо дать сопатому кутьи и взвару?

- А немного совсем. Бабка сказывала - блюдце кутьи и полчашики узвару.

- Это можно, - деловито заключила Наталка. - Это можно совсем незаметно у бабушки взять.

Андрей, вообще соня, сладко спал, посапывая и открыв рот, но тут он очнулся:

- Вы все о кладях... У нас в школе говорили - враки это все...

- Честное комсомольское, это взаправду, - обиделась Настька. - У меня бабка всё знает, даром что неграмотная, а к ней все ходят - и кровь, и зубы заговаривает.

- Так что ж она сама не находит кладов-то, раз всё о них знает? - спросила Лёлька.

- У нее другой талант. Она указать другим может, а клады ей не даются. Не тот талант...

- Так какая же она колдовка, когда сама не может клада взять?

- Тут, - объяснила Настька, - особая сноровка нужна. Ведь кто клады зарывал? Буржуи и помещики. У них и заклятия свои, капиталистические. А бабка хоть и колдовка, но бедный пролетариат. У каждого класса, значит, свои заклятья.

Кончался двадцатый год. В школах уже вдалбливали "Азбуку коммунизма" Бухарина и Преображенского. А к Настькиной бабке Иванихе ходили заговаривать зубную боль не только соседи по Мутнянке, но и секретарь райкома, и инспектор губпрофсовета Пересыпкин. Под Рождество по ставропольским улицам еще ходили со звездой, даже иногда и комсомольцы, и пели:

Мать Марей ризу мыла,
Ризу мыла, положила.
Прилетели ангеляти,
Положили на крылати...

*

Начало было ничем не примечательным. В двадцатом году учащимися и средней, и высшей школы организовывалось множество самых различных кружков: музыкальных, хоровых, драматических, литературных. Из этих кружков выходили иной раз и неплохие поэты такие, как Иван Приблудный, и способные артисты, как, скажем, Вл. Кабатченко и Николай Вальяно, будущие

артисты Ленинградской академической драмы. Из подобного же кружка вышел и тогдашний ставропольский протодьякон, а затем баритон Большого театра Головин.

До сих пор помню, как он, только что прогудевший в соборе ектенью, мчался или в музыкальный кружок, или петь "Демона" в местном театре. Все эти ставропольские кружки очень напоминали такие же кружки в других городах тогдашней России. Ставрополь до страшной зимы 1921-1922 годов был не таким голодным, как города средней России, и в него стеклось немало культурных сил из Петербурга, из Москвы и ряда других городов. В городе был основан сельскохозяйственный институт, местный учительский институт был преобразован в педагогический, среди профессуры появились известный зоопсихолог В. А. Вагнер, геолог С. С. Кузнецов, историк литературы, в будущем автор "Неугасимой лампы" Б. И. Ширяев и ряд других.

Но тот кружок, который организовался сначала как рядовой самообразовательный кружок, ставивший целью как-то пополнить наше убогое образование, сыграл совсем особую роль и в нашей жизни, жизни членов кружка, и в культурной жизни города. Организовали кружок учащиеся двух старших классов средних школ города, но уже вскоре в него влились и студенты сельскохозяйственного и педагогического институтов, а затем - и профессура, и местная интеллигенция - врачи и педагоги, юристы и инженеры. Кружок стал местным литературно-философским (главным образом, философским) обществом, хотя и сохранял, по традиции, свое первоначальное название "Ставропольский самообразовательный кружок учащихся". Кружок собирался не реже четырех раз в неделю круглый год, без всяких перерывов на лето, причем, три раза в неделю читались лекции - от полутора до двух часов каждая, а раз в неделю -

доклады самих членов кружка и велись семинарские занятия. Такой характер кружок приобрел благодаря счастливой для нас случайности: главным его руководителем сделался даровитейший человек, глубокий оригинальный мыслитель, блестящий лектор и обаятельный человек - Сергей Александрович Цветков.

С. А. Цветков (род. в 1888 г.), сын ревельского протоиерея, окончил Петербургский университет у А. И. Введенского и Н. О. Лосского, в те годы еще приват-доцента, и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. Но он успел уже обзавестись семьей, и это заставило его отказаться (как ему казалось, только на время) от ученой карьеры и принять место преподавателя психологии и логики (и русской литературы) в старших классах ревельской гимназии, где он вскоре сделался инспектором. А затем война и революция забросили его на Ставрополье, сначала в гимназию глухого уездного центра, села Благодарного, а с 1920 года - в Ставрополь.

Мне пришлось в моей жизни встречаться и дружить с целым рядом замечательных людей. Очень близко знал я Сергея Алексеевича Алексеева-Аскольдова, хорошо знал и Б. П. Вышеславцева, встречался (и слушал) и с о. Павлом Флоренским, и с А. И. Введенским, и с Г. Г. Шпетом, и с о. Василием Зеньковским, - если говорить хотя бы только о философах, но никогда больше мне не посчастливилось встретить такого оригинальнейшего, глубокого мыслителя, такого при этом исключительно талантливого лектора, каким был С. А. Цветков.

Сергей Александрович ненавидел краснобаиство, и его речь, казалось бы строгая, не позволявшая себе никогда подмены логического доказательства эстетической метафорой, была вместе с тем так красива, так увлекательна, так замечательно вводила нас, слушателей, в

самую суть проблемы, ничуть при этом ее не упрощая, не снижая, как это зачастую бывает у "популяризаторов", что все мы, какую бы специальность ни получили в последующие годы, считали нашим подлинным университетом именно этот наш кружок. Что касается меня, то я всем, что знаю, обязан исключительно кружку, и только ему. С. А. заражал своих слушателей не только истинами, открываемыми нам; он заражал нас устремлением к самостоятельному поиску истины.

Мы собирались голодные, в нетопленных помещениях, чаще всего без электричества (электричество гасло иногда часов в семь вечера, а собирались мы по вечерам), при свете коптилки - пузырька с репейным маслом и домодельным ватным фитилем. Одеты мы и наши девушки были в мешковину или, в лучшем случае, в рубахи и штаны, платья и жакеты из дверных гардин. На наших ногах были грохочущие "танки" - деревянные подошвы, прикрепленные к ступне тесемками. Но тогда как-то не думалось об этом. Все это отходило куда-то далеко, когда мы слушали Сергея Александровича. А записывать его лекции мы не могли: он так увлекал нас, мы так вслушивались в его речь, что записывание просто не могло состояться. Жена Сергея Александровича горько укоряла нас за это: сам ведь он не имел тогда ни времени, ни сил - не мог писать книг, а записи помогли бы ему в дальнейшем. Впрочем, едва ли: время было такое, что лишь полнейшая безграмотность ставропольских партийных руководителей помогла кружку просуществовать с 9 декабря 1920 года и до весны 1924 года, когда местное ГПУ схватилось за ум и начало тягать организаторов кружка на допросы. Кружку пришлось самораспуститься, а ряду его основных членов срочно бежать из города.

С. А. Цветков был близок больше всего к неолейбницианцам, к Лотце (особенно к его "Большой метафизике"), к Бергсону. Выше всего из русских мыслителей он ценил С. Л. Франка и - в части философской антропологии - Несмелова. Конечно, был почитателем и Федорова.

Был С. А. обаятельным человеком, необычайно отзывчивым, бескорыстнейшим и на редкость терпимым. Чрезвычайно религиозный, он никак не навязывал никому своих религиозных воззрений. Главным образом интересовавшийся вопросами онтологии (он сам говаривал мне, что жалеет о времени, какое он посвятил глубокому изучению теории познания, а не сразу же сосредоточился на проблемах онтологии), но, вместе с тем, хорошо зная, как необходима подготовка к этим вопросам, главное внимание в занятиях с нами уделял психологии, логики, теории познания.

Был человеком и обаятельным внешне. Красивый, стройный, худощавый, он напоминал обликом своим иконописное изображение отца церкви древнерусского или византийского письма.

Чтобы наш кружок мог существовать на полулегальном основании, мы даже устраивали в нем курсы лекций по политической экономии и основам марксизма, поручая их чтение то начальнику политотдела армии, то доценту истмата сельскохозяйственного института. Как я уже сказал, местные партийные воротилы были классически невежественны, что и позволило нам так долго существовать. Даже самые фамилии некоторых из руководителей партии и правительства губернского масштаба были примечательны: народным образованием в Ставрополе долго руководил Гасилин, финансами - Разоренов, профсоюзами - Головенченко, Пересыпкин, а партийным главою был одно время некий Храпченко (не будущий ли академик?).

С. А. читал и систематические курсы, и циклы лекций, и отдельные лекции. Курсы иногда длились долго - например, истории древней и истории новой философии (от Николая Кузанского и до Гегеля включительно) посвящалось 40-45 лекций; истории средневековой философии, психологии, логике - от 20 до 25 лекций. Читались и циклы лекций, посвященных русским мыслителям, Анри Бергсону, Фрейдю и основным вопросам современной психологии. Наконец, и философским воззрениям самого С. А. Цветкова. Читал С. А. и отдельные лекции о Достоевском, Шпенглере, Гуссерле. Так, увы, и не состоялся уже подготовленный им для нас курс по философии от Гегеля до наших дней. Кружку пришлось закрыться.

Другим руководителем кружка был Ф. Я. Семин, о котором я уже немного рассказывал. Он читал циклы лекций, посвященные биосоциологии искусства и собственно социологии. Отдельные лекции читали: по зоопсихологии - Вл. А. Вагнер, по неопозитивизму - местный биолог, не вспомню его фамилию, по вопросам антропософии две-три лекции прочитал бывший профессор Варшавского университета, офтальмолог Ник. Саф. Павлов. Прочитан был Ф. Я. Семиным и цикл лекций о теории права и государства; при этом наибольшее внимание было отдано взглядам Л. И. Петражицкого.

По иронии судьбы, когда материально жизнь наша несколько облегчилась, когда голод и холод эпохи военного коммунизма были уже позади, кружок пришлось распустить. Но мы еще долго, приезжая на каникулы в Ставрополь, не прерывали связи с нашим учителем.

Организатором и председателем кружка (с самого его начала и до закрытия) был я. Уже учась в Питере, я смог в 1925 году опять организовать философский

кружок. Руководить нашими занятиями согласился Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов. Он был давно лишен права читать лекции по философии в университете, преподавал технологическое товароведение в Политехническом институте и взялся руководить нашим поневоле очень маленьким и строго законспирированным кружком: время было свирепое - не только преследовали "идеалистов", но уже готовился разгром такого ортодоксального общества, как "Ленинградское научное общество марксистов". Характер этого кружка, просуществовавшего, увы, очень недолго (были основания бояться ареста и С. А. Аскольдова, и всех членов кружка), определился уже с первых слов его руководителя:

"Я, друзья мои, хотел бы заняться с вами, по преимуществу, метафизикой и философией религии. Прошло то время, когда построялись целые гносеологические небоскребы. Постарел я, состарился и мир. В одной хорошей книге дух говорит схимнику: "Некогда строить монастыри"... Да, некогда сейчас строить системы типа Канта или даже Гуссерля. Приспело время говорить прямо, с кем ты - с Ним или с ними? И я последние годы занимаюсь почти исключительно вопросами онтологии и религии. Все мои молодые увлечения вопросами "Мысли и действительности" отошли далеко-далеко..."

Гораздо более длительное время - почти год! - просуществовал другой ленинградский кружок, организованный в 1926 году. Но он уже не имел руководителя: мы сами читали доклады. В феврале 1927 года все мы были арестованы ленинградским ГПУ.

В двадцатых годах существовали в Ленинграде и кружок "Воскресение", возглавляемый А. А. Мейером (в числе его членов был и Георгий Петрович Федотов), и кружок имени Св. Серафима Саровского (одним из организаторов которого был не так давно умерший в Нью-

Йорке Иван Михайлович Андриевский). Но о существовании этих кружков я узнал лишь тогда, когда они были закрыты, а большая часть их членов посажена в лагеря.



Остановился он в Ставрополе случайно, проездом в Закавказье. Остановился потому, что где-то под Тихорецкой в поезде, натолкнутом, как сельди в бочке, мешочниками и безнадежно мечущимися по всей Руси голодающими, его обворовали до нитки. У него остались случайно затерявшиеся в кармане несколько пачек сахара. А так как в том же поезде-дикообразе, где даже крышки и буфера были облеплены народом, он услышал, что сахарин можно продать с наибольшей выгодой в Ставрополе, он решил остановиться на недельку-другую в нашем неведомом ему дотоле городке.

Он не был спекулянтом. Поэт и незаурядный мыслитель, он хотел только как-то жить, чтобы читать древних и современников, писать ученые стихи и поэтические философские статьи и книги.

Толкучка на городском базаре в начале 1922 года являла собою целую галерею осколков разбитого вдребезги. Вдова министра с обвисшими складками когда-то тучного тела, кое-как замотанного в старый облезший салоп без подкладки, сиплым басом расхваливала свой товар - поштучно продававшиеся песочные печенья; они издавали острый запах несвежего бараньего жира. Прихрамывал недобитый судейский генерал, тщетно умолявший приезжих мужиков и местных нэпманов купить у него за фунт муки мраморную статуетку Гебы и старую керосиновую лампу с бронзовой египетской

рабыней у малахитовой колонки. Нэпманы со свиными глазками щелкали маленькую Гебу по нагим мраморным грудям, хохотали, матерщинничали, но покупать не покупали.

В этом-то кавардаке появился и он с львиной гривой седых волос, падавших на бархатный воротник когда-то дорогого драпового английского пальто, в непривычной миланской шляпе и с золотым пенсне на тонком горбатом носу. Не знаю, хорошо ли пошла его торговля или нет. Изредка он совершенно забывал о ней, о покупателях, обо всем на свете и, вынув из кармана маленький томик Феокрита или Тибулла, тут же, на морозе, погружал в изящную книжечку свой характерный, оседланный пенсне нос. А когда встречал на базаре Сергея Александровича Цветкова, пускался с ним в бесконечные разговоры о предопределении и свободе выбора и о религиозном смысле революционных потрясений. Тут же на базаре они и познакомились, и Сергей Александрович пригласил старого поэта в наш кружок - прочитать, по его собственному выбору, какой-нибудь доклад. Поэт-мыслитель, обрадованный возможностью оторваться от суеты толкучего рынка, выбрал тему - "Балет как высшая форма искусства".

Мы сидели в нетопленном зале, тускло освещенном коптилкой-пузырьком из-под одеколона, наполненным репейным маслом и с домодельным ватным фитилем. Мы были голодны. Поэт красивым, выделанным языком вещал нам о том, что искусство тем выше, чем больше преодолена в нем внешность, чем более оно окрыленно, чем меньше в нем рассудочности, даже утонченной - вещиности.

- И дух человеческий во все времена представлялся окрыленным. И люди всегда любили искусство, приближающее человека к бестелесности, к преодолению злой

силы тяжести, косности, материальности, вещной скованности - прекрасное искусство танца.

Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена
Стоит Истомина, она
Одной ногой касаясь пола,
Другую медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совет, то разовьет.
И быстрой ножкой ножку бьет.

- Искусство танца всегда было священным, может стать, даже более музыки приближающим человека к совершенной Красоте и Всецелой Полноте - к Богу. Вспомните крики "эвоз" и вакханалии, сатурналии, пляски жриц Астарты и Беллоны у древних. Какими-то концентрическими кругами, в вихревом танце, мы суживаем область тайны, сжимаем Непостижимое. Прыжок - и мы у Престола. "Давид скакал изо всей силы пред Господом... Когда же входил Ковчег Господень в град Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, унижила его в сердце своем", - за что, прибавлю от себя, и осуждена Библией.

Отказаться от бренной суеты и ярма телесности, вещности - в этом смысл балета: просветить, преобразить тело, сделать его почти духовным, почти бес-телесным, убить косность его.

Может быть, и смысл переживаемых нами революционных потрясений и испытаний отчасти в том же: мы слишком привязаны к телу нашему, к внешней культуре,

к вещам. Нужна была грандиозная встряска, чтобы мы, многократно терявшие в эти годы все, привыкшие терять, перестали так ценить тело, культуру, вещи: освободились от рабства телесного, от рабства вещей...

И тут что-то случилось: закончив эту тираду величественным жестом правой руки, лектор как-то скривился и начал беспокойно шарить близорукими глазами по полу.

- Что с вами? - подошел к поэту Сергей Александрович.

- Запонка. Хорошая запонка польского золота. Она, должно быть, соскочила в последнюю минуту. Не можете ли, молодые люди, поискать ее? Или нет, я сам... Сергей Александрович, посветите, пожалуйста.

И поэт на коленях пополз вокруг кафедры, пока не нашел, наконец, запонку. Сергей Александрович светил ему, и блики жидкого света перебегали по заплеванному полу.



Когда вспоминают годы гимназической юности, обычно вспоминают не школу, а свою юность, и эта юность окрашивает в золотисто-розовые тона чаще всего весьма неприглядную действительность как старой дореволюционной, так, особенно, советской средней школы. Думаю, что и вообще-то первородный грех средней школы последних полутора веков - это ее расчет на некую, хотя бы относительную, массовость, а тем самым - на средний уровень учащихся.

А отсюда как-то получился и весьма средний уровень педагогов, неких чиновников от просвещения, человек в футляре, соллогубовских Передоновых, отбывающих с грехом пополам действительно тяжкую учительскую по-

винность. За все годы моей средней школы я с любовью и глубокой благодарностью вспоминаю лишь нескольких талантливых и любящих свое дело учителей.

Но одну среднюю школу, впрочем, и просуществовавшую всего восемь месяцев, я никогда не забуду.

Поздним летом 1921 года у трех учеников предпоследнего класса школы второй ступени, как называлась тогда средняя школа, и у нескольких профессоров и педагогов Ставрополя возникла мысль провести опыт: создать школу по образцу средневековых школ, где весьма немногие и отобранные по способностям и любви к знаниям ученики занимались бы под индивидуальным, примененным к каждому ученику, его знаниям, склонностям и дарованиям руководством "мастеров"-преподавателей. В те годы, еще не так зажатые в тиски бюрократического формализма, особенно в провинции, вдалеке от центра, было легко уговорить местные органы просвещения, играя на том, что производится-де опыт, что подобная школа революционизирует старую буржуазно-помещичью школу, - и добиться утверждения проекта, особенно если назвать такую школу "Опытно-ударной советской средней школой при Гос. Педагогическом Институте". Уговорить вождя местного просвещения с мрачной фамилией Гасилов талантливому зоопсихологу, профессору и ректору местного Педагогического института, сбежавшему из Москвы от голода на до того более сытый юг, Владимиру Александровичу Вагнеру, было вовсе нетрудно. Помог и большой умник, и весьма образованный и порядочный человек - начальник Губполитпросвета Петров, из офицеров военного времени, бывший питерский студент-юрист. Школа была открыта.

Все учащиеся "Опытно-ударной советской школы" были отобраны, с большим и тщательным их испытанием, из состава полуподпольного литературно-философского

кружка. Кстати, на некоторые лекции нашей "опытно-ударной школы" приходили не только мы, но и учителя, врачи и даже профессора Ставрополя.

Всего учащихся в двух классах школы было семь, в классе выпускном, и восемь или девять в предпоследнем. А руководителей-лекторов, включая и директора школы, проф. В. А. Вагнера, читавшего курсы зоопсихологии и физиологии, было не менее двадцати. И каких только курсов и семинаров не читалось! При этом даже курсы политической экономии (начальник Политпросвета Петров), исторического материализма (не помню сейчас - кто), читались хотя и с чисто марксистских позиций, но еще все-таки на известном пристойном уровне. Ну, а неолейбницианец С. А. Цветков, кантианец Ф. Я. Семин и позитивист В. А. Вагнер отнюдь не скрывали своих взглядов и своего отношения к материализму и марксизму. Читались лекции и велись семинары: история древней философии (и семинар по "Федону" и "Пиру" Платона) - С. А. Цветков; он же - история средневековой философии; он же - история новой философии (и семинар по Декарту, "Этике" Спинозы, по Лейбницу и "Критике чистого разума" Канта); он же - история русской философии (и семинар по Вл. Соловьеву и М. Каринскому); он же - семинар по "Классификации выводов" М. Каринского; он же - курс психоанализа и новых течений в психологии; биосоциологический метод в искусствоведении - Ф. Я. Семин; индийская религиозная философия - Н. С. Павлов; русская литература от Достоевского до Чехова - В. А. Кудрявцев; исторические курсы вел, помнится, Базилевич, математические (высшая математика) - проф. Автономов, геологию и петрографию - проф. Кузнецов, и т. д.

Выбор курсов и семинаров был совершенно свободным, и выпускной класс разделился на физико-мате-

матическую группу (четыре ученика) и литературно-философскую. Но лекции Цветкова слушали все, включая и предпоследний класс.

Увы, школа просуществовала лишь до весны 1922 года. Власти быстро опомнились и прикрыли школу, так что предпоследнему классу пришлось вернуться в обычного типа среднюю школу. Ну, а некоторых преподавателей и учащихся вызывали на допросы в ГПУ...



Восточный институт в Ленинграде в 1924 году. Тогда назывался он еще Ленинградским институтом живых восточных языков, сокращенно (очень некрасиво) - ЛИЖВЯ. Впрочем, еще более плохо, хотя и правдиво, звучало сокращенное название Ленинградского государственного университета - ЛГУ.

Волею судеб попал я в 24-м году в этот самый ЛИЖВЯ и поселился у своего дяди Сергея Андреевича Козина - проректора по учебной части института. Помещался Восточный институт тогда на тихой Церковной улице Петроградской стороны, переименованной в честь какого-то никому не ведомого героя Октября тов. Блохина.

В шестиэтажном жилом доме помещался и весь институт со всеми его аудиториями, канцелярией, библиотекой, со студенческим общежитием на самом верхнем этаже, с институтской столовой - и квартира ректора, коммуниста-манчжуриста Павла Ивановича Воробьева, и проректора С. А. Козина, и квартира известного академика-китаиста Василия Михайловича Алексева, а рядышком с женским студенческим общежитием - неболь-

шая квартирка совсем молодого профессора-япониста Николая Иосифовича Конрада.

Будущий маститый академик-марксист был тогда отнюдь не марксистом, но склонным к мистике полуправославным-полуантропософом, не только талантливым востоковедом, но и неплохим пианистом, не только историком и лингвистом, но и горячо увлекающимся медиумизмом и спиритизмом, а также полуголыми девушками-танцовщицами из студии "Гептахор" на Большом проспекте.

Когда он играл в маленькой комнатке - одновременно столовой и гостиной, рабочем кабинете и спальне - на небольшом пианино сюиту из "Китежа" Римского-Корсакова, в соседней, первой от входа в квартиру комнатке, тесно прижавшись друг к другу, его благоговейно слушали все восемнадцать его студенток, одна другой краше. Дальше этой первой комнаты они не допускались. Рядышком с Конрадом сидела только его старушка-мать, маленький, вечно хлопочущий о своем дорогом Коленьке колобок, всегда во всем черном (с белыми горошинками), всегда что-то вяжущий:

- И чего это их так много к нам наташилось, этих девок-то, - ворчала она. - Ох, боюсь я, обженят они тебя, гляди, эти шилохвостки-студентки. А я-то всегда мечтала, что женишься ты на хорошей хозяйке, и сдам я ей заботушку о тебе, Коленька, с рук на руки.

Увы, так и не сбылась заповедная мечта матери - женился ее Коленька на студентке своей Натусе Фельдман.

Востоковедением не интересовался я ни на полушку, но востоковеды занимали меня сильно. Это был тогда очень замкнутый, очень своеобразный мирок, еще никак не разбавленный пришлецами из кругов марксизма-ленинизма. Были, правда, и тогда такие "востоковеды",

как некий старый коммунист Павлович-Вельтман, ни одного восточного языка не знавшие, ни одной путной книжки, кроме брошюр Маркса и Ленина, не читавшие, но издававшие пухлые томищи об империализме и освободительных движениях на Востоке. Они же в качестве советских эмиссаров и поджигали эти самые "освободительные движения" с двух сторон - и со стороны, скажем, мусульманского или индуистского фанатизма и национализма, и со стороны движения угнетенных масс.

К этим новоявленным ориенталистам питерские востоковеды относились с глубочайшим презрением: "Уж эти москвичи..."

Один из востоковедов, видный тюрколог, еще в свою студенческую пору женившийся (чтобы вызволить из публичного дома и спасти для лучшей доли жертву социального гнета) на проститутке, ставшей, кстати, превосходной женой и чудесной хозяйкой, особенно восставал на москвичей Павловичей за из безграничную безграмотность и столь же безграничные напористость и наглое учительство всех и каждого. А жена его, богатая житейским опытом и не скрывавшая своего прошлого, прибавляла: "Ну, уж таких в наше заведение на порог не пускали: отправляйтесь, мол, в полтинничные..." Была она вообще весьма решительна в своих суждениях. Так, академик Николай Яковлевич Марр, до последнего дня своей жизни не признававший автомобилей, завел себе на седьмом десятке лет личную извозчицу - необычайно красивую, статную женщину лет тридцати, жену заключенного в тюрьму царского подполковника. И когда он, до того времени богатырского здоровья человек, которого стариком никак нельзя было назвать, стал быстро сдавать и дряхлеть, эта "ака-

демица” (как она себя называла), поджав губы, резюмировала:

- Изменять жене в его годы с такой горячей, в самом соку - да тут и молодой не продержится долго.

А свирепый историк-ориенталист академик Бартольд (жены Марра и Бартольда, помнится, были родными сестрами), заикаясь, хмурился:

- В-вот к ч-чему п-приводит ув-влечение м-марксизмом... Извозч-чица!!

Бартольд был грозой не только для студентов: как огня, его боялись и его коллеги-профессора. Особенно злился он, когда его называли не Василием Владимировичем, а Владимиром Васильевичем. Он буквально выходил из себя, на губах появлялась пена, он бесился и начинал поносить путаника последними словами. Все это знали, все боялись перепутать имя и отчество - и все поэтому постоянно их путали. Ненавидя сегодняшних властителей страны, он на лекциях студентам, почти сплошь партийцам и комсомольцам, хитро используя свое заиканье, постоянно ”оговаривался”:

- Когда в-вы с-станете с-советскими п-п-ослами на Востоке... - И при этом особенно напирал на ”о”...

Жены Бартольда и Марра были верны традициям православия, и во всех комнатах их академических квартир висели иконы и теплились лампы. И даже тогда, когда марризм-марксизм привел создателя яфетической теории в коммунистическую партию, иконы не были убраны, и лампы в его жилище не угасли: этого не перенесла бы его жена, им (невзирая на прекрасную возницу) обожаемая.

Впрочем, и в квартире ректора, коммуниста и члена горкома партии Воробьева, висели иконы и прятались лишь при приходе более или менее именитых советских гостей - или стукачей-студентов. Богомольная теща

Павла Ивановича окрестила тайком и его детей, и святила пасхи и куличи правоверного ленинца, уж конечно, не в ближней Князь-Владимирской церкви (обновленческой, "красной"), а в настоящей, "тихоновской".

Единственными лекциями, меня интересовавшими, были курсы по философии индуизма и буддизма академика Федора Ипполитовича Щербатского. Писал он превосходно - ясно, элегантно, глубоко освещая вопрос, но читать лекций органически не мог. Был даже случай, когда на одном из буддологических конгрессов он заснул и захрапел на чтении своего собственного доклада: читал его по рукописи Щербатского, как почти всегда, С. Ф. Ольденбург. Мы слушали лекции Щербатского у него на дому, ибо слушателей-то у него было в те годы всего двое: бывшая институтка аристократического склада, чуть чопорная Е. Н. Козеровская и я. Разговаривал он с нами запросто, давал косноязычные, но очень ценные указания - что именно читать, как понимать то или иное положение. Иногда же беседовал, и не только на темы буддологии.

Как-то раз, придя к Федору Ипполитовичу на лекцию, застали мы у него его близкого друга - композитора и тогдашнего директора Консерватории Александра Константиновича Глазунова. На небольшом преддиванном столике стояла весьма скромная закуска и большая бутылъ чистого, неразведенного спирта.

- Молодые друзья мои, - обратился к нам не без торжественности академик, - сегодня наша лекция не состоится: я нездоров немного. Но взамен нашей сегодняшней беседы я вам преподам один важный практический совет: никогда, слышите, никогда не пейте водки: в водке к спирту примешана вода. А от воды человек пьянеет. От чистого же, неразбавленного спирта никог-

да не болит голова. Правда, Александр Константинович?

Глазунов только утвердительно мотнул головой.

Жил холостяк Глазунов со своей матерью в скромнейшей квартире. Как-то я зашел к нему, так как Марии Вениаминовне Юдиной, с которой мы отправлялись на выставку в Эрмитаж, нужно было что-то спросить у своего маститого директора. Старушка-мать Глазунова Марию Вениаминовну весьма жаловала, особенно за ее религиозность, но в этот раз встретила замечанием:

- Сегодня, Машенька, не вовремя ты зашла: сегодня у нас детское белье стирается, Сашенькино.

Сашеньке уже перевалило за шестьдесят.



С. А. Козин был одним из редчайших в России людей, по самой натуре своей принадлежащих к европейскому Ренессансу. Недаром он боготворил Пушкина, даже, может стать, превыше другого своего кумира - Достоевского. Эта отзывчивость на яркость, сочность и пестроту, цветущее многообразие не только европейской, но и азиатской культуры, вместе с органической приверженностью к исконно русскому, эта страстная любовь к жизни, к красоте именно в самой жизни, а не в книгах или театре только, это, наконец, неумное женолюбие, не умеряемое даже глубокой религиозностью, - все это делало Сергея Андреевича весьма сложной, цельной при всей противоречивости, своеобразной личностью. Его национализм никак не был петушково-самоварным. Он не выносил, например, балалаечных оркестров и "русского" стиля церковей эпохи Александра Третьего. Помню его спор с Марией Вениаминовной Юдиной, ко-

тую он любил и уважал чрезвычайно. Мария Вениаминовна, прихожанка того же Храма на Крови, что и Сергей Андреевич, жаловалась, что хор в этом храме упорно исполняет песнопения итальянизированного Бортнянского, Чайковского, Рахманинова, а не старорусские, знаменного распева, так что это скорее опера, а не церковная музыка...

- Богу нужна всякая красота, - возражал Козин, - и оперная музыка прекрасна, и итальянизированная хороша - почему же им не место в церкви?

Помню и один его спор с рьяным церковником из бывших эсеров, утверждавшим, что в грядущей вечной жизни все и вся сольется в одну величавую целокупную Осанну.

- Ну, нет, на такой рай я не согласен. На рай, в котором растворятся, пусть даже в божественной полноте и целостности, гениальные творения Баха и Данте, Пушкина и Рембрандта, Достоевского и Лейбница! Нет, безличная, хотя бы и всецело божественная всеполнота - я не приму такого рая! Не приму такой сплошной унисон. Пусть будет полифония с отчетливо выделяющимися отдельными голосами. Разве Богу надобно, чтобы в мощной Осанне совсем потонули голоса Пушкина и Моцарта? Такая Осанна сродни механическому коллективизму.

- Но ведь человеческая самость, индивидуализм - склонен к бунту, к отпадению от всецелой полноты, от Бога, - возражал оппонент, пересыпая свою речь цитатами из богословских трактатов. - Ведь вот так и отпал от Бога первый падший ангел - Денница.

- Но и он, Люцифер, сказал хору ангелов в "Дон Жуане" Алексея Толстого весьма заслуживающую внимания мысль: "Я к вашим дискантам фундаментальный бас", - усмехнулся Сергей Андреевич.

- Я вам цитирую религиозных мыслителей, - обиделся собеседник, - а вы мне какую-то стихотворную драму.

- Многие из ваших цитат не весят все вместе и одной фразы в другом "Дон Гуане" - пушкинском. Его Дон Гуан так любил проявления красоты в мире, в творении Божьем, что и маленькой частицы этой красоты ему было довольно, чтобы упиваться вином жизни. Помните, как влюбился Дон Гуан в Донну Анну?

Ее совсем не видно
Под этим вдовьим черным покрывалом,
Чуть узенькую пятку я увидел.

Сергей Андреевич любил не только женщин и радость жизни, не только философию и музыку. Он был крупным государственным деятелем до революции и, отчасти, в гражданскую войну. Он был большим деятелем на Востоке, в Монголии 1913-1917 гг., любил пестроту и своеобразие кочевых народов, но сам неизменно оставался русским интеллигентом. Тщетно старался он заохотить меня, своего племянника, к занятиям монголистикой, указывая на еще не ушедшую тогда самобытность монгольской жизни и культуры:

- Исчезнут, увы, скоро исчезнут с лица земли эти Богом европейским забытые глухие уголки - и с ними навсегда захлопнутся двери в кладовые своеобразия, все превратится в несъедобную, всемирную, обезличенную и обессоленную жвачку - интернациональную цивилизацию.

*

Лето 1924 года. Петроград - и даже Петербург, как и писалось на многих изданиях тех лет, - только недавно

стал Ленинградом. Народ, особенно женщины, еще не разучился бунтовать, и я хорошо помню не только горячие споры, но и рукопашные стычки между милицией, отбирающей храмы для живоцерковников, и толпами верующих, отстаивавших свои храмы. Помню злую физиономию одного из возглавителей ленинградских живоцерковников протоиерея Красницкого, когда-то эксперта прокуратуры по делу Бейлиса, ярого черносотенца, совершенно естественно перешедшего в ряды красносотенцев.

- Иуда Искарот! - орали ему возмущенные прихожанки и норовили поколотить, но защищаемый милиционерами Красницкий только огрызался. Еще существовали даже некоторые домовые церкви, ставшие приходскими, и в церковь Введения на Петроградской стороне на колясочке ездил по воскресеньям мой сосед по улице - парализованный художник Борис Кустодиев. Он иногда не доверял художникам-декораторам исполнять декорации по его эскизам и сам в своей колясочке разъезжал по полотнищам декораций, набрасывая смелыми крупными мазками краски, иногда вовсе уклоняясь при этом от первоначальных эскизов.



Институт живых восточных языков был учреждением колоритнейшим и своеобразным. Кроме русских, занимались в нем узбеки, корейцы, армяне, китайцы, буряты, туркмены, грузины, татары.

Вечера в институте были поэтому занятыми: песни и танцы десятков народностей как Советского Союза, так и зарубежного Востока - в национальных красочных костюмах, под аккомпанемент национальных инструментов;

разукрашенные на таджикский, корейский, узбекский, армянский, осетинский манер аудитории с национальным угощением в каждой комнате. Участвовать в вечерах института никогда не отказывались ни поэты, ни прозаики, ни артисты ленинградских театров. Чаще всего первое отделение наших вечеров было занято выступлением писателей и артистов-гостей, а второе посвящено выступлениям с танцами и песнями студентов разных национальностей.

Одним из устроителей этих вечеров был и я и помню не одно выступление в институте Николая Тихонова, Зощенко, поэта-футуриста, приятеля "Президента Земного Шара" Константина Олимпова. Сын поэта Константина Феофанова, Олимпов был фигурой примечательной. Вечно голодный, вечно пьяный, в плохо державшемся на его опухшем теле тряпье, он выступал, гордо задирая немного трясущуюся голову, со стихами, которые могли кого-то как-то поразить лет пятнадцать тому назад, но в середине двадцатых годов были уже архаичными. Под утро, вдребезги пьяного, мы укладывали Олимпова в нашем общежитии, и он то плакал пьяными слезами, то вспоминал эпизоды своей дружбы-вражды с Хлебниковым.

Михаил Михайлович Зощенко, тогда молодой, красивый, с печальными глазами украинского парубка, читал свои рассказы превосходно. Всегда мрачный, неразговорчивый, как и все юмористы, ипохондрик, он читал свои юморески почти трагически. Контраст между их содержанием, тоном чтеца и самим видом их автора был так разителен, что чтение не раз и не два прерывалось буквально обвалом хохота слушателей. Зощенко обводил аудиторию недоуменно-вопрошающим взглядом своих печальных очей и на минуту прерывал очередной рассказ. Во время антракта, в армянской или в узбекской

комнате, он молча пил зеленый чай или рюмку армянского коньяка, щелкал орехи или пощипывал сладости. И - ни словечка, даже когда с ним кокетничали напропалую хорошенькие студентки.

Больше всего любил выступать на наших вечерах Николай Семенович Тихонов. Страстный турист, исколесивший почти весь Советский Союз, он был неравнодушен к Востоку, много раз бывал и подолгу жил в Средней Азии, излазил Памир и Кавказ. Худющий, с выпавшими передними зубами, очень на вид невзрачный, он весь преображался, когда читал стихи. С отрывками из своих среднеазиатских рассказов он выступил, кажется, один раз, а больше читал стихи. Стихи читал не так, как обычно читают поэты - с подвывом и отщелкивая каждый ритмический поворот, - и не так, как уродуют стихи профессиональные актеры, забывая, что в стихах есть своя музыка, свой размер. Тихонов читал, как-то перемешивая эти две манеры, но в его чтении была известная романтика музы дальних странствий:

Полюбила меня не любовью,
Как березу огонь, - горячо,
Веселее зари над становьем
Молодое блестело плечо.
Но ни песней, ни бранью, ни ладом
Не ужились мы долго вдвоем, -
Убежала с угрюмым номадом,
Остробоким свистя каиком...

Литературная жизнь ленинградского Петербурга - по сравнению с последующим десятилетием - была тогда ключом. Выступали то в Капелле, то в других залах города Маяковский и Есенин, а в частных домах полуподпольно читал свои стихи опальный Николай Клюев. В

уже потершейся и залоснившейся полуоперной поддевке, оказующий умник и хитроватый мужик, хорошо разбиравшийся не только в поэзии, но и в любомудрии, Клюев собирал достаточно большой круг слушателей, особенно из наиболее культурных слоев населения. Читал Клюев на таких домашних собраниях и "Деревню", и "Погорельщину", и стихи, такие, как "Кто за что, а я за двоеперстие". Собирали опальному поэту немного денег среди слушателей, и поэт как-то сводил концы с концами в своей комнате, обряженной под заозерную избу - с полавицами и огромным киотом в красном углу с дониконовскими образами.

Покойный Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов рассказывал мне, как однажды олонецкий поэт-крестьянин поставил его и ученнейшего поэта Вячеслава Иванова в тупик, исправив в их разговоре ссылку на Фихте-младшего. А при мне Клюев усердно читал Баадера в подлиннике.



23 мая 1945 года скончался в Берлине замечательный русский мыслитель Сергей Алексеевич Алексеев (литературный псевдоним - Аскольдов). Мое первое знакомство с ним: конец 1924 года, Петроград, уже надевший личину Ленинграда, подпольный философский кружок студенческой молодежи и молодых доцентов. Организовав его, я долго думал: кто же будет нашим руководителем? Живы были еще и блестящий лектор неокантианец А. И. Введенский, и друг Владимира Соловьева - Э. Л. Радлов, и А. А. Мейер, но я решил как-то сразу: Сергей Алексеевич Аскольдов. Этот выбор пришелся по душе всем членам нашего небольшого кружка.

Высокий красавец - было ему тогда 53 года, - он был уже изгнан из университета и преподавал в Политехническом институте технологическое товароведение. О преподавании философии он уже перестал и мечтать, да и публиковал теперь только статьи литературные - о Достоевском, Андрее Белом, Ахматовой. Поэтому, несмотря на риск ареста, он с радостью согласился руководить нашими философскими занятиями.

Уже на первом нашем собрании он сказал, что навсегда "прошло то время, когда построялись целые гносеологические небоскребы". Постарел, мол, он, составил мир. "В одной хорошей книге дух говорит схимнику: "Некогда строить монастыри". Да, некогда сейчас строить системы Канта или Гуссерля. Пришло время говорить прямо: с кем ты? - с Ним или с ним". И он, Аскольдов, занимается теперь почти исключительно вопросами онтологии и религиозной философии, а все его молодые увлечения вопросами "Мысли и действительности" отошли дальше далекого.

Кружок просуществовал недолго: арест и тюрьма, лагерь и ссылка Аскольдова, вскоре - мой арест, аресты других кружковцев. В 1941 году, освободившись из Ухто-Печорского лагеря НКВД, выбрал я из скудного количества городов, в которых мог проживать, Новгород - близость Питера, древний русский город - он давно влек меня своей стариной и искусством.

Новгород был средоточием многих бывших заключенных-петербуржан, и почти на следующий же день встретился мне на улице высокий, все еще стройный и такой же красивый, несмотря на поношенное платье и сбитые ботинки, Сергей Алексеевич. И начались наши бесконечные беседы, чтение друг другу прозы и стихов (стихи С. А. Аскольдов, друг Вячеслава Иванова, приятельствовавший с Андреем Белым, писал уже давно),

споры за полночь. Сохранились у меня и стихи Сергея Алексеевича той поры. Вот одно из них:

Часы бессонницы милей мне злобы дня,
Стихает в них тоска моих дневных томлений,
Еще колеблются обрывки сновидений
И тают в сумраке лампадного огня.

И время, хитрый маг и счастья евнух,
Не властно надо мной: часы или минуты
Текут - не знаю я, я мира скинул путы,
Дрожат лучи огня, и вот огонь потух.

Тогда минувших дней во мне воспоминанья
Встают, как выходцы из дальнего изгнания,
Живут, как встарь, со мной, волнуясь и любя;
И в будущее путь мечта мне пролагает,
Надежда вторит ей, и время умирает,
И в лоне Вечности я чувствую себя.

16 августа 1941 года Новгород был захвачен немцами, и начались драматическая эпопея скитальчества и месяцы нашей с С. А. Аскольдовым совместной жизни. Затем жизнь нас разлучила. Злейший припадок сердечной астмы не дал возможности Сергею Алексеевичу бежать из Потсдама; по приходе советских войск он был арестован, вскоре освобожден, но через два-три дня, когда его пришли снова арестовывать, он уже скончался.

До конца дней своих он верил в возрождение России. В неотправленном письме к семье в Питер (от 22 авг. 1944 г.) он писал, что иго, царящее в России, "в силу антагонизма пробудит народ к новому возрождению. Как всегда в истории, зло и величайшие ужасы служат к обновлению жизни".

Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов родился в 1871

году. Был он незаконным сыном (первая жена его отца никак не давала развода) известного русского философа, издателя (и единственного автора) первого в России философского журнала ("Философский трехмесячник") Алексея Александровича Козлова (1831-1901). Не лишено интереса, что и Козлов также был незаконным сыном помещика И. А. Пушкина, родственника великого поэта. Философия панпсихизма Козлова во многом определила и направила мысли его сына в первой работе еще под именем Алексеева - "Основные проблемы теории познания и онтологии". В своей второй и последней книге "Мысль и действительность" (1914) Аскольдов уже более самостоятелен и все больше и больше приближает чисто философскую мысль к мысли религиозной. С. А. Аскольдов уже в 1910-х гг. подвергал беспощадной критике новейшие системы теории познания, исключавшие из понятия "гносеологического субъекта" (или "сознания вообще") всякое психологическое содержание, сводя это понятие к пустой абстракции - границе неуловимой и непредставляемой между познающим субъектом и познаваемым. Аскольдов утверждал, что "познающий субъект, о котором идет речь в гносеологии, не вступившей еще на путь произвольных измышлений, есть субъект индивидуальный".

Горячо протестуя против модного в те годы антипсихологизма, Аскольдов восстанавливает в правах первичность нашего непосредственного сознания как некую данность, к которой он постоянно обращается. "Познание начинается не с познавательного отношения, а с того, что первоначальнее всякого познания - с действительности, т. е. с того, что еще чуждо всякого ясного гносеологического подразделения на субъект и предмет сознания". По Аскольдову, "трансцендентное, как нечто, находящееся за пределами данного сознания, неудержимо

прорывается во всякую гносеологию". Единственная реальность, данная нам непосредственно, - это реальность нашего "я", при этом не позитивистские "психические явления" (явления как раз не есть непосредственная данность), а именно целокупное "я". Аскольдов постулирует всеобщую одушевленность мира, без которой нельзя осмыслить реальность.

Если в "Мысли и действительности" Аскольдов еще не отказывается от онтологического монизма, но уже говорит о некоем "функциональном дуализме" и даже о возможности полного слияния "чистой" материи с духом в целокупное единство, то в сороковые годы он уже говорил о неслиянно-нераздельном единстве души и материи и о том, что мировое целокупное единство - это система духовно-телесных монад (единств), иерархическое построение которых чем-то напоминает картину мира не Лейбница, а скорее Данте.

Увы, работа последних лет Аскольдова - "Четыре разговора", написанная в поэтической форме диалогов Платона (и "Трех разговоров" Вл. Соловьева), опубликована, конечно, не была и, по-видимому, погибла или сожжена в 1941 году Новгороде, или в осажденном немцами Ленинграде.

Весьма большое значение придавал Аскольдов эстетическому опыту. Не такое, как опыту мистическому, охватывающему всецело бытие, но все-таки чуть ли не большее значение, чем даже опыту эмпирическому. Если вообще мы познаем скорее *символы* вещей, чем сами вещи, то в эстетическом опыте эти символы более жизненны, более конкретно осязаемы, чем в опыте эмпирическом, в науке. И искусство, поэзия могут легче и скорее подвести человека к той грани, за которой для подвига веры открывается Божественная Всеполнота - Плерома - Бог.

Может быть, именно поэтому русская философия (а русский человек - "зверобог", по определению Аскольдова, - скорее натура эстетическая, чем теоретическая или морально-правовая) проявилась более всего в художественной литературе, в особенности в романах горячо любимого Аскольдовым Достоевского. Свою статью "Религиозно-этическое значение Достоевского" (1921) Аскольдов заканчивает гимном русской религиозно-эстетической интуитивной мысли: "Трудно сказать, хуже или лучше современное человечество человечества прошлого. Но одно можно сказать уверенно: никогда человеческая совесть и ум не были так запутаны в своих исканиях хитросплетениями добра и зла. Теоретическое и практическое разъединение этих хитросплетений составляет неотложную задачу деятельного христианства. Если эта задача именно теперь поставлена и именно теперь доступна разрешению, то несомненно, что Достоевский не только нас к ней подвел, но и дал громадной ценности интуитивные постижения, облегчающие для религиозной воли и мысли эту трудную работу. В этом состоит его историческое значение для религиозной жизни не только России, но и всего человечества".

Русская религиозно-философская и историософская мысль предвосхитила и европейскую "философию жизни", и - отчасти - экзистенциализм. В нашем подпольном кружке 1924-25 года Аскольдов говаривал нам, что поэзия и художественная проза ближе подводят нас к самой сердцевине мысли о целокупном бытии, чем любые чисто интеллектуальные философемы.

Году в двадцать пятом или двадцать шестом у моего дяди Сергея Андреевича Козина стал от времени до времени появляться то в его служебном кабинете, то на его квартире старый литератор, писавший главным образом в "Новом Времени" под псевдонимом "Сигма", Сергей Николаевич Сыромятников. Как ни странно, его, литератора откровенно монархических убеждений, не арестовали и даже - до поры до времени - не отобрали его небольшого усадебного дома и огромнейшей ценнейшей библиотеки. Но Сыромятников уже почувствовал, что это продолжаться долго не может, и поспешил продать свою библиотеку - о ее продаже и вел переговоры с моим дядей, проректором института. Библиотека, в которой было много книг по Востоку (Сыромятников изъездил в качестве корреспондента "Нового Времени" весь свет), была приобретена Восточным институтом, и я перелистывал у дяди немалое количество прекрасно переплетенных беллетристических и полубеллетристических книг самого Сыромятникова, писателя и публициста весьма плодовитого и бойкого.

Одна особенность этих книг меня чрезвычайно поразила: в книги были или вплетены или вклеены многочисленные любовные письма к автору дам и девиц, иной раз далеко небезызвестных. Я набрался смелости и спросил Сыромятникова, зачем он это делал?

- Видите ли, молодой человек, - отвечал он, - ведь это была моя личная библиотека. А я в своей художественной прозе почти ничего не выдумал, не присочинил. Почти все - правда истинная. Так вот, эти самые письма - это, так сказать, те реалии... ну, то, что в моих рассказах всего лишь несколько завуалировано.

А за год или два перед этим приходил к С. А. Ко-

зину известный в свое время музыковед Всеволод Евграфович Чешихин, родной брат народовольца, критика и литературоведа Чешихина-Ветринского. На склоне лет музыковед заинтересовался еще нерасшифрованными письменами разных народов, в частности, этрусков, написал о них книгу, и вот теперь приходил похлопотать, не издаст ли ее Восточный институт в своих ученых трудах.

- Все языки Европы и Азии, - бубнил Чешихин, глядя как-то поверх головы собеседника своими плоскими оловянными глазами, - все они буквально, в сущности говоря, славянского, больше того, русского происхождения. В этой своей книге об языке этрусков я неопровержимо это доказываю. Как до сих пор никто не мог догадаться, а ведь это совершенно ясно, что язык этрусков - это русский язык. И уже по самому названию своему. Вот, глядите, надпись на известном этруском саркофаге: "Лар-дие-ал". Ну, разве это трудно понять?! Ведь "Дий" - имя древнерусского божества. "Лар" - ларь, большой сундук, но и гроб, домовина... "Ал" звучит почти как "дал". Вот вам и расшифровка этой, казавшейся такой непонятной, надписи: "Бог дал мне этот ларь-саркофаг", так сказать, место последнего упокоения. Все это так неоспоримо!

- Вот и санскрит - это прарусский язык: "агни" - огонь; "пибо" - пью. А у нас - "пиво". Я неопровержимо доказываю, что властителями Индии до Сакья-Муни были древнерусские князья. У меня, Сергей Андреевич, слух музыкальный, я во всех языках больше чувствую их корни - по их звучанию - чем все лингвисты, вместе взятые.

- Тогда и "Месопотамию", - ехидно вставил я, - можно легко расшифровать как страну издревле рус-

скую: страну, где "мясо", "с потом добытое", "ели" наши прарусские предки.

- Из молодого человека выйдет толк, - посмотрев на меня своими глазами-бляхами, совершенно серьезно сказал Чехихин. - Мне, представьте, это еще в голову не приходило.

Когда, уже в сороковых годах, я попал в Ригу, то узнал, что некоторые из самых жгучих латышских националистов писали об истории древней Индии, бывшей под владычеством латышских князей. Я тут же припомнил "эт-русский" язык и русских властителей в Индии.

Забегал в Восточный институт в те годы всегда - в лето и в зиму - босой и в одном ветхом балахоне рыжий эстонец или прибалтийский немец Теннисон (помнится, так его звали), вообразивший себя буддийским монахом высокого посвящения и самовольно вселившийся в жилой дом буддийского монастыря в Новой Деревне (окраина Питера). Бегавший пешком по всему городу, всегда радостно улыбающийся, он не знал ни одного из языков буддийского мира, но искренне почитался приезжими калмыцкими и бурятскими ламами за подлинный крайний аскетизм. Они охотно принимали и его благословения, и его посвящения.

- Буда, ты все знаешь, все видишь, - шепелявил он, простирая руки над приезжим монашком-бурятом, - ты все и мозешь... Сзалься над эти бедными тедьми (детьми), стелай фсе по их зеланию... Сто тебе стоит...

Года через полтора он так же внезапно исчез из Питера, как появился в нем. Мне лет через тридцать рассказывали, что в конце двадцатых годов видели его и в Эстонии, и в Латвии. А сейчас он сидел в кабинете у дяди С. А. Козина и шепелявил, почесывая под мышками:

- В прослом перерождении я был капустный сервяк -

мне надо многое искупить теперь, чтобы переродиться в более приличном виде, а ты - ты был в прошлом перерождении дикая свинья: слишком любил и любись зенсин...

Дядя не отрицал и, по совести, не мог отрицать это.



Этот грузный, рыхлый человек обладал феноменально низким басом и полным отсутствием музыкального слуха при страстной любви к пению. Но если исключить личную певческую безухость, Макарий Иорданович Пайдаси (называю его подлинным именем, так как, конечно, он давно уже умер) был на редкость художественно чутким человеком. Он любил оперу, особенно Глинку и Римского-Корсакова, любил он и живопись - и весьма тонко разбирался в исполнительском мастерстве певцов и драматических актеров.

Интересна биография этого примечательного человека. Сын, внук и правнук мастеров литейного дела, выросший с младенчества на заводе корабельных котлов, мариупольский или таганрогский грек, Макарий Иорданович кончил, кажется, только двух-трехклассную заводскую ремесленную школу - и все. И вместе с тем еще до революции, в годы, когда столь необходимы были дипломы, ученые звания, официальное завершенное высшее образование, на худой конец, - Пайдаси занимал крупнейшее положение в кораблестроительном мире Петербурга. Самые знаменитые и именитые кораблестроители, самые ученнейшие специалисты по корабельным котлам после самых тщательных, самых точнейших расчетов и подсчетов, казалось бы обеспечивающих максимально удачный выпуск котла, обращались к Макарию

Иордановичу с просьбой посмотреть на их проект, а главное, присмотреть за самим процессом отливки корпуса. Пайдаси торжественными стопами шествовал по котельному цеху, с ритуальной медлительностью заглядывал в смотровое окошечко, перекрестясь (этого он не прекращал и в советские годы), лез за пазуху, вынимал небольшую стариннейшую табакерку (называемую им "табатеркой") и, осторожно вынув из нее крошечную щепотку какого-то порошка, бросал ее в кипящую массу металла. И все облегченно вздыхали: котел выйдет безо всяких раковин, получится на славу.

Что это был за порошок? Это было секретом Пайдаси, не открываемым им никому. Не могли дознаться даже советские руководители производства, смахивавшие зачастую скорее на пыточных дел мастеров, чем на специалистов.

- Это моя заповедная тайна. Вот буду помирать - открою ее вам, - гулким хриплым смехом-профундо отвечал расспросчикам Макарий Иорданович.

Вот эта-то ничтожно малая щепотка никому не ведомого порошка, добавляемого в необъятную массу металла, всегда приходит мне на память, когда читаю какую-либо книгу - не только художественную, но даже и научную, когда вижу картину или рисунок, слушаю симфонию или простую песенку, когда смотрю драму или фильм.

Казалось бы, ничем не отличается это произведение от других. Та же словесная, красочная, звуковая масса. Та же *материя* произведения, ничем особенным не отличающая его от ему подобных. Есть только какая-то ничтожнейшая количественно "щепотка" неведомого вещества - и симфония или полотно живописца, повесть или статуя, философская книга или незамысловатая песенка становятся неповторимым, исключительным, на-

долго незабываемым, *подлинным* произведением. А уберите из песенки одно словечко, сотрите с рисунка малозаметную черточку, отнимите у философской мысли неуловимый аромат индивидуальности, свежести - и решительно все произведение потускнеет, подернется паутиной обыклой и утомительной повседневности, потеряет то *брио*, какое только и придает ценность и значительность, индивидуальную неповторимость любому произведению искусства, философской мысли, науки.



Мой первый питерский арест - весной 27-го года - был вызван не столько тем, что мною были организованы - осенью 1925 и весной 1926 года, два подпольных кружка (первый - под руководством С. А. Алексеева-Аскольдова), сколько просто волной арестов, связанных с разгромом ленинградской партийной оппозиции 1926-27 годов.

Тогда, весной 27-го года, арестовали и очень много беспартийных, особенно - из студенчества, сильно бурлившего, горячо обсуждавшего издававшийся при "Ленинградской Правде" "Листок оппозиции". Листок этот был отнюдь не "листком", а целой газетой, и ее рвали из рук, зачитывали до дыр, обсуждали достаточно откровенно. Было тогда же арестовано заодно и множество "бывших людей" и нэпманов - НЭП находился при последнем издыхании. В следующем, 28-м году, исчезли последние его остатки. Бывшим людям и нэпманам шили шпионаж, экономическую контрреволюцию, участие в контрреволюционных организациях - все, как полагается по извечному советскому трафарету.

Сидеть в одиночке мне долго не пришлось: аресты

были массовыми, подследственных девать было некуда, и за те два, примерно, месяца, какие я просидел на Шпалерке, в "Доме предварительного заключения", у меня в камере перебивало четыре соседа. Кроме моей привинченной к стене железной кровати ставили еще деревянную койку, и у меня, как правило ночью, появлялся сожитель. Одним из них, самым первым, был посаженный следователем "наседка". Вкрадчивый, весь истекающий елеем, он отрекомендовался сразу же доцентом-экономистом, бывшим участником "рабочей оппозиции", но отрабатывал свой провокаторский хлеб так явно и грубо, что его от меня, за непригодностью, убрали через два дня.

Появился у меня дня через три после "наседки" превосходно одетый, весьма элегантный и воспитанный человек, типичный интеллигент, инженер-технолог. Столичный еврей, сын тоже инженера, видного члена кадетской партии, он всерьез поверил в долговечность нэпа и открыл небольшое промышленное предприятие. Ездил в близкую границу - в Прибалтику и Германию, закупал там для своего заводика, на котором и рабочих-то было не больше двадцати человек, необходимое оборудование и инструментарий. Попутно, будучи страстным меломаном, вел, по поручению дирекции Филармонии, переговоры с большими дирижерами, пианистами, скрипачами - и теперь его обвиняли во всех смертных грехах разом: в шпионаже в пользу Латвии и Германии, чуть ли еще не Британии, в сношениях с белогвардейской эмиграцией и, конечно, в организации монархического заговора и террористических групп.

Как увлекательно рассказывал он о жизни Запада, казавшейся такой сказочно богатой! Даже жизнь в Риге и Таллине виделась необычайно оживленной, влекущей своею свободой, цветущей культурной новизной, а уж о

Берлине, Дрездене, Мюнхене и говорить нечего! Просидел злополучный инженер в моей камере четыре дня, и перевели его, думаю, в одиночку: он был слишком высокого полета "заговорщиком" в глазах следствия, чтобы сидеть не в полной изоляции.

Вместо него привели ко мне в камеру, чуть ли не в ту же самую ночь, когда увели незадачливого нэпмана, коренастого, мужицкого вида крепыша, одетого во все кричаще иностранного покроя. Купец-промышленник, вышедший из простых рабочих-мастеров в самостоятельные заводчики еще до революции, наследственный кожевник, он так рассказывал о происхождении своего дооктябрьского благосостояния. Полюбился он и работой, и хозяйской хваткой своему заводчику. "Слушай, Иван Митрич, - сказал ему хозяин, - вот тебе пять тыщ, открывай свое небольшое дело по выделке юфти. Но условие: четыре года ты будешь иметь дело только со мной: продавать мне юфть по такой-то цене - для рыбацких и охотничьих сапог. Выгода тебе, и мне не в убыток. Ну, а через четыре года - ты сам себе голова".

Иван Дмитриевич был с хорошей предпринимательской смекалкой, и ему удалось откупиться от своего прежнего хозяина уже через два с половиной года. И стал он изготавливать не только юфть, но и шевро, и лайку, и каких только сортов кожи он ни изготавливал! К семнадцатому году ходил если не в миллионерах, то в больших стотысячниках. И сапоги солдатские и офицерские на армию уже поставлял. В 22-м поверил нэпу, завел кожевенный завод, ну, а теперь - влип. Вот, посадили его, и к чему это приведет - Бог весть. Мужик-то он мужик, но в царские времена бывал не раз "взагранице".

Самым же интересным был последний в том моем сидении сокамерник, оставшийся в моей камере и пересе-

лившийся на мою железную кровать, когда меня выпустили за ненахождением состава преступления на советскую волю. Высокий, осанистый, с головой, остриженной под горшок, и густой бородой извозчика-лихача, он сразу располагал к себе. И сразу же было видно, что извозчик-то он - извозчик, да в прошлом большой барин. Держал он несколько экипажей, лошади в его конюшне были превосходные, извозчиками у него, кроме него самого, работали тоже рослые и видные молодцы. Был он в прошлом гвардейским офицером-кавалеристом. После Октября был даже мобилизован в Красную армию, преподавал иппологию на каких-то курсах высшего командного состава, но с падением Троцкого его засадили, обвиняя (невзирая на его беспартийность) в принадлежности к оппозиции. Он быстро оправдался - сама гвардейская выправка не соответствовала никак обвинению, но работу потерял, и никакой работы ему, бывшему барину-гвардейцу, не давали. Ну, тут соблазнил и его нэп. Начал он извозчицью карьеру, жил совсем неплохо - лошадей знал и он, и его жена тоже - до тонкости. А сейчас обвинили его сначала в монархическом заговоре, а потом - в участии в террористической группе.

А в соседней со мной камере сидели в то время (мы перестукивались, а раз и на прогулке случайно встретились) виднейший деятель церковной оппозиции, духовный отец о. Павла Флоренского, о. Федор Андреев и старший сын Иосифа Сталина от первого брака, замеченный вместе со всей студенческой массой 27-го года. Кажется, сидел он всего лишь две недели. Но сидел.

- Вы не были еще на "Льде и стали"?

- Ну, вот еще. К чему мне смотреть, как усмиряли Кронштадтский мятеж.

- И напрасно. Я не об опере самой говорю. Ее даже Преображенская спасти не смогла. Да вот там в одной сцене барахолка питерская. Бывшие люди свое последнее добро за гроши продают. А нищий, бывший генерал, протягивает дряхлую руку за подаванием и поет старый романс "Пара гнедых". И как поет это Касторский: "Были когда-то и вы рысаками", - не только я, помнящая старую жизнь, но и молодежь плачет. Ну, конечно, после этой сцены театр наполовину пустеет. Дальше слушать нечего.

Опера играла в жизни людей двадцатых-тридцатых годов огромную - и далеко не чисто музыкальную - роль. Во-первых, новых советских опер в те годы было раз-два и обчелся. А в драме, увы, шли всяческие "Концы Криворыльска", "Рельсы гудят" да "Разломы". Их нехотя посещали даже партийцы. А солдаты, матросы, комсомольцы, которых гоняли на эти спектакли в порядке "культпоходов", чтобы заполнить пустующие залы, недовольно бурчали: "Чего мы тут не видели! Колхозы, заводы, война-гражданка... Подавай графьев на сцену!" Они шли весьма охотно лишь на те спектакли, где хотя бы в одной сцене "буржуазия разлагалась" - показывали заманчивую для всех жизнь капиталистического Запада. "Во живут, дьяволы! Нам бы так..."

А в опере царили те же Борисы и Салтаны, царские невесты, так же любили и ревновали, страдали и радовались Онегин и Лознгрин. В этих старых, но вечных вещах многие места воспринимались сугубо злободневно,

особенно когда их исполняли артисты отнюдь не советских настроений.

Одним из наиболее фрондирующих был любимец питерской публики, красавец богатырского роста и наружности, мощный драматической баритон Павел Захарович Андреев. Незаменимый князь Игорь и Шакловитый, Вильгельм Телль и Ганс Закс, Томский и Кочубей, он в "Князе Игоре", обратившись непосредственно к публике, так многозначительно пел: "О дайте, дайте мне свободу", а в слова "Я Русь от недругов спасу" вкладывал столько выражения, что все понимали, о чем идет речь и что к чему. Но особенно прозрачным было его исполнение монолога Шакловитого в "Хованщине". "Спит стрелецкое гнездо. Спи, русский люд: враг не дремлет, - задумчиво и молитвенно пел он, обратившись к правительственной ложе. - О ты, в судьбине злосчастная Русь! Стонала ты под яремом татарским, шла-брела за умом боярским... Пропала дань татарская, престала власть боярская, а ты, печальница, страждешь и терпишь..." Заканчивая монолог молитвой: "Ей, Господи, взявляя грех мира, услышь меня, не дай Руси погибнуть от лихих наемников!" - Андреев как бы невольно и ненамеренно широким жестом указывал на ложу новых властителей. Весь театр замирал в неизъяснимом восторге, а умный Киров, любивший оперу и частенько посещавший ее, как ни в чем не бывало аплодировал певцу. Не знаю, как поступил бы жирный самодовольный тупица Жданов.

Но несмотря ни на что, Павел Захарович получил высшее звание "народного артиста СССР". Не обошлось тут и без курьеза. Когда в 1933 году торжественно чествовали Андреева по случаю тридцатилетия его артистической деятельности, ему вместе со званием "народного артиста" собирались вручить орден Ленина. Но

артист дал понять властям предержавшим, что не примет ордена. "Мне, - намекнул он, - будет, конечно, плохо, но и вам конфузно, если явно откажусь. Лучше не давайте". И ему заменили орден подарком - тридцатью тысячами рублей.

- Вот, Владимир Иванович, - ласково-укоризненно выговаривал Андреев замечательному певцу Касторскому, - я не задолиз, пою в храме Божьем частенько, а уж "Разбойника благоразумного" в Посту - обязательно, а народного все-таки мне дали. А ты, Владимир Иванович, вот и в "Союз воинствующих безбожников" вступил (хотя знаю, тайно крестишь лоб перед каждым спектаклем), а все дальше "заслуженного деятеля" не пошел.

Не слишком-то осуждал Андреев старого приятеля, знал, что Касторский вынужден был выслуживаться, чтобы не съели его совсем: ведь года два пел он у "белых". Пел с великим чувством Сусанина в "Жизни за царя", баловали и ласкали его белые генералы.

Слушать Андреева ходили даже в пашенковском "Черном Яре". Ходили, собственно, на один акт. Тот, в котором на торжественном молебне в соборе белый генерал поет вместе с громадным двухсотголосым хором Мариинского театра в сопровождении оркестра, еще усиленного тридцатью медными инструментами, молитву о ниспослании белому воинству победы над безбожными агарянами-большевиками: "Спаси, Господи, люди Твоя..."

Слышал я и жену Андреева, прославленную Александром Блоком и ставшую его долговременной и ревливой подругой - Любовь Александровну Андрееву-Дельмас. Слышал я ее в Народном доме в "Пиковой даме" во время гастролей Дм. Смирнова. Слышал в случайном гастрольном спектакле в "Кармен" - ее коронной роли, правда, через пятнадцать-двадцать лет после Блока. Не пленила

она меня ни голосом, ни артистизмом. Не пленила и всю остальную публику. И лишь те, кто близко знали Блока, в антракте бормотали:

...Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явлением Карменситы.

Может быть, это когда-то было, в прошлом, может статься, Блок был очарован женщиной, а не артисткой. Но когда я слушал Дельмас, ничего не заставляло вспоминать волхвующие строки поэта.

Вернулась Дельмас к своему красавцу-мужу, как рассказывали, со словами: "Довольно мы с тобой, Павел, врозь поблудили. Давай доживать жизнь вместе". А впрочем, вокруг крупных артистов всегда много слухов.

*

Трагедия великих артистов-исполнителей в том, что их по-настоящему помнят лишь те, кто их видел и слышал. Правда, теперь, когда видеокассеты сохраняют и игру и голос, дело обстоит несколько лучше, но эта все-таки механическая "запись" не дает полного представления о живой игре и пении, о том захватывающем вас *общении* с артистом, какое давал спектакль или концерт. Ну, а как мы можем по-настоящему судить о таких гигантах русской оперной сцены, как Шаляпин и Ершов, при жизни которых и граммофонная запись была весьма несовершенной, а о видеокассетах и не мечталось никому?

Иван Васильевич Ершов (родился 8/20 ноября 1867 г. близ Новочеркаска, умер 21 ноября 1943 г. в Ташкенте) был огромнейшим явлением в русском музыкальном мире. Е. М. Збруева в своих воспоминаниях пишет, что Ершов - артист "нисколько по внутреннему содержанию не меньшего калибра, чем Шаляпин". Александр Бенуа, вспоминая о русской опере, говорит, что "прекрасен был всегда Шаляпин... Прекрасен был Ершов в «Тангейзере», в «Зигфриде», в «Зигмунде»". Римский-Корсаков всегда отмечал, что теноровые партии в его операх сразу приобретали нужное воплощение, когда поручались Ершову. Б. Асафьев в одной из статей, посвященных певцу-актеру, вспоминал: "7 февраля 1907 года - памятная дата в летописи бывшего Мариинского театра, день первого представления "Сказания о невидимом граде Китеже". Судьба умно связала имя Ершова с этим великим, светлым произведением, поручив ему создать в нем образ глубоко русского страстотерпца Гришки Кутерьмы. Я лично, да, кажется мне, и все петербуржцы, музыканты и публика, не могут себе не только представить, но и желать иного воплощения этой роли". Замечательная русская пианистка М. В. Юдина пишет о Мариинском театре десятих-двадцатых годов: "[там] главенствовал великий, истинно великий художник и человек - недостаточно, увы, увы, увы, теперь у нас вспоминаемый и почитаемый! - Иван Васильевич Ершов! Что это был за Гришка Кутерьма, что за Зигмунд! Он весь - Иван Васильевич - был живое воплощение Искусства; без лишних слов, напыщенных фраз, поучений, он был жрец, жрец в основном дионисической Стихии, но и - аполлонического Разума". Каратыгин писал о Ершове-Зигфриде: "У него, как у самого Вагнера, видим мы дивное соединение - в пении и в игре - поразительной непосредственности, простоты, почти

наивности с глубочайшей продуманностью каждого штриха. "Чистое пение", драматическая экспрессия, гибкая пластика всегда координированы с музыкой и сценической ситуацией - все у него приведено во внутреннюю гармонию".

"Тристан"-Ершов вдохновил Блока на его строки:

Меч выпал. Дрогнула рука...
И перевязан шелком душным
(Чтоб кровь не шла из черных жил),
Я был веселым и послушным,
Обезоруженный - служил.
Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: Нет, я не слуга.
Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь...

Пишущий эти строки видел и слышал Ершова в одиннадцати ролях; именно о них и скажу, ибо все шесть десятков лет, что прошли с той поры, они стоят передо мною, как будто виденные вчера.

Зигмунд в "Валькирии". Шестидесятилетний Ершов, почти без одежды, закутанный лишь в волчью шкуру, молодой атлет, наивный и невинный, так по-отрочески сразу же влюбившийся в жену Хундинга, свою, очевидно, первую женщину, даже несколько неловок. Он слишком силен, чтобы быть ловким. И он поздно, слишком поздно узнает, что Зиглинда - его родная сестра... И любовная сцена, и бой с Хундингом, за которым стоит грозный Вотан, - все в воплощении Ершова так естественно - и так далеко от натурализма, и так слито с музыкой и словом Вагнера, что вы и следите за ходом драмы - и всецело в стихии музыки. Никакой мелочной детализации образа - все первозданно, все дано в титанических формах.

А вот Финн в глинкинском "Руслане". Обычно эта роль скучна и однотонна, когда исполняет ее обычный оперный тенор. Но у Ершова Финн становился одним из наиболее ярких образов "Руслана и Людмилы". Мудрый старец, отнюдь не расслабленный годами своей разнообразной и бурной жизни, волевой, мощный и добрый волшебник, - он повелевал и витязями, и стихиями, но все это без пафоса, просто, как бы совершенно естественно.

В роли же Михайлы Тучи в "Псковитянке" Римского-Корсакова Ершов так исторически проникновенно и посегодняшнему "митингово" воплощал дух псковской и псковско-новгородской вольницы, что сцена псковского вече становилась кульминацией оперы.

И совсем другим воплощением вольницы, также исконно русской, но уже разбойной, каторжной, пугачевской, был Ершов в роли сподвижника Пугачева, беглого каторжника Хлопуши в никуда не годной советской опере Пащенко "Орлиный бунт". На отвратительном словесном и музыкальном материале великий артист создал такой выпуклый, такой яркий образ мужицкого бунтаря и каторжника, что на оперу ходили, собственно, только чтобы послушать и посмотреть в этой роли Ершова...

Ну, а безумный, сатанинский пляс Гришки Кутерьмы в коронной роли Ершова, пляс перед нечистым и во славу нечистого, с диким присвистом и вакхическими и трагическими вскриками? По телу зрителей-слушателей мороз пробегал... Но еще более потрясающим был предыдущий эпизод. Кутерьма повел войско татарское Батыево по тайным, неизвестным тропам лесным к граду стольному Китежу, а всем китежанам дал знать, что предала Китеж Феврония. Татары все равно привязали Гришку к дереву, как бы распяли его на нем, чтобы

поутру, если обманул их Кутерьма и завел в дебри лесные и болотные, зверски расправиться с ним. А ежели не обманул и Китеж близок, то просто казнить Гришку: "Не изменяй родному князю". Кутерьма молит Февронию, когда истомленные татары заснули, развязать его, - и он убежит. И рассказывает ей о своей измене и о том, что он ее оговорил. "Гриша, Гриша, ты уж не антихрист ли?" - с ужасом вопрошает Феврония. И тут Кутерьма весь содрогается в смертной тоске: - Что ты, что ты, где уж нам!.. Просто я последний пьяница... Нас таких на свете много есть... Слезы горькие ковшами пьем, заедаем воздыханьями". Кутерьма в опере-мистерии создавал совершенно, казалось бы, не соответствующий ее общему характеру образ русского пропойцы, эдакого почти что горьковского босяка-богоборца, но только возведенного до высоко трагедийного уровня. И этот контраст с иконописно-благодостной мистерией создавал такую силищу, такое напряжение и стихийный размах, что протестовавший было композитор согласился с такой трактовкой образа: Ершов победил и убедил Римского-Корсакова, который вначале, на репетициях говорил: "В опере... главное средство выражения - пение. Драматическое действие только предлог для музицирования... Тот, кто ищет потрясения, путь идет в драматический театр". Но - победителей не судят, и композитор сам пересмотрел свой взгляд на "Китеж" и роль Кутерьмы. Поэт Михаил Кузмин говорил, что Ершов в Кутерьме создал "гигантский образ". "Если бы он ничего даже больше не создал, он все-таки остался бы артистом гениальным".

Но сколько образов, притом образов гениальных, создал еще Ершов! Вот князь Василий Голицын в "Хованщине" Мусоргского. Надменный - и тогдашний либерал, москвитянин-западник - и суевер и тиран,

через постель нелюбимой царевны Софьи пробирающийся к престолу... Ершов делал эту в общем второстепенную роль одной из наиболее значительных.

А его Ирод в "Саломее" Штрауса! В этой роли Ершов был страшен. Еще немного - и Ирод был бы просто омерзителен: низкий и грязный сладострастник, римский раб - и тиран для своей "полуколониальной" страны, трус и садист... Кажется, еще только четверть шага - и Ирода-Ершова уже было бы просто не выдержать, оставалось бы бежать из театра. Но грань перейдена не была. Громадный вкус и большой ум артиста одержали и тут победу над его способностью предельного воплощения в роль: Ершов остался художником, не оказался натуралистом.

Ершов был великим артистом музыкально-трагедийным. Но мне посчастливилось видеть его и в роли для него не характерной - роли буффонной, роли типа "комедиа дель арте". Это - сыгранная им всего несколько раз роль "человека, умеющего смешить" - Труфальдино - в опере Прокофьева "Любовь к трем апельсинам". Подвижный, как итальянский паяц, гибкий и сильный, как профессиональный циркач, Ершов весело и умело комиковал, импровизировал, вошел душой и телом и в эту роль. Сказались и здесь его огромная музыкальность и способность органически вживаться в роль - и через текст, и через музыку (музыку - в особенности). Так же вжился он и в роль Петуха в балете с пением Стравинского "Байка про лису, петуха, кота да барана" - одноактной шутке в народно-лубочном русском стиле. Задиристый и воинственный петух Ершов был настолько комичен - и вместе с тем отважен и горд, - что было жаль, что Ершов спел эту роль только, кажется, на премьере, да и балет, к сожалению, сняли после двух-трех исполнений.

Удалось повидать мне Ершова в роли (всего один раз, на торжественном спектакле "Пиковой дамы") не Германа, а роли крошечной, крошечной - Распорядителя. Но как спел он свою фразку: "Хозяин просит дорогих гостей прослушать пастораль под титулом «Искренность пастушки»", и еще две фразки по ходу акта! Это был какой-то юбилейный спектакль, и даже безмолвные роли исполняли в тот раз именитые актеры Александринки...

Удалось мне попасть и на прощальный спектакль Ершова: он пел заглавную партию в опере Верди "Отелло", на премьере новой постановки этой, может быть, лучшей вещи композитора. Расставание с театром было для 62-летнего артиста трагедией. Осталась его запись - для себя: "9 июня 1929 года. После репетиции. Последнее напряжение сердца. 14 июня 1929 года. День последнего спектакля.

Печальный дух.
Нет признаков бытия певца,
Удел его - забвенье...
Тащись остаток дней,
А там - успокоенье".

Спектакль был исключительный. Ершов прощался со сценой, и прощанье Отелло с военной славой, с оружием звучало торжественно и драматично:

Прости, блеск воинский, победы, слава,
Стальные копья, конь мой боевой!
Прости, военное святое знамя...

Человек, единственной школой которого (кроме консерватории) было училище паровозных машинистов, заслуженно был избран доктором искусствоведения. Он

встречался с Блоком, Белым, Аскольдовым, Лосским на собраниях Вольфилы - Вольной философской ассоциации. Он много и обильно читал. Любил Пушкина и Достоевского, Лермонтова и Тютчева, Блока. Он не только исполнял гениально, но и хорошо знал музыку, и его любимцами были Бах и Бетховен, Вагнер и Римский-Корсаков, Мусоргский. Он учился живописи у Я. Ф. Ционглинского, хорошо лепил, высекал скульптуры и из мрамора.

И хотя очень сожалел, что не может достаточно уверенно разговаривать с профессионалами-учеными на научные темы, но испытывал, как сам писал, "недоверие к этим ученым, неверие в их художественно-артистическое, интуитивное понимание таких вещей, в кои щупальцами науки не вползешь".

Особенно близок был ему и в жизни, и творчески Достоевский - и как художник, и как мыслитель. "Слезка" неповинно умученного ребенка была ему близка и биографически. Незаконный сын прислуги - кухарки - в маленьком провинциальном городке, нещадно матерью избиваемый как ее "позор" и ее обуза, отданный затем матерью в семью полупрофессиональных нищих, где все и питались только подаванием, собранными кусками хлеба, - он рано изведal горечь изнанки городской жизни. Выбившись в люди, а затем став знаменитым артистом, он не осуждал свою несчастную мать, до самой ее смерти помогал ей. Но всю жизнь не мог забыть свое нищее детство, насмешки над ним как "пащенком".

...Аристократическая наружность. Тончайшая интеллектуальность. Изысканный вкус. Способности к живописи и ваянию. Гениальный артистизм. И знание жизни от самого ее нищего дна - и до высшего света, ставшего ему доступным. И главное - не *занятие*

искусством, а жизнь в нем, одержимость им. Те, кто слышал и видел Ершова, его запомнили и будут помнить всегда. И помнить как величайшее счастье: удалось соприкоснуться с гением.



Не в пример рядовым белорусам, он был богатырем, высоченным, с плечами "косая сажень", с голосиной, что труба Страшного Суда. Коммунист "аж с восемнадцатого", партизанивший всю гражданскую войну, до вступления в партию пел он в костеле в каком-то местечке Западной - католической - Белоруссии. "Во всем хоре я был единственным басом. Хватало - я ведь октавист", - рассказывал он мне.

Он учился в консерватории, а чтобы как-то прожить, работал нормировщиком на том же строительном участке Ленинградского 4-го госстройтреста, где начинал свою строительную карьеру и я. В 1928-29 годах контора наша была невелика, и мы как-то быстро сдружились. Роберт С. много рассказывал о себе, особенно, когда узнал, что я - неумный меломан.

"Голосина у меня, Борис, прямо сказать - силы непомерной. Но, понимаешь, второй бас, по-научному - бассо профундо. Октавист. В хоре без нас никакой глубины не добьешься. На нашем глыбоком фоне сопраны и тенора могут спокойненько разливаться, а мы, значит, гудим и гудим, иногда бормотком урчим, иногда понизу густо тянем. А иной раз ка-а-к возгласим, - чертям тошно становится!

Как принимали меня в консерваторию, попал я сначала в класс Боссе, Гуальтьер Антоныча. Послушал он меня, покачал головой, языком с выраженьем поцокал: "Да, -

говорит, - Роберт, не звук у тебя, а звучище. Такая силища голоса мало кому дадена. Голосищем, - говорит, - яйца на яишню можешь сотнями бить. Даже на расстоянии. А только голос у тебя вовсе прямой, как дубина. И думать тоже при пении отнюдь не лишнее дело. Ну, как мне с тобой поступить? В хоре такой голос, понятно, цельный клад. Ну, а для солиста..." - и рукой так сделал чтой-то не совсем понятное.

Бился он со мной, бился. Но потом говорит: "Не могу больше, Роберт. Може, выберешь другу специальность. Солистом тебе не быть..." А я читал гдей-то про знаменитого Карякина (другие студенты с интеллигентов дали книжечку). Говорю Гуальтьер Антонычу: "А вот у Карякина был второй басина. Иной раз просил дирижера в "Руслане" ему вместо хора басов одному Голову богатырскую петь. Пишут, как он рывкнет, - окна в комнатах не выдерживали..." Рассмеялся Боссе, лоб у него весь морщинкой пошел: "Ну, - говорит, - так Карякин и думать всеж-таки умел, а это тебе, Роберт, почему-то мало дается..."

Думаю: "Думать-то, браток, я получше тебя умею. С восемнадцатого в партии. Не фунт дыму. А ты - до сих беспартийный. И происхождения ты, как ни верти, не слишком русского. Где тебе русского баса понять?!"

И пошел я в класс самого Андреева, Пал Захарыча. Тот уж, понятно, русский как есть. И роста меня не поменьше. И добрый мужик до чрезвычайности, хотя тож беспартийный. Религиозные пережитки ему препятствовали: "Благоразумного разбойника" в церкви всегда пел. Взял он меня в свой класс. Тоже морщился, даже, видимо, матерком хотел пугнуть, да ругаться по-черному остерегался: старого закалу певец. Только все советовал мне: "Ты, Роберт, пой и пой. Пой побольше. Хотя в хоре. Голос у тебя, как у дюжины быков, а не

эластиченный. Сноровку приобретешь, практики побольше, авось и выдуришься, и гибкость какая появится..."

А где ж это второму басу петь? "Средь шумного бала" или "Благословляю вас, леса", - не выходит, и никто ни в какой клуб не пригласит - мы не для романсов. Раньше, до Октября, значит, нашего брата купечество на руках носило: на свадьбах да на именинах возглашать погромче "Многая лета". Купцы басовую силищу ужасно уважали. Ну, в нэп еще можно было у их подработать. А теперь... Да и партийный я. Нельзя мне. Сунулся в хоры: и в Мариинке, и в Михайловском, и в Капелле октавистов полный комплект. Хоть плачь.

Вот тут-то оно, происшествие, и произошло. Подходит ко мне как-то в консерватории дирижер - он был тогда балетным в Мариинке, с этого обычно они, дирижеры, начинают. Этот, Александр Васильич, и предлагает: "В лютеранском Петре и Павле будет исполняться "Рождественская Оратория" Баха. Кроме своего хора и небольшого оркестра, набирают они для исполнения той оратории голоса и оркестрантов. Вот тебе, Роберт, и практика: октавистом в хоре, и дам я тебе несколько сольных фраз. И подработаешь немного..." Я, понятно, благодарю. Понимаю, что, хотя я и коммунист, но где же мне петь с моим бассо профундо?! Да к тому же, хотя церковь и дурман для народу, но всеж-таки тут Бах, а его и в советской нашей консерватории уважают и используют.

Уж как я, значит, звукочек в "Рождественской" давал! Никакая звучность, даже орган во всю силу, не мог меня приглушить. Александр Васильевич мне с дирижерского пульта глаза ужасные пялил, даже морщился, а я все наддавал и наддавал!

Ну, а на следующий день вызвали меня на чрезвычайное заседание бюро парткома консерватории:

- Ты, Роберт, соображаешь, что это ты наделал?! Коммунист, студент государственной консерватории, сознательный советский гражданин, а религию - опиум для народа - поддерживаешь? В храме пел?!!

- Так где ж мне, октависту, петь прикажете? - пожимаю плечами. - "Средь шумного бала случайно"? Это с нашим профундо не выделает. А практика и советскому басу необходима. В Мариинский хор, в Михайловский меня не берут, хотя там партпрослойка никудышняя, а я с восемнадцатого аж... А я еще ведь Баха пел, а не каку обедню...

- Верно, - отвечают. - И коли бы в Капелле или в Филармонии, - слова бы не сказали, но ты - в церкви...

А я отвечаю им:

- Так ведь я-то по рождению до партии состоял в католиках, а Баха пел в лютеранском. Так это ведь не фунт дыму - измена своей религии, та же антирелигиозная почти пропаганда. Скажем, ежели русский дьякон "Многая лета", простите, у евреев или баптистов прорычал - было бы тоже вроде измены религиозному культу...

Ну, тут вижу, я своим рассуждением в самую нужную точку попал, потому - они улыбаются во весь рот:

- Ну и дуб же ты, Роберт, - говорят, - дуб стое-росовый.

Я, Борис, хитрый. Мне все едино: дуб так дуб. Мне бы только в партии остаться.

- Да, - отвечаю им и тоже смеюсь. - Мне, как был беспартийным басом в костеле, и ксендз говорил: "Дуб ты, Роберт..."

Ну и обошлось. Ограничились строгачом с предупреждением"...

Уже в конце тридцатых годов я не раз встречал

Роберта. Его как старого партийца приняли все-таки солистом на третьи роли в Мариинский театр, и хотя он одно время был даже секретарем партколлектива театра, но дальше роли, скажем, третьего стрелца в "Хованщине" так и не пошел. И вся-то эта партия была невелика - фраза: "А немца Гадена у Спаса на Бору имали, да и волокли до места, и ту на части разодрали..." Но и здесь Роберт отличился.

"Вижу я, - рассказывал он мне, - что не по-русскому тут: какой-то "гадин". Как пел, исправил: "А немца-гадину..." А помреж Исай Григорич Дворищин в антракте орет: "Ты что автора корежишь: Гаден, а не гадина..."

Хотел я ему сказать, что я - русский и лучше, чем он, русский язык знаю. Да смолчал. Исай-то Григорич с самим Шаляпиным Мисаила пел, может, в конце концов и прав он в чем-то, хоть и не прямой русак. Смолчал я. Уж Бог с ними".



Когда со Второго строительного участка Четвертого Госстройтреста перевели куда-то с повышением Главного инженера, начальство участка оказалось в весьма затруднительном положении. Стройки все были важные: новое здание Ленинградского геологического комитета, ряд заводов оборонного значения на Васильевском острове, из них один, официально производивший не то гвозди, не то даже канцелярские скрепки для бумаг, был таким особо засекреченным, что в нем строители и говорили только шепотом. Найти нового главного инженера соответствующей квалификации было трудно. А тут еще только что с громом и треском прошел процесс Промпартии - инженеры и служащие не так, конечно,

настойчиво и крикливо, как в 1936 или 37 году, но все-таки принудительно-энтузиастически требовали от суда, партии и правительства немедленного расстрела продавшихся западному капиталу шпионов, вредителей, злобных лакеев, кровавых псов мирового империализма... И инженеры, особенно дореволюционной формации (а, значит, заведомо квалифицированные), опасались идти на ответственные посты, на те участки, где строят или реконструируют особо ответственные заводы с официально невинно-мирными названиями.

В это трудное время пришел в отдел кадров участка седоватый, но крепко сколоченный инженер такой высокой квалификации, что начальник отдела кадров, молодой коммунист, даже рот раззявил от радости. Он предъявил все необходимые документы и справки, отзывы всевозможных начальств - не только производственных, но и профсоюзных и прочих. А когда кадровик, уловивший в сети такого крупного и жирного караса, улыбаясь во весь рот, возвращал толстенный пакет с документами и рекомендациями инженеру со словами "все в порядке, товарищ", - поступающий протянул еще одну бумажку:

"Настоящим удостоверяется, что тов. К., инженер путей сообщения, род. в 188... г., беспартийный, из бывших дворян, находится под постоянным психиатрическим наблюдением в виду его подверженности время от времени припадкам шизофрении, когда тов. К. не может отвечать ни за какие свои поступки. В периоды промежуточные, между припадками, должен быть использован на работе по специальности, как инженер весьма высокой квалификации и большого опыта, но с обязательной явкой - ежемесячной желательной - к местному психиатру. Профессор, доктор медицины, психиатр ..." (далее следовала подпись настолько высокопоставленная, настолько особо доверенного в самых высших кремлевских

и кругах НКВД лица, что бедный кадровик побледнел и чуть не стал на вытяжку по команде "смирно!".

- Товарищ К., - уже с лимонно-кислой физиономией попрощался со спартански спокойным инженером кадровик, - итак, все в порядочке... Но заходите за окончательным оформлением через четыре денька...

- Слушай, друг, - говорил начальник участка, из умных кадровых рабочих, правда, не строительных, а кондитерско-булочного цеха, на другое утро в горкоме партии, - нужен мне до зарезу хороший специалист на должность главинжа, а где его возьмешь? А тут вот заявился этот К., видать, здорово производственно подкованный. Но вот - сумлеваюсь: психический, и с бумажкой об том: как бы за него не быть в ответе... Сморозит что, а в ответе-то не он, а мы: под психитрическим надзором ведь...

- Н-да, историйка... - протянули в горкоме. - Но вот ведь, что он должен быть принят на работу по специальности, это подписало, брат, такое лицо, которое не нашего порядка, а и на Москве к самому Хозяину тянет... Тоже и не откажешь этому К. - как бы он не пожаловался там, что стесняют, дескать, на местах, ставят палки в колеса на производстве. И в части соответственно трудоустройства...

К. был принят на работу. Вскоре, узнав о моих неоднократных отсидках на Шпалерке, узнав и от своего старого приятеля - и моего начальника и друга в управлении треста, что меня можно не опасаться, он стал пристально приглядываться ко мне, а затем и разговаривать стал. Все откровеннее и откровеннее.

- Я, Борис, тоже сидел... Еще в девятнадцатом... Заподозрили, что как дворянин и инженер старой формации я уже по натуре своей должен быть им (выразительная интонация) злейшим врагом. Ну, эту

отсидку удалось замазать. Годы те были страшные, но безалаберные. Подался я с юга вот сюда, документы якобы потерял в дороге, возобновил заново. Но вижу, времена-то стали упорядоченнее чуть-чуть, да зато много еще покруче. А тут эта Промпартия. Дело, всем это ясно, совсем дутое, но ведь и расстреляли кое-кого, многих посадили - в тюрьмы, лагеря. А некоторых я хорошо знал, некоторые из них и меня здорово знали. Что делать? Жена моя - вы ее не раз слышали в опере, она известная артистка - по счастью, была, хотя и шапочно, но знакома с женой этого сукиного сына, лубянского, прости Господи, психиатра... Как-то и я с ним свел знакомство: чем черт не шутит, когда Бог спит. Подремонтировал ему квартиру, не подремонтировал, а фактически перестроил дачку под Москвой - вот и схлопотал эту полезнейшую справочку. Чуть что плохо запахло - я и сую ее под нос начальству. И при поступлении на работу тоже ее предъявляю. Даже снимаю для кадров заверенную копию - и пусть в моем деле всегда торчит: я, мол, вас, сукиных котов, предупреждал... Я, мол, я, но не я, и хата не моя. С психуна - какой спрос?

Через полгода примерно К. пришел на участок бледный, но спокойный:

- Ухожу, Борис. Увольняюсь по болезни. По собственному желанию. Горячо становится. Был у меня этой ночью обыск. И предъявили ордер на арест. Привезли к следователю. А я ему сразу под нос бумажку свою. Ну, подпись его ошеломила. Даже извиняться стал. Мол, невольная ошибка произошла. Но когда такое случается, я сейчас же сматываю удочки - и в другой город. Подальше. Следователь и ждать не стал: "Посидите, - говорит, - здесь минуток пять, не больше. Я сейчас все оформлю". Убежал по начальству. И меня выпустили. Но... искушать судьбу - грех. Это - первый звонок.

Второго я никогда не жду. Уже решил: куда-нибудь за Урал. Сейчас сдаю все дела, и я - вольный казак. Писать вам с нового места не буду. Разве можно вести корреспонденцию в наше-то время? Можно и себя, и другого под обух подвести. Прощайте, Борис. Именно - прощайте, а не устарелое "до свиданья". Ведь уже не встретимся никогда.



Прошло уже больше пятидесяти лет... А как будто было это вчера, - так ярко встают передо мною дни и месяцы, проведенные в Ленинградской пересыльной тюрьме 1936 года.

Не думайте, что работать заключенных заставляли только уже в лагерях. Нет, и в пересыльной тюрьме, если вы не хотели попасть в камеру, где, при двадцати двух койках царских времен, наталкивалось до ста восьмидесяти-двухсот человек, то вы должны были изъять "согласие" работать в цехах производственной части этой тюрьмы. Тогда вы попадали уже в более привилегированную рабочую камеру. В ней в проклятое царское время также помещалось двадцать два человека, а в 1936 году - от ста до ста двадцати заключенных.

Пока вас заберут на этап и отправят в какой-нибудь лагерь, вы просите в пересыльной тюрьме полгода, редко меньше, а иной раз и больше, и поэтому многие соглашались работать: и камера меньше забита людьми, да и попасть на двор, на свежий воздух, хотя бы и на каторжную работу, все-таки приятнее, чем заживо гнить в переполненной смрадной камере.

Самым легким из рабочих цехов тюрьмы был химический цех. Химии-то там было совсем немного. Просто нужно было сортировать, бросать в стиральную машину,

дезинфицировать, сушить и паковать в гигантские тюки тряпки: лоскуты белья и верхней одежды расстрелянных или умерших в тюрьмах заключенных. Эти тряпки шли на заводы - в качестве обтирочных материалов, а те, что получше, на переработку в высшие, дорогие сорта бумаги. Необходимо было смыть с некоторых тряпок кровь, отпороть пуговицы и крючки, продезинфицировать, упаковать.

Был в тюрьме и ремонтный цех - по ремонту автомобилей и грузовиков НКВД, был технический склад - склад металлических изделий, инструментов, авточастей, автомобильных покрышек, бетонных и керамических труб.

Техническим складом заведовал высокий, худощавый, статный старик, с выправкой гвардейского офицера (он и был им до революции) и умением со всеми и каждым найти нужный тон. Представительный, сразу заметный в толпе других заключенных, он умел, когда надо, и стушеваться, стать трудно отличимым. Носитель одной из известнейших остзейских аристократических фамилий, он чудом уцелел, не был даже ни разу арестован - вплоть до дней грандиозного погрома Ленинграда после убийства Кирова. В те дни расстреляли, чаще всего без суда и следствия, тысячи; заточили в тюрьмы и лагеря, сослали, просто выслали из Ленинграда в малонаселенные бесхлебные места не одну сотню тысяч ни в чем не повинных людей. А уж бывшему офицеру одного из наиболее привилегированных гвардейских полков не было ни единого шанса уцелеть.

Но наш старик не растерялся: он нашел единственно правильный и верный выход из положения. Он знал, что уголовных преступников - воров, грабителей, убийц - преследуют не страшно, не считают их врагами общества и государства, как антисоветчиков и контрреволюцио-

неров, а заблудшимися временно овцами, "социально-близким элементом". Работал он все эти годы бухгалтером и, одновременно, кассиром-инкассатором на каком-то маленьком государственном предприятии. Работал не за страх, а за совесть. А тут совершенно сознательно, чтобы спастись от гибели в качестве "социально-чуждого элемента", пошел на уголовное преступление: украл шестьдесят тысяч из казны предприятия, сорок тысяч припрятал основательно ("вот, и семью свою не оставил без копейки"), а двадцать тысяч нарочно спрятал в такое заметное место, что при обыске их сразу же нашли. Получил он по суду за кражу всего восемь лет, и, как не политический, а "социально-близкий" преступник, был оставлен в пересыльной тюрьме Ленинграда - начальником техсклада. За примерное поведение и образцовую работу он не только получил возможность жить в камерке при складе, а не в тюремной камере, но и внеочередные свидания с женой. Его даже (неофициально, конечно) иной раз отпускали на денек-другой к жене, на его квартиру. Ему, как "ударнику производства", шли зачеты рабочих дней - на сокращение срока заключения. Да еще, в виде поощрения, сбросили вообще два года со срока. И после окончания срока он мог, не опасаясь уже своего происхождения и дореволюционного прошлого, оставаться жить в Ленинграде: все его прегрешения снимала его не политическая, а уголовная судимость... Он, видите ли, "перековался" - и стал честным советским тружеником и строителем светлого социалистического будущего.

А в химцехе работал и бывший рьяный коммунист средних лет: казанский татарин, слепо преданный идее еропеизации татарской культуры. Вслед за всесоюзными вождями партии и правительства он уверовал, что замена арабского алфавита в татарской письменности

алфавитом латинским сразу же уведет татар из-под ярма мусульманской религии и мелкобуржуазной идеологии: ведь арабский алфавит связан в сознании татар с Кораном, с шариатом, с авторитетом мулл. И наш татарин принял самое деятельное участие в проводимой партией и правительством латинизации татарского алфавита. Но прошло года три, не больше, - и латинизацию объявили "низкопоклонством перед Западом", грубейшим нарушением принципа дружбы советских народов, татарскую письменность опять перевели - теперь уже на русский алфавит, а латинизаторов, как буржуазных националистов, стремящихся восстановить в Татарии капитализм и оторвать ее от семьи братских советских народов, кого расстреляли, кого, основательно изувечив на допросах, осудили на пять, восемь, десять лет лагерей...

Как-то в нашу камеру втолкнули и бывшего курсанта следовательской школы НКВД Баркана. Он еще не был штатным следователем, но уже, в качестве производственной практики, кое-кого допрашивал и даже с "применением методов физического воздействия", предписанных самим Иосифом Виссарионовичем ("с контрреволюцией в белых перчатках не борются"). Осудили Баркана "по аналогии" - по статьям: террор и контрреволюционная пропаганда. А все из-за того, что клея стенную газету курсов, он нечаянно капнул клеем на самые усы вмонтированной в газету фотографии Сталина. Смертельно перепугавшись, он стер рукавом клей со сталинских усов, но смазал всю нижнюю часть вождевой физиономии. И вот - восемь лет лагерей.

Из бесчисленного множества трагических анекдотов и анекдотических трагедий, услышанных в стенах Ленинградской пересыльной, остановлюсь еще на одной. Провин-

циальный оперный певец, лирический тенор, подвыпив, прихвастнул в веселой актерской компании:

- А я, братцы, пению-то в Милане учился...

Кто-то из артистов стукнул куда следует (тоже из страха - как бы его самого не осудили за недоносительство), и бедный тенор заработал "по подозрению в шпионаже в пользу империалистической фашистской Италии" свою законную "катушку" - десять лет заключения. Никуда-то он, бедолага, не выезжал дальше Урала и Томска, Витебска и Таганрога. Тщетно он документально доказывал это на следствии. Следователи только грозили ему и матерно измывались над ним: "Раскалывайся, гад, скажи - кого ты еще завербовал в шпионы?" - "Сам сознался, сам проболтался, а теперь хочешь играть назад, сволочуга?!"

А ночью, после десятичасового рабочего дня, в нашей рабочей камере можно было все-таки спать, правда, только тесно прижавшись друг к другу и только на боку, но все-таки можно было даже почти вытянуть ноги. Ведь наша камера - привилегированная, рабочая...



Я знал давно об этом обычае. Но - одно дело прочитать о нем в этнографической книжке или даже в рассказе какого-то прозаика двадцатых годов, а другое - пережить самому.

С детства меня неудержимо влекла даже не экзотика сама по себе, даже не сама "муза дальних странствий", а любая чистая романтика. Будь то готический роман - или просто малозаметные тайники разобыденнейшей жизни, будь то поэзия философских блужданий от Пифагора до наших дней - или безумнейший взлет

романтичнее всего из всех искусств - музыки. И вот меня, несмотря на все аресты и всю мусть советской обыденщины, - романтика судьбы швырнула в реальную реальность - Ухто-Печорский лагерь НКВД.

И тут мне повезло: меня сразу же направили в инженерно-технический аппарат лагеря - я избежал смертоубийственных общих работ. Кем мне только ни пришлось быть! И инженером-экономистом, и инженером-строителем, и инженером-нормировщиком, и участником поисковых партий. Даже как-то пришлось быть режиссером-постановщиком сцен из "Евгения Онегина" Чайковского в лагерной "самодеятельности"...

Во второй половине тридцатых годов, когда проектировалась железная дорога Котлас - Чибью (Ухта) - Воркута, небольшая партия топографов, включавшая и геолога по нерудным ископаемым, и инженера путей сообщения, и инженера-строителя (сплошь заключенных по 58-й - политической статье), - продиралась сквозь тайгу и торфяные болота от Ухты далеко на север. Кроме нас, специалистов-"контриков", с нами шли два вольных стрелка, один из них местный, из полузырян. Они хорошо знали, что почти все поголовно "фашисты" - не бегунцы, да и бежать-то нам некуда; все равно не скроешься, поймут или оперативники или местные зыряне, хорошо получающие и водкой, и мукой за каждого пойманного ими беглого заключенного. Вот и случалось, что стрелки отставали от нас, застревая для пьянки с товарищами из комендатуры на каком-нибудь лагпункте поглуше, а нам махали рукой: топайте дальше сами, мы вас нагоним, а за вами присмотрит в это время вольнонаемный возчик: инструментарий, продовольствие и прочие необходимые вещи тащила за нами по дорогам и плохо проезжим тропинкам ледащая лошадека.

Вот и забрались мы, пробивая трассу будущей

дороги - или нащупывая один из ее вариантов, в такую таежную глухомань, где и сами-то представители соввласти и даже "карающего меча пролетарской революции" бывали не чаще, чем раз в пять-шесть лет. Маленький поселок зырян. Десяток-другой изб из вековых бревен, с резными наличниками окон, по-северному (чтобы не дуло) подслеповатых, с петухом на верхней перекладине ворот, раскрашенным в кирпичный и ядовито-зеленый цвета. Постучали мы в избу побольше - переночевать: близилась полночь.

Хозяин, крепкий средовек, явно обрадовался нашему приходу. Как ни странно, но в избе еще не спали:

- Заходите, гостями дорогими будете. А кто войдет первым и предполуночным гостем станет. Завтра девке моей старшей взамуж идти, а она все еще не опробовалась. Так боюсь очень, как бы жених от ей не отказался, переспав, как узнает, что она все еще девка, ни с кем до него не любиалась... Вот ты, - обратился он ко мне, - и будешь гостем предполуночным...

Я знал про этот обычай "опробования", сохранившийся еще в самых дремуче-глухих углах - и не только нашей родины. Если невеста оказывается в первую брачную ночь девственницей, жених в первую брачную ночь и сгоняет ее со двора - брак считается расторгнутым: ежели, мол, тебя никто еще не "опробовал", какой же ты товар: никто на тебя не польстился, так и мне ты без надобности... Совсем напротив того, как это дело обстоит в деревнях и небольших городках прежней России, где невесте, потерявшей девственность до брака, мазали дегтем ворота. И вот в тех глухих местах, где существовал обычай опробования, первый гость, явившийся в дом невесты вечером накануне свадьбы, но обязательно еще до полуночи, и должен лишить невесту позорного

девства. Отказ - смертельная обида. А в условиях лагеря тебя и убить могут, особенно если ты заключенный: убил, мол, увидев, что зэка бежать задумал.

Взглянул я на невесту - и душа в пятки ушла: носа почти не видно, вся в сыпи особой. Выручил меня наш геолог. По счастью, вошел он в избу чуть ли не одновременно со мной - мог вполне счестся и он "гостем предполуночным":

- Мне, - говорит почти шепотом, - уже все равно: седьмой десяток пошел. К семье уже вряд ли ворочусь - на лагерных-то хлебах: ведь еще семь лет до конца срока. А бабы я уже три года не видал в глаза, не имел, вернее. Какая ни на есть, а и она - баба.

Обрадовался и хозяин: я-то был тогда - кожа да кости, а геолог в кости широкий, осанистый, хотя и бледный на лагерных харчах.

- Ты, - засмеялся даже от удовольствия хозяин, - батя, из инженеров будешь? Из каких?

- Горный инженер.

- Вот и ладно. Значит, образованный мою дочку опробоват. А то - завтра под венец, а девка моя Серафима - все еще девка. А жених с соседнего колхоза - важный: счетовод. И строгий. Ему отказаться от Серафимушки, - что плюнуть. Он против обычая не пойдет. Вот жаль, попа у нас на триста километров ни одного. Последнего разменяли лет семь назад. А церкву его - под клуб. Ну, да обойдется: в колхозе "Светлый сталинский путь" в кладовщиках хороший наставник из беспоповцев - он и окрутит, и благословит молодых. Он Писание знает все на память. И службу справит - что надо. А ты, - всполошился вдруг хозяин, - не обижайся только, - из православных? Мой-то покойный отец тоже был образованный - псаломщиком в ближнем приходе. А церква-то была в два этажа - каменная, белая, красивая...

- Ну, иди, как тебя звать-то? Иди, Алексей Ваныч, девка уже томится.

Только под утро, часа в четыре, ввалились в избу вдрызг пьяные наши охранники-конвоиры:

- А, с веселья - да опять на веселье попали, на свадьбку, значит, - восхитились они, увидя, как бабы - мать невесты, ее тетка и какая-то рябая соседка - возятся у печки, а хозяин уже хлопочет с водкой и одеколоном - "печорским ликером"...

Нет, "муза дальних странствий" далеко не всегда и не везде привлекательна для романтика...



Как-то, просматривая очередные воспоминания о войне в "Новом мире", я был поражен как на подбор курьезнейшими фамилиями партийного и военного начальства в одном из больших партизанских отрядов: Попудренко, Кусин, Прищайчик, Урбанчик, Перелюбский, Лошаков... Рассказал об этих фамилиях приятелю, а он только плечами пожал: то ли еще, дескать, на Руси бывает.

Да и сам-то я припомнил невольно прошлое. Вы знаете, может статься, что эдак года до сорокового во многих лагерях НКВД, особенно отдаленных от центра, даже главные инженеры были из политических заключенных. В указаниях НКВД говорилось, правда, что контриков должно использовать исключительно на общих физических работах, а на инженерной, врачебной, канцелярской и прочей "блатной" (по-лагерному) работе использовать - если, понятно, не имеется вольнонаемных - заключенных социально-близких, т. е. не преступников, значит, не врагов народа и правительства, а как бы заблудших овец: грабителей, воров, проституток,

растратчиков. Да где ж наберешь специалистов из этих самых соцблизких?! За пять лет моего заключения на Ухте только и помню двух инженеров не из контры, а из бытовиков: одного растратчика и одного убийцу: жену свою из ревности уколошил.

Был я тогда, в тридцать седьмом, в квалификационной комиссии лагеря. Приходит очередной этап - нужно прибывших заключенных как-то определить и распределить: кто во что горазд и кто к чему способен. Правда, далеко не каждого можно было использовать по специальности, но все-таки комиссия должна была этим заниматься. Председатель комиссии - из чекистов, понятно. Остальные члены комиссии - все махровые контрики: кто посажен за соленный анекдот, кто - за знакомство с двоюродной сестрой партийца, брат которого голосовал лет двенадцать назад за Троцкого, а кто - за то, чего и сам не знал. А у одного инженера просто фамилия была неподходящая: Бронштейн; решили - скрывающийся от меча пролетарской диктатуры родственник Троцкого.

В одном из этапов все были колхознички из самой что ни есть коренной Рассеи. Спрашиваю, как положено, сначала у каждого его имя и фамилию:

- Василий Бонапарте.
- Спиридон Мюрат.
- Евтихий Бернадот.
- Иван Ней.

Даже какой-то Митрофан Веллингтонов среди них затесался. Это вам почище, чем Попудренко, Прищейчики и Рвановы!

Один из мужиков этих, сплошь земляков, дремучий старикан пограмотнее других, Евлампий Даву по имени, поселился со мной в одном бараке, по старости на общие работы не попал, а определили его дневальным - убор-

щиком нашего барака на полтораста душ. Подружился я со стариком - он и объяснил мне вскорости загадку этих фамилий.

- Спасибо, - все говаривал он, - дорогому Иосифу Виссарионовичу: хочет он, чтоб прожил я чуть ли не до ста лет. В мои восемьдесят шесть мне десятку срока вкатил.

- Откуда у тебя, Евлампий Петрович, и у твоих односельчан такие чудные фамилии?

- А это, видишь ли, оттого, что на землю-то мы сели только после освобождения крестьян от неволи, а до того все были дворовыми - и родились от дворовых же. Вот и отец мой был дворовым - кофешенком и буфетчиком. А наш, дедов наших, барин тогдашний, один из больших генералов на войне восемьсот двенадцатого года, очень уж уважал тогда и наполеоновских генералов и маршалов, и другими иностранными героями Отечественной войны увлекался. Вот и надавал своим дворовым такие чудные имена: кого там Бонапарте, которого Блюхером, и даже какой-то у него был повар Коленкор. Одну девушку из Фроськи в Жозефину произвел.

Вот я все истории разные читать был любитель. Хвалят в книжках - еще по царскому правописанью напечатана - князя одного. Такой, говорят, был щедрый и добрый. Проигрался раз в картишки служивший в его учреждении казначей. Призвал его князь: - Признавайся, мол, как на духу: профершпилил в картишки шестьдесят тыщ казенных?

- Проиграл, - плачет растратчик.

- И я тут не без вины, - вздохнул князь. - Знал, что ты не вор, знал, что не пьянец, знал, однако, что вот ты в картишки играть пристрастен, - да и не учел этого. Ну, да твое счастье: продал я недавно деревеньку свою за шестьдесят тыщ в аккурат - вот тебе эти

деньги. Вороти их в кассу - и уходи враз из казначеев на такую должность, где бы ты с деньгами больше дела не имел.

Вот и хвалят все в книжках этого князя: добр, щедр, ближнему помогал. А того и не говорят, что продал он свою деревеньку с мужиками, даже и не соображал - кому продает. А продал как раз тому немцу-генералу, что всей дворне своей, - взятой из той вот самой князевой деревни, - имена маршалов наполеоновских надавал. А уж лют был и строг немец - и не приведи Бог! Чуть что - и на конюшню: пороть, значит. Вот тебе и Богарне, и Ней! Вот тебе и щедрость, и доброта князева: кому - бобровый ворот, кому - ежа за ворот, а кого и на ворота!



Пусть это покажется вам невероятным, но я был знаком с Александром Сергеевичем Пушкиным. Нет, не с произведениями его, а с ним лично. Да и сочинений никаких, кроме трафаретно-советских судебных протоколов у А. С. Пушкина не было в помине. Был мой Александр Сергеевич тверским, совсем уже обрусевшим, карелом, был он коммунистом, народным судьей где-то в Весьегонске или около него, словом, родом был из той *веси егонской*, финского племени, что упоминается не раз в наших древних летописях. Но, понятно, единственным языком Пушкина был уже самый заскорузлый советский жаргон. Знал, впрочем, Александр Сергеевич и тот медвежий, лесной исконно-русский северный мужичий язык, какой так отличает от других русичей карело-русских олонецких сказителей, знахарей, плачей, колдунов, раскольников и песнотворцев. Был Пушкин

эдаким самородным, но лишенным поэтического дарования, местным МиколоаеМ Ключевым.

Был он истово-верующим коммунистом, и всю дорогу, что шли мы этапом от зырянской древней столицы - села Усть-Выма до Чибью-Ухты, непрестанно жаловался мне на несправедливо осудившую его, А. С. Пушкина, спецколлегию облсуда:

- Ведь пойми, Борис Андреич, я и жил, и судил всегда по ленинской правде. Но и сам ведь наш величайший вождь и учитель Владимир Ильич как говорил, а за ним наш величайший вождь Иосиф Виссарионыч как тоже говорил: мы, дескать, то есть мировой рабочий пролетариат, можем победить международную буржуазную контрреволюцию империализма только в союзе и возглавив трудовое крестьянство, весь трудящийся наш класс. А значит, должны же мы и говорить его, трудящегося народа, языком, и действовать оперативно по его привычкам-обычаям, ежели они только не религиозно-поповского дурману. Ведь так? Я вот и следовал прямо по заветам Владимира Ильича и его верного ученика Сталина? И вот иду я вместе с контрой. А за что?

И тут, переходя к рассказу, за что же именно осудили А. С. Пушкина, он, Александр Сергеевич, сразу переключился на усиленно окающую и исконно-русскую речь мужиков-лесовиков.

А дело было так. Всем, пришедшим в народный суд, и истцам и ответчикам, давал Александр Сергеевич есть по горстке земли. Ведь таково исконное верованье народа и обычай его: земля - священна, и не даст она, съевшем ее, - солгать: у солгавшего ядом в его нутре обернется. Вот и в сказках русских - не только что люди, а и зверье лесное, когда спорит о чем, всегда землю заглатывает. "Волк, - в сказке, - клянется - землю ест". Вот ведь как... И все шло хорошо в глухом Весьегонье,

покуда в глухоманье этом не появился чужак, партийный из Ленинграда, что ль, не уважавший прадедовских свычаев и обычаев: вот и донес он на А. С. Пушкина, и присудили нарсудье за религиозный опиум для народа целых восемь годов...

И вдруг запел бедный коммунист-хранитель народных традиций, ежели они без поповского обману, запел какой-то бабьей фистулой:

Ты земля - мати священна,
Хлебородна наша Мать,
Ты не дай своему-то сыну,
Пред тобою, мать, солгать...
Ежли ж я солгал, о мати,
Зельем в брюхе обернись...

- Вот, осудили меня... За что?! Спросите любого служителя религиозного культу - разве ж это - церковный дурман? Это наше стародавнее, трудового крестьянского народа... А мне целых восемь годов...

Планово-финансовый отдел Нефтяного отделения Ухто-Печорского лагеря НКВД. Осень 1936 года. Даже начальник и главный инженер отделения - заключенный, осужденный по процессу нефтяников, Рабинович. А весь руководящий состав планово-финансового отдела - сплошная контра: начальник - Терентьев, бывший белый офицер; его помощники - Миллер и Щукин - инженеры, осужденные: один - как "вредитель", другой - по церковному делу; я - за "антисоветскую пропаганду"... И рядовой состав отдела такой же махровый. И все - сплошная, дружная компания.

В ноябре или в начале декабря привел Рабинович к нам новичка - только что с этапа. "Он будет у вас статистиком, введите его в курс работы". А затем

шепнул Сергею Сергеевичу Щукину: "Он - полный ваш тезка. Тоже Сергей Сергеевич. Чудила, конечно, но человек высоко интеллигентный. Не погибать же ему на общих работах"...

Так появился у нас Сергей Сергеевич Лукьянов, известный сменовеходец, в самом начала двадцатых годов вернувшийся из эмиграции "строить новую, национально-демократическую Россию" нэпа. Ему повезло даже больше, чем другим сменовеховцам: больше десяти лет был он в Москве литературным редактором коммунистической газеты на французском языке. Недаром, следовательно, в "Смене Вех" оправдывал он тиранию и террор как печальные, но неизбежные орудия великодержавной государственности и, будучи историком, связывал авторитаризм и жесткие мероприятия великих Иванов - дедушки и внука, Третьего и Четвертого, - с политической стратегией и тактикой большевизма (как видите, воззрения Пайпсов и Яновых далеко не новы и не оригинальны).

"...Так называемая диктатура пролетариата и насилие, - писал Лукьянов, - принявшие в определенный момент исторического процесса неизбежный, но от этого не менее ужасный характер террора, необходимые в период сложения и организации новой базы государственной жизни и власти, неизбежно видоизменяются по мере ее, то есть базы, укрепления; многочисленные данные указывают на то, что за последнее время в этом отношении в России происходит значительная эволюция"... Вот эта-то эволюция, какую из европейского далека узрел Лукьянов в Советской России, и привела его сначала в Москву, а потом на Ухту.

Нас удивляло все то короткое время, какое он провел с нами, в какой торричеллиевой пустоте, в какой изоляции от окружающей жизни должен он был провести

больше десятилетия в Москве, чтобы сохранить ту первозданную наивность, какую он проявил с первого же момента появления у нас.

После первых же фраз знакомства со всеми нами он слезно и возмущенно пожаловался нам:

- На этапе какие-то уголовники утащили у меня единственную книгу, которую я захватил с собой при аресте. А мне и следователь, и тюремное начальство дали на нее разрешение. Я ведь - историк. И эту вот книгу, редчайшее немецкое издание Фукидида, у меня украли эти негодяи. Ну, на что им она?! Ведь не читают же они по древнегречески... Я жаловался конвою, когда нас всех пешком гнали от Усть-Выма. Я говорил начальнику конвоя, что этот поступок недопустим, что я буду жаловаться вплоть до Москвы. А они смеялись, говорили мне: "Иди ты подальше, троцкист, рыбий глаз, ребята уже подделали из твоей книжки колотушки"... Почему - троцкист, когда я беспартийный и осужден по статье 58-10? И осужден по недоразумению... Это каждому ясно. И почему - "рыбий глаз"? Что это значит? И какие это, что это такое - "колотушки"?

- Самодельные карты, Сергей Сергеевич, - объясняли мы Лукьянову, - уголовники из книг, вырывая из них листы, делают карты...

- Я буду жаловаться! Я этого так не оставлю! Я, поймите это, не могу жить без Фукидида! Это - варварство! Я скорее отдал бы своего Фукидида в здешнюю академическую библиотеку, при условии, что буду им постоянно пользоваться... Я человек верующий, но я предпочел взять с собой не Евангелие даже, а моего Фукидида!

- Да, Евангелие-то у вас сразу отобрали бы...

- Как это? - выпучил глаза наш Фукидид Лукьяныч (он сразу же за глаза стал так нами называться).

Никакая - просто непонятная нам - неискушенность в советской действительности не примирила с Фукидидом Лукьянычем Терентьева и Миллера. Для них он был даже хуже большевиков: жил, подлец, за границей, в свободных странах, и не только сам ринулся в наш рай, но еще и других в печати уговаривал "домой" возвращаться, - злился Терентьев.

- Не жалуйтесь на судьбу, Сергей Сергеевич, - вежливо, но холодно возражал Лукьянову Миллер, когда тот начинал, волнуясь, рассказывать о недоразумении, приведшем его в лагерь, о несправедливом отношении к нему суда и тюремного начальства. "Должны же они разобраться... Пусть прочтут, что я писал, - это же и ребенку понятно, что я - патриот", - причитал наш Фукидид.

- Ты сам хотел этого, Жорж Данден, - пожимал плечами Миллер. - Ведь вы сами говорили, писали, проповедовали о неизбежности террора и деспотизма в период становления крепкой государственности...

- Да, писал. Но ведь я рассуждал чисто теоретически...

- Вот теория-то ваша - и вышла вам боком... И поделом, - шипел Терентьев.

Только мы с Сергеем Сергеевичем Щукиным не задирали бедного Фукидида и любили слушать его рассказы о Париже и Германии, о городах и чудесах Италии, о веселой ночной жизни Монмартра и академической жизни Берлина и Праги. Да наша машинистка, получившая "детский" срок - всего три года - за контрреволюционную агитацию, влюбленно смотрела на Лукьянова. Ее восхищали барские манеры Фукидида, его галантность по отношению к дамам и даже его очень старомодная манера разговора: "Вы изволили заметить, что"... "Если позволите, я..."

Увы, пребывание Лукьянова в нашем отделе было весьма кратким. Фукидида перевели учетчиком, кажется, на третий промысел, на Ярегу, и мы окончательно потеряли его из виду.



5 января 1977 года умер о. Сергей Шукин. Оборвалась последняя ниточка, связывающая здесь, на земле, меня с прошлым, - увы, каким уже давним прошлым! А кажется, это было вчера, много - позавчера, так ярко вспоминается, скажем, елка в сочельник 6 января 1937 года - в Ухтпечлаге НКВД. Крошечная комнатка в инженерном бараке, в ней пять деревянных топчанов-кроватей. Комнатка-то рассчитана на четырех заключенных, но Сергей Сергеевич Шукин уговорил своих сожителей по комнате потесниться - и принять в комнатку меня. Я, прибывший в лагерь с осенним этапом, был поселен в палатке и с наступлением зимы буквально погибал от зверского холода. Достались мне верхние нары, с вечера в палатке было не продохнуть от докрасна нагретой времянки из "вышедшей в тираж" обсадной трубы, а просыпался утром - и еле-еле отдира л волосы и бороду от досок нар: они крепко примерзали к доскам... С работой-то мне повезло: я был определен инженером-экономистом в Первое (нефтяное) отделение Ухтпечлага, находившееся в самой лагерной столице - Чибью (вскоре переименованном в г. Ухту). Тогда я попал в помощники к Сергею Сергеевичу Шукину, на воле - главному инженеру треста "Новороссцемент", крупному специалисту по технологии вяжущих, профессору. Кстати, его книга по технологии вяжущих, вышедшая в свет уже после его ареста, была издана не под его именем: фамилию автора

сняли - и заменили фамилией его помощника... Получил Сергей Сергеевич свои пять лет не "по производственной линии": его судили и осудили за церковно-общественную деятельность. Еще до революции он играл значительную роль в христианском студенческом движении, а после Октября стал известным церковным деятелем в Москве, близким к патриарху Тихону, им и был посвящен в стихарь.

Меня всегда восхищало в нем какое-то умиротворенное спокойствие: на воле остались две дочери и сын, старшей - Любочке - было тогда не больше десяти лет. Она писала трогательные письма отцу в лагерь, подписываясь именем "Люба" с небольшим росчерком, - и письма ее мы называли "от Любы с хвостиком"... Любящий муж и отец, Сергей Сергеевич никогда не впадал в уныние, оставался всегда ровным, спокойным, уравновешенным, но никогда не холодным. К нему как-то особенно подходили слова, кажется, Тертуллиана: "христианин не должен иметь настроений". Да, не настроения, а всегда умиротворенное состояние, проникнутое словами Господней молитвы - "да будет воля Твоя".

И еще: Сергей Сергеевич прямо отвечал на древнюю загадку-поверье: кто, когда и что важнее всего для человека? Тот, кто с тобою именно сейчас, - тому и делай добро. Не дальний, отвлеченный человек, не человечество и даже не народ в целом, а вот этот самый конкретный человек, около тебя страждущий.

Все мало-мальски порядочные люди из заключенных, которые получали из дома от близких продуктовые посылки (без них в лагере прожить было чрезвычайно трудно - на лагерном пайке, еще и разворовываемом администрацией и уголовниками-кладовщиками, поварями и раздатчиками), выделяли из своих посылок по крайней мере одну треть в пользу тех, кто посылок не

получал, у кого на воле не оставалось никого из родных. Сергей Сергеевич был нашим "МОПРом" - мы так и звали его. В СССР в числе других "добровольно-обязательных" обществ, в пользу которых делаются вычеты из зарплаты, имеется и пресловутое "Международное Общество Помощи заключенным Революционерам" (МОПР), как и все общества в СССР такого рода - жульническое, помогающее, в сущности, лишь шпионам и советским агентам в некоммунистических странах. Наш лагерный МОПР был реальной помощью, часто спасавшей заключенных от смерти, от истощения. Сергей Сергеевич и был вот таким распределителем между наиболее нуждающимися и истощенными заключенными, часто доходами, тех продуктов, которые передавали ему получатели посылок. И делал он это, конечно, отнюдь не в "общелагерном масштабе" - это практически было невозможно, - а в том кругу заключенных, которые были поблизости, которых он знал. Но его деятельность со временем распространялась и за пределы Чибью-Ухты, а затем вызвала отклик и в ряде других подразделений лагеря, - ну так, как камень, брошенный в воду, образует все шире и шире расходящиеся концентрические круги.

Мы много беседовали с Сергеем Сергеевичем на философские и религиозные, литературные и житейские темы, - благо, и работали мы вместе, и жили вместе. Сергей Сергеевич никогда и никому не навязывал, не стремился даже истолковать свои религиозные убеждения. Он ни на чем не настаивал, был не по-русски терпим к чужим мнениям. Я часто жаловался ему на то, что моя вера "тепло-хладна", скорее интеллектуальна, пришла ко мне не из глубины сердца, а от философии и Достоевского.

- Так чаще всего и бывает у интеллигентов. Ну что

же, каждому - своя дорога. Я тоже прошел через это. Но мой путь к вере был короче: возможно, еще и потому, что хотя я и родился в инженерной семье, да дед-то мой был простосердечным, истово и непосредственно верующим священником...

Наша елка была, быть может, даже более радостной, чем веселые елки раннего детства. Смастерили из обрезков жести, из каких-то цветных бумажек елочные украшения; из сохраненных для Рождества вкусных вещей из посылок соорудили скромное, но даже красиво оформленное пиршество; пропели "Рождество Твое, Христе Боже наш"; один из камерников, бывший белый офицер, получивший "катушку через испуг", то есть приговоренный к расстрелу, замененному ему десятилетним заключением, пропел украинские колядки; самый старый из нашей комнаты, получивший уже в лагере второй срок инженер-нефтяник, хриплым баском полупропел-полупрошептал стариннейшие романсы, вроде "Барыни-сударыни" или "Доньи Клары, Долорес и красавицы Пепиты", а Сергей Сергеевич - хороший чтец - прочитал "Ночь перед Рождеством" Гоголя. Я с тех пор каждый Сочельник перечитываю этот пленительный рассказ... Конечно, один из нас постоянно дежурил у двери, чтобы случайно не нагрянула обходящая лагерь комендатура (из убийц и грабителей состоящая).

Жили мы в лагере вместе с Сергеем Сергеевичем долго. В том же 37 году прикатила на Ухту знаменитая комиссия Кашкетина - производить "чистку" заключенных, пересмотр их дел, ибо, как решил тогдашний нарком Ежов, "вредитель" и "приспешник империалистов" Ягода нарочито "смазывал" преступления контрреволюционеров, давал им детские сроки, мало расстреливал... Как правило, заключенные, попавшие на второй допрос этой комиссии, уже не выходили из камеры допросов - или

их выводили прямо на расстрел. Мы с Сергеем Сергеевичем вызывались на эту комиссию и погибли бы, как и многие другие, но нас спасла очередная, типичная вообще для всей советской системы реорганизация. Ухтпечлаг был преобразован из одного лагеря в целую своеобразную федерацию лагерей, разделен, и нас с Сергеем Сергеевичем срочно перебросили на бывший Второй (радиовый) промысел, ставший столицей нового районного лагеря. А там Сергея Сергеевича вскоре же перевели работать в качестве инженера-технолога в центральную радиовую лабораторию, возглавляемую также бывшим заключенным - будущим академиком Тороповым... Но жили мы по-прежнему вместе.

Прошли годы. Мы, отбыв срок заключения, освободились из лагеря. Война, оккупация значительной части Европейской России. Уже в Германии у нас началась переписка. Сергей Сергеевич, с частью своей семьи, был направлен в лагеря восточных рабочих куда-то под Гамбург. О лагерях "остовцев" писалось достаточно: немцы рассматривали "восточных рабочих" как рабочий скот. И Сергей Сергеевич опять стал играть в этих лагерях ту же роль, что и в Ухтпечлаге: утешал в беде, помогал, чем только мог. А вскоре, с благословения митрополита Серафима, стал вести и духовные беседы, читать общие с верующими (а зачастую и с бывшими неверующими - и вообще неверующими, но страдающими людьми) молитвы. После же падения Третьего Рейха принял священство. Любочка приехала в наш лагерь Менхегоф, - кончать местную беженскую гимназию, и я опять несколько раз встретился с о. Сергием, приезжавшим из-под Гамбурга повидать дочку.

И еще одно ярко запомнившееся Рождество. В январе 1948 года был я приглашен в лагерь "перемещенных лиц" - Ди-Пи - Фишбек, под Гамбургом, на два литературных

выступления. Приглашение исходило от о. Сергия, который возглавлял в лагере Союз христианской молодежи и был настоятелем местного храма. Остановился я, конечно, в небольшой квартирке о. Сергия - и погрузился в такую непривычную в то время атмосферу спокойного уюта и почти старозаветной теплоты. Не могу забыть и чрезвычайно колоритную фигуру дьякона, служившего с о. Сергием, до войны жившего где-то под Солигаличем. Совершенный лесной богатырь, с ручищами ниже колен, заросшими каким-то рыжим мохом, с буйной копной чуть поседевших волос и бородищей Ильи Муромца, он и голосиной, и силищей, и детской наивностью, и чистотой - при невообразимой в наши дни степени невежества - всем своим внешним и внутренним обликом напоминал знаменитого лесковского дьякона Ахиллу Десницына. Помню, как он, играючи, легко поднял меня на воздух, поверх своей головы, одной левой рукой. Вера его была крепкой и кряжистой, но он не меньше, чем в Господа Бога, веровал в своих солигаличских колдунов и ведьм:

- Нет, ты послушай, послушай, тебе говорят, вот у нас, неподалеку от Солигалича, под самый, понимаешь Иванов день, та-а-кое было...

Трудно было представить себе рядом утонченно культурного - и вместе с тем крепкого в вере и жизни, ученнейшего, эстетически чуткого о. Сергия - и вот эдакого Ахиллу Десницына, тоже крепкого в вере, но своим корневым, земляным, вовсе необработанным лесным образом. Они не только жили бок-о-бок друг с другом, но хорошо и истово служили - и дружили. О. Сергей вообще мог очень хорошо уживаться со всеми, в том числе и с такими вот мужичками-лесовичками.

Где только не пришлось служить отцу Сергию! И в Бедфорде, в Англии, и в Торонто, и в Нью-Йорке, и, наконец, в Виндзоре. И везде занимался он с мо-

лодежью, любовно воспитывал ее - и не только религиозно-нравственно, но и отдавая весь свой отдых помощи в ее развлечениях: сам режиссировал детские спектакли, рисовал декорации, мастерил несложную, но забавную бутафорию...

Писал, издавал брошюры - и религиозного, и литературно-педагогического характера. И уже недомогающий писал мне, что надо бы помочь А. И. Солженицыну в его нелегком, но, ох, каком важном деле - собирании дополнительных данных об "Архипелаге ГУЛаге"...

Служил о. Сергей почти до самого конца. После госпиталя, где лежал в тяжелом состоянии, он печально сказал мне: "Пожалуй, не придется мне уже больше служить"... Говорил я с ним по телефону чуть ли не накануне его смерти.

И только на другой день получены были результаты исследования его болезни: рак...

Большой инженер и ученый, церковный деятель, руководитель молодежи и общественный деятель, о. Сергей был прежде всего человеком. Человеком, обладающим редкой в наше время отзывчивостью. Человеком, у которого никогда не расходилось слово с делом. Поэтому, может быть, так трудно написать о нем. Но зато нельзя его и забыть.



Иногда всплывают в памяти имена - и даже не знаешь, когда встречал да и встречал ли этих людей. Иногда отчетливо и ясно вспоминаются те или иные события прошлой жизни, но начисто забываются имена людей, связанных с этими событиями. Но наиболее крепко держатся в памяти встречи в тюрьмах, события в лагерях НКВД во время моего пребывания в них.

Помню, когда моя мать приехала ко мне на свидание в Ухто-Печорский лагерь НКВД летом 1937 года, она была поражена количеством интеллигентных лиц, встречавшихся на улицах лагерной столицы Чибью, вскоре переименованной в Ухту. Тогда большая часть инженерно-технического и административно-канцелярского персонала из числа заключенных не была еще законвоирована, лагпункты не были еще окружены оградой с вышками для часовых, и в обеденный перерыв или после рабочего дня заключенные могли даже разгуливать по улицам городка.

Вот разгуливают, о чем-то оживленно беседуя сильно обрусевший француз Понс и бывший царский полковник Мясоедов, бывший профессор иппологии в Академии имени Фрунзе, чей родной брат был скоропалительно казнен во время Первой мировой войны за имевший место или мнимый шпионаж в пользу Германии.

Понс был приглашен еще в начале века Станиславским для обучения актеров Художественного театра хорошим европейским манерам, уметь носить фрак, уметь элегантно поцеловать руку даме. Вообще, всему тому, что не слишком-то хорошо было известно многим русским актерам, привыкшим к ролям замоскворецких купцов или высокоидейных интеллигентов в косоворотках и студенческих тужурках.

Хорошо или плохо прививал изящные западные манеры Понс актерам школы Станиславского, но сам он плотно врос в московскую спокойную и весьма сытую жизнь довоенных лет, с ностальгической слезой он равно говорил нам и о берегах Сены, и о московских блинах с икрой и осетринкой, не пропускал ни одной православной пасхальной заутрени, напевал вперемежку "Очи черные" и какую-то монмартрскую шансонетку. Московский сдобный быт и помешал ему вовремя поки-

нута начинавшую бурлить Россию и вернуться на берега Сены. Ну, как было НКВД не пришить бедному Понсу шпионажа? Мы звали незадачливого сухонького парижанина "кузеном Понсом" - роман Бальзака почти все мы читали, он был даже в нашей лагерной библиотеке.

Больше всех других дружил с Понсом полковник Мясоедов, сызмала говоривший на изысканном французском языке русских бар, сразу же выдававшим в говорившем иностранца. Оба старика изъяснялись друг с другом по-французски, иногда вставляя в свою парижскую речь не слишком соленое, но яркое русское словцо.

Вспоминали и старый веселый Париж, и хлебосольную масленичную или пасхальную Москву, и, конечно, театры и галантные приключения. Мясоедов при этом покручивал кончики по-вильгельмовски задранных усов, а Понс сладенько облизывал тонким язычком сухие узкие губки. Оба носили лагерную одежду не без некоторой щеголеватости, но и без большой чистоплотности. Годы советчины не вытравили из бравого кавалериста некоего отпечатка столичного офицерства, а в московском парижанине все еще оставалась некая гремучая смесь французского рантье с московской артистической богемой.

Мясоедов превосходно знал жизнь старого Петербурга, старый армейский быт и увлекательно рассказывал нам о них. Всегда горячо защищал своего брата, несомненно козла отпущения за промахи высшего командования... Как был бы он рад, если бы дожился появления известного документального романа польского писателя Иосифа Мацкевича "Дело полковника Мясоедова", посвященного реабилитации брата нашего профессора иппологии!

Приезжали в центральное управление лагеря с отчетами и за указаниями работавшие на периферии эко-

номистами или статистиками известный в свое время журналист А. Зорич (Василий Тимофеевич Локоть: погиб в лагере в 1937 г.); крупный ученый-экономист, старый коммунист Федор Дингельштедт и прогремевший одно время своим рассказом "Леда" (1907 г.) прозаик Анатолий Павлович Каменский. Его "Леда" была потом превращена им же в пьесу, и после революции 1917 года шла в Москве и в провинции с немалым успехом только лишь из-за того, что героиня расхаживала по сцене голым-голая. Тогда это было еще непривычно, и публика ломилась на спектакли "Леды". Содержание "Леды" - проще простого. Прекрасно сложенная молодая женщина принимает у себя дома гостей в одних золоченых туфельках на высоких каблуках. "Зачем же, - говорит она гостям, - скрывать красивое? Ведь никого не смущает нагота статуй, нагота на картинах. Почему же смущаться ею в быту?!" И она дает отпор гостю, подумавшему, что нагота хозяйки - призыв к определенной активности с его стороны.

- Ну, и что? Помните, еще Коля Евреинов писал о наготы на сцене, - шепелявил беззубый и слюнявый Каменский. Называть больших людей уменьшительными именами было его всегдашней манерой.

Один из заключенных инженеров, веселый нефтяник Растрепин, посмеиваясь, говаривал о разглагольствовании Анатолия Каменского:

- Ну, просто как в анекдоте:
- Я с его превосходительством на "ты".
- Да неужели?
- Да, он вчера сказал: "Пошел вон, дурак!.."

Каменского как-то избегали. Даже редко вступали с ним в беседы, хотя, конечно, он мог немало рассказать о литературной жизни начала века. Третьестепенный писатель, он был все же вхож и в высокие литературные

и театральные круги. Но о нем шел слухок, как о частом посетителе лагерного "кума" - уполномоченного Третьего (оперчекистского) отдела. Не знаю, был ли он "стукачом", но заключенные презирали его еще и за то, что был он возвращенцем: уйдя в эмиграцию в 1920 году, вернулся на "проставшую" его родину в начале тридцатых...

- Так ему и надо, - злорадствовали зэки, - бачили очи, що куповали: вернулся на родное гноище - получай по заслугам...

Сторожем - если не ошибаюсь, на ремонтно-механическом заводе - в году 37-м работал старый коммунист, бывший член Комакадемии, так называемый философ-марксист (сочетание слов самое парадоксальное!) В. Ф. Ральцевич. Про него рассказывали другие старые большевики - обычно осужденные за явный, а чаще мнимый троцкизм или за террористические замыслы против Отца Народов, - что на глазах Ральцевича следователи насиловали и избивали его жену, так как попытки не сломили самого твердокаменного большевика-"агента мирового империализма". Но старик и пытки жены выдержал - не раскололся.

Так или иначе, но он и в лагере оставался таким же убежденнейшим коммунистом, свое осуждение и издевательства над ним и его женой считал просто некими "издержками производства", явным недоразумением.

Ну, конечно, лес рубят - щепки летят. А где же Сталину уследить за всем. Явно в НКВД проникли какие-то карьеристы и вредители, а в остальном - "все хорошо, прекрасная маркиза", - как поется в известных куплетах. И Берия, конечно, не знает и знать не может, что творят некоторые из его подчиненных: за всем не уследишь.

И старик писал и писал и Сталину, и Берии, и

считал, что все остальные, кроме него, понятно, злостные враги коммунизма и советской власти, вредители, шпионы, диверсанты. Он не вступал ни с кем в общение, кроме лагерных чекистов: они - коммунисты, они - свои люди... А эти "свои люди" злобно смеялись над "старой падалью..."

Помню и известного палеонтолога барона Ф. Сидел он, кажется, как шпион или диверсант. Но вот в СССР намечался очередной международный съезд геологов или только палеонтологов, не помню. И заграничные коллеги, списываясь с устроителями съезда (или конференции), говорили о своей большой радости: лично познакомиться с известнейшим маститым ученым.

Ф. обрядили в гражданское платье, приставили к нему в качестве секретарей двух чекистов с наименее зверскими физиономиями, также обряженных в пиджаки, и отправили на съезд, пригрозив, что ежели он посмеет только пикнуть о своем положении, то не будет пощады ни ему, ни его чудом сохранившимся близким и родным до седьмой степени родства. Такие случаи не были редкостью... После съезда - опять в первобытное состояние...

Характерной фигурой был и Володя З. Не называю его по имени, как и барона Ф. Уж во всяком случае, Володя, может быть, еще жив и, реабилитированный после хрущевского разоблачения культа Сталина, в качестве персонального пенсионера греется где-нибудь под солнцем советской конституции.

Во время призыва ударников производства и рабкоров в советскую литературу молодой комсомолец, раза два-три пославший "письма в редакцию" о вылазках врагов народа на его заводе и о злоупотреблениях низового начальства, был выдвинут в писатели и даже послан на обучение в пресловутый институт имени

Брюсова, но, "убояшеся бездны учения", перешел на работу в Главпрофобр, под крылышко державной вдовичи Крупской.

Вдовица покровительствовала Володе. Дали ему литературного правщика. Когда у Володи не было еще ни одной даже тощей брошюрки, в прессе появилась статья о выдающемся комсомольском прозаике, пишущем большой роман о комсомольцах на производстве. Не роман, а повестушку за Володю написал целиком, без малейшего его участия, "литературный правщик", какой-то профессионал-прозаик с сильно запачканным прошлым: не то был в Белой армии, не то голосовал за троюродного дядю приятеля Троцкого.

Выступал Володя на собраниях, получал всяческие поощрения, но с пьяных глаз как-то сослался на "Вопросы ленинизма" Иосифа Виссарионыча, не посмотрев, из какого издания он взял цитату... Ан, и попался. Взял цитату не то из второго, не то из третьего издания, давно изъятого из всех библиотек: были там уже позавчерашние высказывания гениалиссимуса, давно объявленные порочными и контрреволюционными, и им, Сталиным, понятно, никогда не сказанными.

Вот и появились статьи о Володе как о кулаке и шкурнике, ужом или гадюкой вползшим в железные ряды ленинско-сталинской партии, пособнике мировой буржуазии и бездарнейшем бумагомараке. Все было разыграно как по нотам. И на следствии "подлейшего выкормыша империалистических разведок и Иудушки Троцкого" следователи даже не били: Володя подписывал все, соглашался решительно во всем. Завалил он не один десяток людей, часть которых ему не была известна даже понаслышке, но главою контрреволюционно-шпионско-террористической группы которых он якобы являлся. За чистосердечное признание дали ему всего семь или

восемь лет, и в лагере он продолжал "стучать", доносить на любого, с кем даже и слова никогда не вымолвил.

Об оклеветанных им людях Володя никогда не сожалел:

- Я ведь сижу в лагере. Почему же и им не посидеть десяточек лет? Многие из тех, кого я назвал, такие же сволочи и карьеристы, как и мой бывший шеф. Его, впрочем, я подвел прямо под вышку: расстреляли его. Да и он этого заслуживал: тоже завалил десяток-другой друзей-приятелей.

И все-таки, хотя и верно, что "страна должна знать своих стукачей", я не называю его имени: может статься, он как-то переменялся. Всякое бывает!..

Вереница лиц. Случайные, но запоминающиеся надолго встречи. Сколько их всплывает в памяти!



Больше четверти века прошло со дня смерти Михаила Михайловича Названова (1914-1964). В дополнительном выпуске советской "Театральной энциклопедии" (Москва, 1967) сказано, что он "русский советский актер. Заслуженный артист РСФСР (1949)... В 1931-1935 - в группе МХАТ. В 1935-1942 работал в периферийных театрах..."

Вспомнился мне Миша Названов, когда я прочитал статью о нем Эдуарда Капитайкина в "Русской мысли", в номере от 31 мая 1984. В статье этой приведены и воспоминания актера Л. Е. Блюмина, работавшего с Названовым в Симферопольском театре с 1938 года. А вот о годах 1935-1938 в советских источниках ничего не сказано, потому что "периферийным театром", в

котором работал Миша Названов, был театр в столице Ухто-Печорского лагеря НКВД - Чибью-Ухта.

Я попал в этот лагерь в 1936 году - и часто мы, контрики-специалисты, "топали" на работу законвоированными по приказу Отдела режима лагеря вместе с бредущими на репетицию артистами. Шли из лагерного барачного городка - управленческого лагпункта - Миша Названов, бывшая артистка оперного театра имени Станиславского Сусанна Александровна Геликонская, прекрасное меццо-сопрано, тенор Кортон, иногда и прикомандированный с Третьего нефтепромысла осужденный на восемь лет баритон Виктор Яльмарович Армфельд и другие артисты драмы, оперы, оперетты, оркестранты, хористы. Лагерный театр был построен и организован для обслуживания отнюдь не заключенных, а чекистского и вольнонаемного персонала лагеря, находился на территории вольного городка, а персонал - актеры, оркестранты, осветители и пр. - состоял почти весь из осужденных по политическим статьям. Только режиссером был вольнонаемный актер, выдающийся артист и режиссер знаменитого украинского новаторского театра "Березиль", правая рука основателя театра Курбаса, замечательный комедийный и гротескно-трагический талант - Йосип Гирняк. Но и он-то только что освобожден - сидел по обвинению в украинском буржуазном национализме, - устроиться вне лагеря ему было невозможно. К нему приехала и работала в театре его жена - талантливая украинская драматическая актриса Добровольская. В театре в мое время играли и драматическая артистка из Александринки Капустина, и солистка балета московского Большого театра Радунская, и декоратор - талантливый художник и не-большой поэт, принявший после революции священство, - Николай Александрович Бруни (расстрелянный в лагере,

кажется, в 1939 году), и дирижер Харбинской оперетты, фамилию его я забыл: не то Каплан, не то Коган. Это был крепкий профессионал, а вне театра необычайно мягкий человек, застенчивый и скромный.

Театр был оборудован по последнему слову театральной техники - и сложная световая аппаратура, и вращающаяся сцена. И шли в театре оперы и драмы, оперетты и водевили, давались и концерты. При мне ставились и пьесы Островского - и, конечно, "Человек с ружьем". Помню переполох в третьем - оперчекистском - отделе лагеря, внутрилагерном НКВД, когда роль Ленина хотели поручить Мише Названову. Ежели бы он сидел по бытовой (растратчик, спекулянт) или уголовной статье, хотя бы и за убийство, - никаких возражений бы не было: это - "социально-близкий элемент". Но чтобы величайшего и непревзойденного гения и спасителя человечества, величайшего вождя мирового пролетариата играл контрик из бывших дворян, - этого перенести чекистский ум не был в состоянии. И когда директриса театра, жена страшного лагерного чекиста и сама чекистка, Сеплярская, помнится, все же осмелилась напомнить, что и Ленин был из дворян, ее быстро заставили умолкнуть. Не помню, играл ли Названов великого вождя и гения, кажется, не играл. Но едва ли сокрушался по этому поводу. Его влекли роли по преимуществу романтического репертуара, им соответствовала и его весьма барственная внешность.

Мне (и то - чудом: меня, совершенно безголосого, по благу зачислили на эти спектакли в хор) удалось побывать в театре только на премьерах опер "Кармен" и "Евгений Онегин". Но второстепенные роли в них исполняли и драматические артисты. В том числе и Миша Названов (кстати, он и окончил не драматическое училище, а музыкальный техникум по классу пения, и у

него был недурной драматический баритон). В "Кармен" он исполнял роль сержанта Моралеса и одного из контрабандистов, а в "Онегине" - Зарецкого, секунданта Ленского.

...Третий акт "Кармен". Геликонская наиболее драматична в сцене гаданья. Что ей сулит судьба? "Смерть. Смерть", - отвечают карты. (Сусанне Александровне скоро предстоит освобождение из лагеря, на воле, скорбной советской воле, ее ожидает дочь. Но куда, в какую дыру закинет талантливую оперную певицу судьба?) А к ней уже подходят ее сотоварищи контрабандисты, и Миша Названов замечательно проводит свою небольшую рольку, в меру комикуя, в меру изображая сурового, хитрого, но не слишком далекого цыгана-контрабандиста.

А вот слышится пенье приближающегося к стану контрабандистов в горах Эскамильо. Его роль - одна из лучших ролей Армфельда. Он - не штатный артист лагерного театра. Работает статистиком на Третьем промысле. Зачислить его в штат театра совершенно невозможно. Если Названов - из дворян и сын офицера, да еще белогвардейца, то Армфельд - сам бывший царский морской офицер, да еще и граф, прямой потомок того самого Армфельда, шведского графа и финского патриота, соперника Наполеона в любовных делах. Даже и скрыть происхождение нельзя: ведь многие чекисты пообтесанней встречали упоминание о графе Армфельде в "Войне и мире"... Был он потом и солистом Малого оперного в Питере, и премьером московской оперетты...

Занавес опустился. Артисты, хористы, оркестранты под надзором выводного коменданта - убийцы и грабителя Сашки Чумы - бредут в полночь к себе на лагпункт, идти четыре километра, а в бараке ждет их простывшая перловая каша без жиров, двухэтажные нары

без тюфяков и короткая ночь: завтра в семь утра проверка во дворе, а там: у кого - опять репетиция, у кого - работа в авторемонтном цехе, в починочной портновской мастерской или дневальным уборщиком в бараке; освобожденных от другой работы, прикрепленных только к театру заключенных-артистов совсем немного.

И постоянно нужно бояться: ведь один неласковый взгляд ведьмы-директрисы - и ты уже на лесоповале, на рытье котлована под Ухтинскую ТЭЦ, в лучшем случае - в лагерном совхозе, где сосредоточена большая часть заключенных-проституток.

На следствии, перед судом и отправкой в лагерь, как рассказывает в своей статье в "Русской мысли" Эдуард Капитайкин, Названова "долго пытали ярким, ровным, ни на минуту не потухающим ни днем, ни ночью светом. С тех пор у него постоянно болели глаза; незадолго до смерти он стал терять зрение". Лагерные годы для Названова были, по рассказу Блюмина, "незаживающей травмой". А ведь его судьба сложилась еще лучше, чем у других...

Талантливому актеру Консовского гноили, выбросив из ухтинского театра на лесоповал с проживанием на лагпункте заключенных-сифилитиков. И только за то, что директриса-чекистка застала беднягу обнимающим за кулисами заключенную-балерину... А лагерная Месалина сама имела на Консовского виды.



Лето 1938 года. Третий нефтепромысел Ухтинского лагеря. Первая в СССР нефтешахта. Принцип нефтешахтной добычи нефти следующий: когда нефтяное месторождение уже достаточно истощено, а залежание нефтеносных

пластов не превышает 300-400 метров, строятся такие же почти шахты, как каменноугольные. И вот в штреках роют канавы, в которые просачивается нефть. Скажем, вы проткнули палец иглой: хлынула фонтаном кровь. Вы порезали - и вовсе неглубоко - палец. Но порез длинный, и крови просочиться может даже в конечном счете больше, чем при глубоком проколе пальца. Совершенно то же и с шахтным способом добычи нефти в истощенных месторождениях.

Проектировал нефтешахту заключенный инженер-нефтяник Гармаш. Главным инженером Третьего нефтепромысла был также заключенный инженер-нефтяник Сококер. Главным руководителем работ был тоже бывший "вредитель", осужденный, если память мне не изменяет, по шахтинскому процессу, ныне - вольнонаемный инженер.

Меня перевели на Третий нефтепромысел со Второго, водного промысла - промысла радиевых вод. Я уже отсидел почти половину своего срока заключения и фактически исполнял обязанности начальника планово-производственной части. Одним из моих помощников был известный артист, сначала - баритон Ленинградского Малого академического театра оперы, потом - премьер московской оперетты, бывший офицер императорского флота Виктор Яльмарович Армфельдт. Уже одно то, что был он графом, потомком того графа Армфельдта, что сначала сражался с русскими, а потом помогал им в присоединении Финляндии к России, - было причиной его приговора к восьми годам "исправительно-трудовых лагерей" НКВД. На Третьем промысле работал он статистиком-экономистом, но чаще был вызываем в столицу лагеря - Чибью-Ухту, где, в театре для чекистского и вольнонаемного состава, пел Евгения Онегина, Эскамильо в "Кармен" и первые роли в опереттах... Экономистом

работал у меня и другой заключенный - весьма известный в свое время партийный работник, большевик чуть ли не с 1901 года, бывший помощник М. М. Литвинова, бывший член редакции "Правды" или "Известий" (уже не помню точно - какой из этих газет), бывший первый заместитель советского полпреда в Эстонии - Адольф Григорьевич Гай. О "Меньшом" - таков был журналистический псевдоним Гая - неоднократно дружески упоминает Вл. Маяковский. Но, конечно, тщетно будете искать о нем мало-мальски объективных сведений в именном указателе хотя бы и в наиболее "академическом" тринадцатитомном "полном собрании сочинений" поэта... Гай был человеком большой культуры, много на своем веку повидавшим как в Старом, так и в Новом Свете. Никогда не забуду его рассказов о Нью-Йорке первого десятилетия нашего века, о парижской художественной богеме, о Мюнхене эпохи Ведекинда и первых шагов экспрессионизма... Много повествовал он о Чичерине, о Литвинове, о Ленине, к которому относился не слишком почтительно... Впрочем, от марксизма и партийности у Гая, после уже, кажется, третьего его лагерного срока заключения, оставались рожки да ножки...

Но самым колоритным на Третьем промысле был в то время конский двор - конский транспорт промысла. Заведовал им чистый Илья Муромец, а то и лесковский дьякон-богатырь Ахилла. Могучий торс, львиная грива наполовину седых волос, бородаща лесовика, почти до середины широченной груди, одежда - наполовину лагерная, наполовину духовная. Архиепископ, уже отсидевший не менее шести-семи лет из своей "катушки" (высшего тогда десятилетнего срока), он конюхами, возницами, кучерами, ветеринарными фельдшерами и их помощалами набрал из состава заключенных исключительно лиц духовного звания. Архимандрит, два или три священника,

лютеранский или менонитский пастор, ксендз-поляк и весьма мощного телосложения раввин из какого-то глухого белорусско-еврейского местечка. И какой строжайший порядок завел завгужтранспортом преосвященный владыка! Чистота в конюшнях была идеальная, кони были в порядке, ветеринарный фельдшер был внимателен и конелюбив: сельский дьякон откуда-то из солигаличской глухомани, досконально знавший лошадиную душу и норов. Раввин был большим знатоком целебных трав, и они с дьяконом сами импровизировали какие-то лошадиные мази и притирания. Вот только та малая толика спирта, какая выдавался фельдшеру-дьякону на конские снадобья, коням никак не доставалась: дьякон спирт сам потреблял: кони, мол, в спиртыге что понимают?

Увы, Третий оперчекистский отдел лагеря не мог долго терпеть засилья на промысловом гужтранспорте такого густого опиума для народа, и отдал распоряжение Третьей оперчекистской части промысла немедленно ликвидировать ненормальное положение на конном дворе: поповско-раввинское гнездо, да еще со шпионско-католицкой прослойкой. Только, мол, еще муллы им не хватало...

А заведующим гужтранспортом Третьего промысла назначили крупного специалиста по лошадям, проворовавшегося на какой-то советской работе, следовательно, не контру, а социально-близкого, бытовика. А в конягах, это верно, толк он знал: недаром он был самый доподлинный цыган. Ходил цыган завгуж по промыслу барином: малиновая рубашка, бархатная черная жилетка, синие брюки напуском на низенькие шевровые сапожки. По вечерам неплохо наигрывал на гитаре и совсем хорошо пел цыганские романсы. Известно было, что и весьма неплохо помогал начальнику Третьей оперчекистской

части в его супружеских обязанностях. Во всяком случае, все заметили, как пышно расцвела и повеселела его миловидная жена. Он, поговаривали, цыган этот, и был назначен завгужем по ее настоянию. Вскоре отправили цыгана, вместе с сопровождающим его чекистом в штатском, и за покупкой лошадей для промышленового гужтранспорта - старого поголовья стало недостаточно.

И тут-то и произошел некий скандалчик, которым долго утешались мы, заключенные. Социально-близкий цыган, подпоив сопровождавшего его чекиста, удрал с деньгами, ассигнованными на покупку лошадей. И не только удрал, но - нахал этакий! - еще и прислал начальнику промысла и начальнику оперчекистской части телеграмму: "Досвиданца поручили куплять коней цыгану. Проздравляю". На лагерной почте и лагерном телеграфе работали наши же заключенные, и об этой веселенькой телеграмме сразу же узнал весь промысел, а затем и весь лагерь...

А жена начальника оперчекистской части промысла долго не могла успокоиться:

- Такого мужика не скоро теперь сыщешь. Цыган ведь. Они - страстные...



Когда он втолкнулся в нашу "рабочую" камеру Ленинградской пересыльной, он растерянно оглядел всех нас, разопревших в тесноте сравнительно привилегированной тюремной палаты: 140 человек на камеру с 22 железными привинченными к стенам кроватями. Полуодетые, потные, грязные, сидели и лежали мы на койках вдвоем-втроем, лежали под койками, между койками,

под огромным столом, занимавшим все междукроватное пространство, на скамьях перед столом...

- А где же мне лечь? Где моя койка? - поднял брови новичок.

Все мы расхохотались: такой невинности не ожидал никто. Староста камеры, одноглазый инженер-татарин (глаз выбили у него следователи), бывший видный партиец и до конца остававшийся правоверным коммунистом, показал новичку узкую щелку между скамьей и столом:

- Располагайтесь здесь. Соседи чуточку потеснятся. Тут, кажется, еще не лежит никто...

- Но ведь это рабочая камера, коллеги... Как же, живя как сельди в бочке, еще и работать?!

- Что вы из Англии или из Америки приехали? Да в не-рабочей камере народу в полтора раза больше, там лежать могут только паханы и половина сидящих - уголовники... А у нас - спокойно... И у нас дважды в день выводят на opravку в уборную. Так что и воздух, видите, сравнительно чистый, - огрызнулся староста. - Это ценить надо...

Воздух был - хоть топор вешай. Но мы уже привыкли и не жаловались. В не-рабочих камерах, вот там, действительно, ад. И блатные вытворяют, что хотят. Вплоть до изнасилований юных заключенных.

Новичка звали Георгием Сергеевичем Борманом. Инженер, сын крупного профессора-рентгенолога, он до последнего времени как-то не врос в советскую действительность. Чтобы избежать запретного обращения "господа" и неприемлемого для него "товарищи", звал нас совсем по-старомодному "коллегами". И было и смешно, и трогательно, когда он обращался к нашему дюжему, слонообразному "диверсанту" Митьке-скобарю, псковскому колхознику, с пьяных глаз спалившему

заброшенный колхозный свинарник (свиней в колхозе уже годы и годы не водилось) и обвиненному в шпионаже и диверсии в пользу эстонской и японской разведки:

- Коллега Митя, подвиньтесь немного - мне дышать нечем...

- Георгий Сергеевич, - вы ведь однофамилец (а, может быть, и родственник?) с владельцем знаменитой кондитерской фирмы "Жорж Борман"! Как мы с детства любили шоколад, печенье, карамель "Жорж Борман"!

- Так это мой дедушка, коллеги. Дома меня все и зовут тоже Жоржем. И мой сынок тоже зовет меня Жоржем.

Жоржа Бормана арестовали или в самом конце 35-го, или в самом начале 36-го. Арестовали бы сразу после сталинского разгрома Питера - поминок по Кирову, но до времени помогло как-то высокое академическое положение его отца, не то директора, не то заместителя директора Рентгенологического института. Следовательно, гипнотизируя Бормана нагло устремленными на него глазами, изрек:

- Сознавайтесь, гражданин. Ведь все равно - мы все о вас знаем. Но чистосердечное признание смягчит ваш приговор. Вы ведь нацист, гитлеровец. В каком родстве вы с гитлеровским гадом Борманом?

- Помилуйте, - возмутился Жорж, - ну какой же я нацист? Мой дедушка - еврей...

- Ах, да, произошла ошибка. Я оговорился. Сознаться, в какой сионистской организации ты состоишь?

- Но ведь я не еврей... У меня меньше четверти еврейской крови... Мой отец был царским офицером...

- Раскалывайся, сволочь, пока не поздно... Троцкист проклятый! Некогда нам с тобой долго канителиться...

- Какой же я - троцкист? - взмолился Борман. - Я... я насквозь беспартийный...

Следователь долго молчал. Перелистывал какое-то дело, пил чай, куда-то звонил по телефону, зевал, глядя в потолок. Наконец, предложил совсем ошалевшему Борману:

- Мы все равно тебя осудим. У нас, знаешь, брака на производстве не положено. Если арестован, значит, в чем-то да виноват. Зря в Советском Союзе не арестовывают. Не буржуазная это заграница. Выбирай лучше одно из трех: участие в нацистской диверсии в СССР, сионизм или... Мне, видишь, тебя жалко: ты, видать, не опсовелая контра... Или вот: бери третье - домашние троцкистские разговоры. Бери, говорю, сволота, - тянуть будешь - тебе же будет хуже...

Жорж Борман подумал, да и сознался, что *иной раз* (это ему позволили оговорить в протоколе) вел дома троцкистские разговоры, подписал все протоколы, заранее состряпанные следователем, и по суду получил восемь лет заключения в лагерях с последующим поражением в правах на три года...

И этапом в Ухтпечлаг мы ехали в теплушке, плыли в трюме баржи и топали пешком от Усть-Выма до Чибью-Ухты с ним вместе. На ночевках, иногда просто под открытым небом, Жорж сидел в стороне от других, и, краснея от смущения, как девушка, искал на себе осыпавших его, как и всех нас, вшей, но не уничтожал их, а бросал куда-то в сторону. Был он, кажется, толстовцем, во всяком случае строго следовал заповеди "не убий", и в лагере долго еще не ел постоянно появлявшейся в нашем довольствии трески. "Я - не пожиратель трупов живых существ", - объяснял он нам свое изнурительное голодание. Сдался он не скоро. Даже уничтожение паразитов не признавал морально допустимым: от-

кладывал их подальше от себя, говоря: "Может быть, они найдут все-таки для себя другие жизненные возможности, кроме моей крови"...

Наивность его простиралась до того, что он никак не мог понять, что "пожалевший его" следовательно втравил его в совсем невыгодную комбинацию: за сионизм в 36-м давали обычно не более пяти лет, а за троцкизм, даже за домашние троцкистские высказывания, меньше восьми не давали. И это еще счастье, что ему привели восемь.

Свидание с семьей - отцом и матерью, женой и сыном - получил Жорж одновременно со свиданием моей матери со мной: ко мне на неделю - единственный раз за мой пятилетний срок! - приехала моя мать летом 37-го.

На третий или четвертый день свидания мать моя получила из Питера телеграмму от своего брата: "Езжай прямо на Кавказ тебя ждут". Было все понятно: как раз шла кампания по высылке семей лиц, осужденных за контрреволюционные преступления, из столиц и крупных промышленных и культурных центров во всяческие места отдаленные, куда и Макар телят не гонял. Мать и уехала, после свидания со мною, не заезжая в Питер, прямо в Ставрополь Кавказский.

Тщетно я советовал Жоржу и его семье последовать примеру моей матери - и поехать со свидания с з/к Борманом куда-нибудь, хотя бы на месяц-другой, в глушь, не возвращаться сейчас в Питер: пройдет первый пыл кампании по выселению, - ну, тогда можно и вернуться на берега Невы, нужно переждать не на виду...

- Что вы, Борис Андреевич, - возражал мне отец Бормана, - меня не тронут: ведь и им рентгенология, ох, как нужна! Да я ведь всю свою жизнь вне политики... Кто нашу семью тронет?

- Ты ведь паникер, Борис, - возражал мне и Жорж.
- Отец - слишком крупный специалист...

Так и вернулась вся семья Жоржа в Ленинград, чтобы почти тотчас же быть высланной. Кажется, в Атбассар.

Жорж пришел в наш барак совсем убитым:

- Ты был, оказывается, прав. Но я надеюсь все-таки, Борис, что их вернут скоро в Питер. Ведь отец - европейски известный ученый. И рентгенологи очень, очень нужны...



Думается, было в нем две души: старого новгородца-ушкуйника, эдакого русобородого и голубоглазого русича-богатыря - и библейского древнего иудея, воина Гедеонова войска и, одновременно, мечтателя-псалмопевца. Инженер, специалист по огнеупорам, Неемия Элеазарович Палкин и был потомком новгородских жидовствующих. Первый и последний раз в жизни встретил я человека, который воочию, в наши дни, воскресил передо мною облик этих вот последователей мудрого рабби Схарии и родственников им в какой-то степени новгородцев-стригольников. Сионист, он каким-то чудом вырвался в конце двадцатых годов из советского социалистического парадиза в Палестину. Очень музыкальный, он и на берегах не Иордана, а суровой Ухты напевал из глинкинского "Князя Холмского":

Понесем в старый дом -
В Палестину...

Ну, а в Палестине он смертельно затосковал по Волхову и Неве, по русским перелескам и русской песне:

- Представь, - рассказывал он мне, - ну, никак не

смог я жить без Пушкина и Бородина... И вот - чёрт дернул вернуться...

Семь или восемь (уже не помню) лет заработал он за эту свою тоску по "берегам отчизны дальней", и вот теперь, на Ухте, был главным инженером большого Ухтинского кирпичного завода.

- Слушай, Неемия, а знаменитый питерский ресторан Палкина, куда еще и Достоевский ходил, он не вашей семье принадлежал?

- Не знаю, право. А вот в кино "Гигант", что на месте этого Палкина, на Невском, хаживал часто: но только, конечно, не на советские фильмы...

Когда с Воркуты перевели на Ухту известного украинского юмориста Остапа Вишню (Павла Михайловича Губенко), мы все постарались спасти его - уже немолодого и достаточно измочаленного Воркутой - от общих физических работ. Устроили его делопроизводителем Геолого-топографического управления лагеря, главой которого, взамен бывшего зэка Амосова, был только что назначен добродушный бегемот, бывший мастер-пивовар, по партийной разверстке окончивший кое-как Горный институт. Был этот геолух (он сам так себя называл и даже подписывался) глуп и безграмотен, но добродушен и хорошо относился к работающим у него заключенным:

- Хучь и зэки, да всеж-таки геолухи, спицилисты... Понимать надо: не покормишь - не поедешь...

Но, увы, в деле Павла Михайловича Губенко - Остапа Вишни, осужденного за мнимое "активное участие в к/р организации украинских буржуазных националистов СВУ (Союз Вызвания Украины)" на "полную катушку" (десять лет), значилось сакраментальное: "использовать исключительно на общих физических работах". И наш геолух не знал, как ему поступить: и удержать на работе в управлении нет возможности, и отправить на

лесоповал или земляные работы жалко, совесть не позволяет. Наконец, сообразил что-то и обратился к Палкину:

- Слухай, Неувмея Елизарыч, возьми ты Павлуху на свой кирпичный, охвицияльно на хвизическую работу, а сам его используй, скажем, как учетчика или бухгалтеря. Жаль человека: на общих работах загнется...

Так и попал наш Вишня к Палкину, и часто после работы слушали мы устные рассказы Павла Михайловича, артистически подаваемые с тем чуть задумчивым и слегка ленивым украинским юмором, какой тщетно старался бы передать москвич или орловец... Хорошо помню, как лишь немного подчеркивая некоторые фразы или отдельные словечки - и лишь едва-едва приподнимая брови или поджимая тонкие бледные губы, читал нам Вишня статью из "Известий" или "Правды", посвященную какому-то юбилею народного артиста СССР Ивана Михайловича Москвина. Как известно, он и его брат, известный под псевдонимом Тарханов, были сыновьями богатейшего московского купца-ювелира, торговавшего в двух магазинах: на Кузнецком Мосту и, помнится, на Никольской. И вот в юбилейной статье совершенно всерьез писалось, что бедный, разорившийся вконец ювелир, отец Москвина и Тарханова, не мог, конечно, дать обоим сыновьям гимназического образования. Стали родители думать: кого же послать в гимназию: Мишу (будущего Тарханова) или Ваню. Решили: Мишу. А бедному Ване решили дать домашнее образование: так, мол, дешевле будет, и пригласили к нему учителей гимназических на дом... И бегал еще - в свободное от занятий время бедный Ванюша с ювелирными изделиями с Кузнецкого на Никольскую, словно рассыльный какой...

И Палкин, и все мы, слушавшие это чтение Вишней (мы называли такие чтения "вишневыми" - недаром ведь и

одна из книг Павла Михайловича называется "Вишневи усмишки") его ли рассказов (наизусть, по памяти), обычных ли газетных статей, никогда не забудем его артистическое чтение... Вся советская елейная фальшь, вся ленинско-сталинская фразеология передавалась им так тонко - и так ярко, так проникновенно - и таким, казалось бы, безразличным "абстрактным" голосом, что это сделало бы честь и Тарханову, и Москвину.

Часто слушал Вишню и занятнейший человек, как и Палкин, убежденный сионист, большой специалист по переработке нефти и, особенно, по асфальтитовым лакам инженер З. Это был не человек, а камень. После полудня в пятницу - и до сутемени в субботу он отказывался наотрез работать. Его лишали посылок из дому и переписки, его сажали в "кондей" - внутрилагерный изолятор-тюрьму, но сломить его не могли ничем. Любопытно при этом, что он был отнюдь не верующим: был он позитивистом, скептиком, атеистом. Но он считал, что исполнение всех требований иудаизма и всех еврейских исконных традиций - неперемное правило, обязательное условие для сохранения евреями своего национального лица и национального единства. Вспомнил же я о нем еще по одной причине. Как-то, во время очередного переселения отделов управления лагеря из одного помещения в другое (а постоянные перемещения - это болезнь не только лагерной администрации, не только советских учреждений вообще, но, увы, и всех бюрократий мира: вижу эту манию и в учреждениях Вашингтона...) - так вот, во время перемещения 2-го-учетно-распределительного отдела из барака в барак, как-то потерялось дело зэка - инженера З. А в Советах человек существует лишь постольку и лишь до тех пор, пока цел, пока в наличии его документ. Утратилось дело З. - и З. перестал существовать официально (положение

прямо противоположное тыняновскому "Подпоручику Кижэ"). На него не выписывалось больше продуктовое и вещевое довольствие, на переключках заключенных его нельзя было выкликать по фамилии, но и освободить из лагеря или, по крайней мере, от лагерных работ было невозможно. Он и был - и его не было. На ежедневных переключках заключенных по баракам его фамилия не называлась, а просто комендант тыкал его в грудь пальцем. Кормили же беднягу мы сами, выделяя ему из наших полуголодных трапез и из наших посылок из дому определенную небольшую долю... Не знаю, каким образом его все-таки освободили, но лет через двадцать я встретил в зарубежной печати его имя...

Помогал продуктами инженеру З. больше других пекарь-старообрядец, из бывших суздальских купцов, умница и начетчик. Конечно, ему, работавшему в лагерной пекарне, и помогать другим было много легче. Он ловко ухитрялся выносить из пекарни и лишнюю пайку хлеба, и какую-то малость муки, а так как был расконвоированным, да к тому же страстным рыболовом, то в свободные часы сидел с удочкой на Ухте - и варил себе и другим, а особенно вечно голодному З., ароматнейшую ушицу с мучной заболткой.

Старовер был замечательным рассказчиком, знал множество народных песен, легенд, преданий.

- А знаете, - рассказывал он нам, - почему в Чибью рыбки почти не водится, да и воды такая малость: не речка, а просто ручей... (Чибью - небольшая речонка, приток Ухты, и по имени ее и называлась лагерная столица - городок Чибью, лишь года через три переименованный в Ухту).

- Ну, так вот что рассказывают местные зыряки: они ведь тоже по старой вере, все почти - потому со мной хороши. У каждой реки, у каждого озера - свой

водяник. Ну, а все водяные, как известно, - горькие пьяницы, ну и картежники тоже. Продуваются до последних порток. А так, когда не под водой, а выходят на́ люди, то одеты по-городскому: в пинжаках и в сапогах с лакированными голенищами. Узнать их, отличить от людей только и можно потому, что с левой полы пинжаков у них всегда вода каплет... Вот и играли раз водяные Чибью и Ухты в "свои козыри", или в "подкидного дурака". И проигрался водяник Чибью водяному Ухты вчистую: боле половины воды и всю рыбешку... Теперь, гляди, ежели и поймаешь что в Чибью, то только плотву, да и та случайная, забредшая с Ухты.

- А я все-таки попытаюсь поймать в Чибью форельку, - усмехнулся Палкин.

- Ну, что ж, попытка - не пытка: попробуй слови...

И старовер зевнул, перекрестив рот широким двуперстием.



В четвертом выпуске сборника "Память" (1981), в главах из интереснейших воспоминаний Н. П. Анциферова о процессе Академии наук (дело академиков Платонова, Тарле и других), упоминается и Жданов. В примечаниях сказано, что *кто* этот Жданов - установить не удалось. А Николай Павлович Анциферов, уже крепко-накрепко засаженный в тюрьму Ленинградского ГПУ-НКВД, пишет: "Меня ввели в какое-то помещение, где я встретил старика Путилова и экономиста Жданова, с которым я беседовал на прогулках, - очень интересного человека, автора романа, написанного не для печати. У обоих был очень растерянный вид. Какой-то мучительный вопрос. Нас приготовили к съемке. Почему еще раз, ведь мы уже

были сфотографированы и в фас, и в профиль? Но вопросов задавать не полагается. На нас повеяло жутью приближающегося беспощадного приговора. Никто из нас не произнес ни одного слова. Впоследствии я узнал, что Жданов получил высшую меру с заменой 10-ю годами, а старика Путилова расстреляли”...

Огромного роста, рано поседевший красавец-атлет, уральский казак Борис Николаевич Жданов был старше меня лет на семнадцать. Родился он в 1887 или 1888 году, был племянником члена Государственной Думы от Уральского казачества Жданова, говоривавшего, что правее его в Думе - только стена и выступавшего лишь по вопросу о народном алкоголизме (сам он, конечно, умер от пьянства). Учился Борис Николаевич в Самарской гимназии, был на несколько классов моложе графа Алексея Николаевича Толстого, о котором все решительно знали, что он не граф, не Николаевич и не Толстой, ибо является сыном А. А. Бострома. Но спеси у А. Толстого и тогда было хоть отбавляй. После окончания Ждановым гимназии - университет. Был по образованию Б. Н. Жданов не экономистом, а геологом и археологом, но работал, главным образом, в качестве археолога, производил раскопки готских могильников в районе Борового - в предгорьях Памира, и увлекательно рассказывал, как ему удалось раскопать нетронутую грабителями могилу готской царевны, и по сохранившимся скелету и драгоценным украшениям восстановить в воображении облик стройной степной красавицы.

К делу Академии наук, делу предельно фантастическому, Жданова, главным образом, привлекли из-за того, что он был близким другом профессора геолога Преображенского, одно время состоявшего в правительстве адмирала Колчака. Преображенского, по личному распоряжению Ленина, в свое время из-под ареста

освободили, - чтобы использовать в качестве крупнейшего специалиста. Не арестовали его и по делу Академии наук. Ну, а его друзей, в том числе и Жданова, почему бы и не осудить? Археологи строительству пятилеток не так уж нужны. И когда раздули дело Академии - о якобы заговоре с целью свержения советской власти и восстановления монархии (с великим князем Андреем Владимировичем на троне), Бориса Николаевича Жданова включили в состав наиболее активных заговорщиков. На очной ставке Жданова с пушкинистом, бывшим гвардейским офицером, бывшим заведующим Рукописным отделом Пушкинского Дома Академии наук, женатым на дочери "будущего премьер-министра будущей монархической России" Платонова, а в заговоре - "организатора и возглавителя военной секции заговорщиков"; одним словом, на очной ставке с Николаем Васильевичем Измайловым - этот последний называл Жданова кандидатом на пост министра промышленности будущей империи. Он говорил также, что Борису Николаевичу было поручено взорвать Кремль, убить ряд вождей партии и правительства. Вообще - Измайлов "раскололся", и Н. П. Анциферов тоже рассказывает, что следователь ГПУ Стромин, на допросе Николая Павловича "достал показания Измайлова и сказал: «Очень интересный человек. Вот посмотрите, каких показаний мы ждем от вас»".

Вот и приговорили Жданова к расстрелу, заменив затем "высшую меру социальной защиты" десятью годами заключения в лагерях.

Н. В. Измайлов же благодаря помощи следствию получил малый срок, и, как вспоминает (в том же выпуске "Памяти") самый тогда молодой из обвиняемых по делу Академии, Алексей Ростов (псевдоним), после суда "были отправлены на пять лет в Ухто-Печорские

лагеря все сочинители ложных признаний и оговоров, которых в Соловках и на Беломорстрое их жертвы могли изболтать и потребовать пересмотра дела. Это был и Н. В. Измайлов. Возможно, в награду за его "признание" не трогали его жену Наталью Сергеевну; она приехала к нему с маленькой дочкой. По отбытии пяти лет со дня ареста они поехали к сестрам Наталии Сергеевны". В лагере зэку Измайлову разрешено было жить не как заключенному, а как "колонизированному", то есть вне зоны, на частной квартире и с женой. Такие случаи в нашем Ухтпечлаге бывали и позже, при мне - для особо нужных специалистов. Измайлову после освобождения разрешили даже вернуться в Ленинград, запретный в те годы для всех бывших политических заключенных. И он вновь работал в Пушкинском Доме и участвовал в редактировании академического издания Пушкина. В "Краткой Литературной энциклопедии", понятно, нет ни слова об осуждении и нахождении в лагерях Н. В. Измайлова...

Б. Н. Жданов отбывал сначала свой десятилетний срок на Соловках, где был начальником производства. В бывшем соборе монастыря была устроена игрушечная мастерская, там же заключенные делали разные художественные кустарные изделия. Одному из крупнейших чекистов, проштрафившемуся как-то и потому отправленному на Соловки (впрочем, одним из начальников), захотелось поскорее смыть с себя служебное пятно и выдвинуться. Чем? Ну, конечно же, раскрытием контрреволюционного вредительства заключенных антисоветчиков уже в самом лагере. Он подкупил нескольких уголовников для наилучшего и наиболее реального инсценирования этого вредительского "заговора". Сценарий был элементарен: поджог вредителями-контриками мастерской в соборе; героически потушенный доблестными че-

кистами и заключенными из "социально-близких" (то есть не политическими, а осужденными по бытовым и уголовным статьям) пожар - и раскрытие и осуждение преступных заговорщиков теми же доблестными и пронизательными чекистами. Но в те дни в лагере находился в числе более или менее привилегированных заключенных человек, поставивший себе жизненной задачей всячески изобличать махинации чекистов. Помнится, его фамилия была Довнар-Запольский (или похожая на эту). Ему удалось собрать изобличающие чекистскую авантюру показания и даже документацию, и когда в лагерь, на Соловки, прибыла комиссия из Москвы, из самого центра ГПУ, он разоблачил чекистскую аферу.

Затем Б. Н. Жданова, как и многих узников Соловков, перевели в Амдерминский лагерь, где разрабатывались месторождения плавикового шпата. Потом - в Ухто-Печорские лагеря, где Жданов долго был ученым секретарем и заведующим архивом геологоразведочного управления лагеря.

Во время нашего пребывания с Б. Н. Ждановым на Водном (радиевом) промысле, мы жили с ним и инженером-технологом Сергеем Сергеевичем Щукиным в одной комнатке инженерного небольшого барака. Сергей Сергеевич, осужденный за активную деятельность, направленную на защиту церкви, был человеком глубоко верующим, но и всемерно деликатным и терпимым, и некоторая индифферентность Жданова в религиозных вопросах не нарушала их дружбы.

Жданов много рассказывал нам не только о своих археологических экспедициях, но и о театре, о своей весьма романтической любовной драме с известнейшей итальянской актрисой, старше Бориса Николаевича - тогда студента - лет на пятнадцать-двадцать. Имен в таких случаях он никогда не называл, да и в

рассказах был предельно сдержан. Но мы догадывались, о ком шла речь. Думается, эта любовная эпопея и легла в основу романа "не для печати", о каком повествует Анциферов. Борис Николаевич был и театралом, и опероманом, хорошо знал лично Козловского и Обухову, многих актеров и музыкантов, а в лагере дружил с заключенной артисткой ухтинского театра, бывшей солисткой московского Оперного театра имени Станиславского Сусанной Александровной Геликонской, в которую страстно влюблен был заключенный астроном, профессор из бывших князей Борис Козловский. Борис Николаевич и сам играл иной раз в оркестре этого лагерного театра - не помню, кажется, на альте.

Освобождался Жданов примерно на полгода раньше меня и, взяв новгородский адрес моей матери, написал ей несколько очень хороших и теплых писем, полученных ею до моего приезда в Новгород. Ему после освобождения удалось устроиться на жительство неподалеку от Харькова, и оттуда он тайком, конечно, несколько раз наезжал к друзьям в Питер, приехал на несколько дней и в Новгород - повидаться со мной.

Перед его освобождением я как-то спросил его: а если ему удастся поездка в Питер и там встретится он случайно с Н. В. Измайловым, - не набьет ли он предателю физиономию?

- Нет, конечно. Я даже зайду к нему в Пушкинский Дом. Как могу я судить его? Он долго никого не предавал, вообще мало отвечал на вопросы следователей. Но во время одного из его допросов, в соседнем кабинете, отделенном лишь тонкой перегородкой, он услышал дикие крики жены: его жену пытали, чтобы вынудить у него скорее, чем у нее, нужные следствию признания. А Стромин, его следователь, сказал Измайлову, что жену освободят и вовсе не станут преследовать, если

он, Измайлов, подпишет нужные следствию показания и вообще станет со следствием сотрудничать. Освободят, "хотя она и дочь главного преступника - Платонова". Говорят, что часто эти стоны, эти крики - даже не реальная пытка близких подследственного, а лишь граммофонная запись очень похожих голосов. Но кто может это знать? И Измайлов не выдержал пытки. Не его даже пытки, а - много страшнее: пытки любимой жены. Кто может осудить его - пусть осуждает.

В Новгороде наша встреча была почти встречей близких, кровных родственников. А пожалуй, лагерная дружба и крепче кровного родства.



В старости память обычно подхлестывается или неожиданной встречей, или еще чаще - прочитанной книгой. И тогда оживают даже не позабытые, а просто отошедшие в какую-то затуманенную даль происшествия, трагические и курьезные случаи, пережитое. Вот попалась мне уже сравнительно давняя - 1978 года - книга Марии Иоффе "Одна ночь", почти исключительно посвященная допросам автора этой "повести о правде" - вдовы председательствовавшего на Брестской мирной конференции А. А. Иоффе, - допросам в знаменитой комиссии НКВД, возглавляемой Кашкетиним. И вспомнился мне приезд этой самой комиссии на Ухту, вызов на допрос к Кашкетину, гибель многих друзей и знакомых заключенных...

Сама книга Марии Иоффе весьма специфична. Старая большевичка, она пишет - и сожалеет - только о твердокаменных большевиках, стойких борцах за ленинскую правду, не сломленных ни пытками, ни лагерем, оставшихся верными марксистско-ленинской догме. Осталь-

ные, как правило, или бесчестны, или слабохарактерны и поддаются на провокации чекистов, позабывших свою коммунистическую честь и правду... Но твердокаменные ли большевики, часто сами бывшие палачи, или просто советские граждане, - все они, так или иначе, жертвы беспощадной системы, все они страдают и гибнут бессмысленно...

Хорошо помню старого коммуниста, члена Коммунистической академии Ральцевича, подвергавшегося пыткам и оскорблениям, измученного на допросах, - и все же оставшегося стойким и верным ленинцем. "Сталин не знает и не ведает, что творят эти пробравшиеся в партию и в НКВД вредители и провокаторы", - уныло твердил он и без конца посылал "разоблачительные" письма в Политбюро и лично Сталину. Письма, понятно, никуда из лагеря не уходили, да если бы и доходили до адресатов, результат был бы тот же.

Мы смеялись и недоумевали, слыша скулеж подобных твердолобых ортодоксов, к тому же считавших, что только с ними поступлено столь необъяснимо несправедливо, а остальные заключенные сидят за действительно совершенные ими антисоветские, контрреволюционные преступления. Но можно было и понять этих людей, всю свою жизнь веривших в коммунистический катехизис, зачастую совершавших для торжества коммунизма весьма неблагоприятные поступки, - и вдруг очутившихся среди его жертв. Как раз фанатики больше всех и страдали, а пересмотреть свою слепую веру было уже невмочь - их вера окостенела. У нас было немало подобных коммунистических ископаемых, а на Воркуте, о которой рассказывает Мария Иоффе, их были многие тысячи - Воркута прямо-таки специализировалась на замедленном истреблении всяческих мнимых уклонистов

от пресловутой "генеральной линии партии", в особенности же - троцкистов.

К нам на Ухту, помнится, комиссия Кашкетина приехала летом тридцать восьмого года. Во главе ее стоял внешне вполне культурный, вылощенный Кашкетин, а пыточных дел мастером был преимущественно его помогала - лейтенант госбезопасности Заправа, существо гориллообразное и совершенно бесчувственное. Задачей, поставленной Москвой перед этой комиссией, было выявление преступников, сроки наказаний которым были "вредительски занижены прокравшимся в органы врагом народа, тайным агентом международного империализма Ягодой и его гнусными сообщниками". В ходе следствия было указано не останавливаться перед применением "мер физического воздействия" по отношению к контрикам, упорно не сознающим в совершенных ими преступлениях, нарочито смазанных приспешниками отвратного Ягоды.

В первый день допроса, - у нас на Ухте, по крайней мере, - к пыткам не прибегали. Кашкетин вежливо разговаривал с привлеченными на переследствие, с наиболее интеллигентными заводил даже беседы о литературе, театре и на нейтральные темы, лишь как бы вскользь касаясь вопроса - за что именно получил свой срок подследственный. Большинство после первого допроса даже возвращалось в свой барак, а не в лагерный изолятор - "кондей". Но на второй день допрос принимал уже совсем иной оборот. Шли в ход громадные резиновые палки с деревянными, до блеска отполированными от частого употребления рукоятками. Заправа виртуозно ими владел - мог и не изувечить, но мог и сломать подследственному ребра, перебить хребет.

Сам Кашкетин лишь изредка прибегал к "мерам физического воздействия", но иной раз, перед изголодавши-

мися в изоляторе заключенными прибегал к пытке психологической. Мария Иоффе рассказывает, как после дней и ночей в вонючем, кишасщем мокрицами и червями тесном нужнике-изоляторе, ее призвали к Кашкетину. "Небольшой некрашенный стол. Накрыт чистым холщевым полотенцем. Что это? - Огромная краюха хлеба. Суп с мясом, золотой россыпью выступают половинки гороха. Котлета, да-да, котлета с румяными, наверное, хрустящими ломтиками картошки. Конвоир придвинул к столу табуретку. Рот свела терпкая слюна... сказочная пища - западня...".

Володя Г. - инженер, приехавший из Парижа повидать своих родных, старых москвичей. "Заложила" его знакомая его семьи, небезызвестная Лиля Брик. Получил восемь лет за шпионаж. Призванный на допрос к Кашкетину (как же это так: французский инженер, женатый на француженке, - и только восемь лет?!), не признавался ни в чем... Тут уже резиновых палок мало. На теле раздетого донага Володи жгли комки пакли. Заправа был неосторожен - или уж слишком озверел, пытая, но только Володя умер на первом же пыточном допросе...

Ваня С. - студент-медик четвертого курса. В лагере на Ухте работал лекпомом. Срок - семь лет за участие в религиозно-философском кружке во имя Серафима Саровского. Тишайший, скромный, всегда задумчивый. Прозвали мы его Алешей Карамазовым. Стойкий и даже упорный. Ничего не добившись от Вани, Кашкетин отправил его на расстрел.

Когда группу "сознавшихся" или упорствующих Кашкетин отправлял на расстрел, он прерывал работу следственной комиссии и отправлялся с расстрельщиками на место казни. Иногда это место было не так далеко от нашего управленческого лагпункта, и мы слышали

треск выстрелов, - ну, как будто в жестяной банке трясли горстку гороха.

Мы, несколько политических заключенных, уже побывавших на первом допросе у Кашкетина, были - случайно или сознательно - спасены начальником районного лагеря Водного (радиевого) промысла, лейтенантом госбезопасности Кузьминым, перебросившим нас с управленческого лагпункта на лагпункт и на работу на водный промысел. Характерная особенность советской системы: все ее работники, даже крупные чекисты, прежде всего чиновники. Им важно выполнение плана, и только. Раз на том или ином лагпункте работа закончена, к нему, до времени и нового распоряжения сверху, можно уже не возвращаться... Вот мы - проф. Щукин, проф. Жданов, я и еще два-три ээка - и уцелели от расправы Кашкетина. А перебросены-то были всего за сорок километров, никак не больше...

Сам Кашкетин, усталый и издерганный свыше всякой меры, иной раз сознавался проштрафившимся и осужденным на разные сроки энкаведешникам:

- Я - часть этого строя, этой системы. Я прирос к ней всем телом, всей кровью - своей и пролитой мною. Меня не оторвать от системы. Разве только тогда, когда, быть может, и меня отбросят - и расстреляют за изношенностью...

Кажется, Кашкетина в конце концов и расстреляли. Но отнюдь не за его служебное рвение и жестокость...

*

23 августа 1939 года был торжественно подписан Акт о ненападении между СССР и Германией. И, конечно, последние дни августа были в СССР повсеместно посвя-

щены прославлению "мудрого курса партии и советского правительства под гениальнейшим руководством великого поборника мира во всем мире и социализма в одной стране, дорогого отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина".

Было, понятно, созвано и общее собрание чекистского и вольнонаемного персонала управления Ухто-Печорских лагерей НКВД в зале театра лагерной столицы Чибью-Ухты. Обслуживали театр, начиная с буфетчика и гардеробщика и кончая оркестрантами и дирижером (необходим ведь был для такого торжественного собрания и оркестр с "Интернационалом"), сплошь заключенные - "контрики", и поэтому все, что говорилось и творилось на собрании, сразу же стало известно решительно всем заключенным.

Грозой заключенных был тупой и трусливый старший лейтенант госбезопасности, начальник отдела режима лагеря. От него зависел заключенный даже больше, чем от всемогущего Третьего (оперативно-чекистского) отдела - внутрилагерного НКВД. Ибо отдел режима регулировал повседневную жизнь эзков: расконвоирование и законвоирование даже наиболее важных для производства инженеров, геологов, топографов, ужесточение лагерного распорядка, учащение ночных "шмонов" (неожиданных обысков), снятие заключенных с работы по специальности и отправка на общие физические работы, посадка провинившихся во внутрилагерную тюрьму - все это было в руках начальника отдела режима.

Как всегда, он пришел на собрание вполпьяна, но все же помнил, что нельзя не выступить в "дискуссии" после доклада: таково уж положение ответственного партийца, да еще чекиста. Заклеймить в очередной раз врагов народа, тем более, международный империализм - это он считал своим партийным долгом и святой

обязанностью. Газет он не читал никогда, доклад выслушал менее чем вполуха, но уловив отдельные слова: "Германия", "Гитлер", "правительство Германии" - все, что еще недавно считалось главнейшим врагом СССР и мировой революции, наш старший лейтенант ринулся на трибуну:

- Товарищи, - истошно завопил он, - мы, которые мощной рукой задавлиали внутреннюю контру и стоим всегда на страже, мы не позволим гаду Гитлеру и его кровавым псам, опричниками мирового империализму, со всей мировой...

И тут он почувствовал, что кто-то схватил его сзади за штаны и изо всей силы тянет за кулисы... Выволок его сам грозный начальник Третьего отдела. Теперь он свирепо потрясал перед физиономией оратора волосатыми кулачищами и шипел:

- Ты что это, змей, ты что это, сволота, мать твою в перечницу, контрреволюцию разводить хочешь?!

- Так я же, товарищ...

- Я тебе, мать твою, не товарищ, а майор госбезопасности... Сука, гад...

- Так гады ж, товарищ майор госбезопасности, Гитлер и его отродье...

- Ты уши продери... Пьян всегда... Мы с народом Великой Германии... Сам товарищ Сталин подымал тост за великий и храбрый, значит, германский народ... А гады - англо-американский империализм, французские капиталисты...

Бил или не бил третьестроитель режимника, - обслуга театра не видела. Вероятно, бил. Но ворон ворону глаз не выклюет (ежели, конечно, нет указаний свыше), и кару не с той ноги пошедшему старшему лейтенанту ограничили строгачом с предупреждением да понижением в чине: из старших лейтенантов - в лейтенанты...

В свой очередной отпуск отправился режимник в Сочи или в Туапсе в чекистский санаторий. Понятно, запил с горя. Шутка ли! Из старших лейтенантов не в капитаны госбезопасности, а назад - в лейтенанты... И вот в каком-то ресторане, подвыпив, по привычке забуянил.

- Ведите себя пристойно, лейтенант, - нахмурившись прикрикнул на него какой-то комбриг. - Вы в общественном месте!

- А мне с высокого дерева наблевать, - взъерепенился режимник...

- Кому вы осмеливаетесь так дерзить! - вспел и комбриг: - Я генерал! - Тогда еще не ввели генеральских чинов, но комбриги уже сладострастно именовали себя генералами.

- Генералы усе у Черном море потопли, а мы их, кто оставшись, всех к ногтю...

...В лагерь наш злополучный лейтенант вернулся уже и не лейтенантом, а заключенным. "За "фулиганство", оправдывался он, - а не за какую-такую контру..." И стал он, конечно, не таким рядовым эком, как все мы. Как "бытовика" и бывшего чекиста поставили его цензором писем и посылок, получаемых заключенными.

Как садистски ковырял он каждую посылку, ломал печенье, протыкал много раз куски шпика, трижды проверял каждое письмо с воли, а некоторые и задерживал "на предмет досконального контроля"!

- Вы, сволота, думаете, что я не вижу вас наскрозь?! Не сумлевайтесь, контру я и сейчас не допущу...

*

Помнится, что первыми прибыли в наш лагерь испанские эмигранты-коммунисты и анархо-синдикалисты,

бежавшие к своим союзникам после победы Франко. Было их на Ухте немного, но они рассказывали (только - по-французски!), что арестовали и бросили их в тюрьму и лагеря решительно всех, кроме чёртовой суки Долорес Ибаррури (фамилию ее всегда искажали на непристойный лад), но старательно рассредоточили своих испанских друзей небольшими группками по многим лагерям. По-русски за все время пребывания в лагерях испанцы не говорили: только артистически матерились и со смаком произносили слово "гады": "А детей наших, гады, отняли и направили их в свои чекистские детдома".

Когда же освободили от капиталистического гнета и воссоединили с великой родиной социализма Прибалтику и западные части Белоруссии и Украины, первыми появились у нас во множестве польские евреи, несколько меньше - латыши и эстонцы. Литовцев при мне в наш лагерь не присылали. Говорили, что их засылали, главным образом, в Дальстрой, в сибирские и среднеазиатские лагеря. В наш лагерь не присылали при мне и русских из Прибалтики.

Когда в лагерь прибывает новый этап, он проходит через квалификационную комиссию, устанавливающую профессию и знания прибывших, чтобы их, по возможности, наиболее рационально - для советского режима - использовать. В то время - в 30-х годах и вплоть до начала 41 года - членами этих квалификационных комиссий были лучшие специалисты из числа заключенных, но председателями комиссий были, понятно, чекисты, да еще входил в них в обязательном порядке представитель Третьего - оперчекистского - отдела, зорко следивший за специалистами-контриками. Поэтому, чтобы спасти кого-либо из вновь прибывших от губительных общих физических работ, контрикам-специалистам нужно было быть необычайно осторожными. И все-таки так или

иначе, но удавалось всяческими уловками обмануть недремлющую бдительность чекистов - и спасти то или иное число прибывших, направив их на инженерную, врачебную, канцелярскую работу.

В нашем лагере, на его управленческом лагпункте, председателем квалификационной комиссии был чекист Лейферт, абсолютный кретин, но поэтому и особенно подозрительный. О представителе Третьего отдела и говорить нечего. Но наш брат зэк тоже наловчился. И всяческими намеками старался как-то внушить опрашиваемому, в каких именно специальностях нуждается лагерь. И сообразительный новичок, прибывший в лагерь, если и был на самом деле, скажем, никому в лагере не нужным филологом, говорил уверенно и смело:

- По образованию филолог, но каждое лето ездил с геологическими поисковыми партиями, как техник-геолог...

Но как можно было осторожнейшим намеком внушить, скажем, евреям из западнобелорусского местечка, совершенно не знающим никаких советских уловок, что именно им отвечать? Прибыли к нам в лагерь отнюдь не "буржуи" из бывших польских провинций (тех заслали подальше), а рабочий люд, ремесленники. Во-первых, прибыли они все-таки в европейских, хотя и небогатых, костюмах, и не только у урок, но и у чекистов разгорелись глаза. С благословения начальства началось их ограбление (а чекисты выкупали у уголовников награбленное). Прибывшие не знали даже сроков своего заключения: им через месяц-два после прибытия в лагерь только и дали расписаться в том, что они подлежат заключению в лагерях НКВД на такой-то срок (от 4 до 8 лет) по формулировке ПШ - подозрение в шпионаже. А раз так, то нельзя было и решить, можно ли их направлять на какие-нибудь работы, кроме общих, ибо ряд

статей и формулировок снабжался пометкой: "Использовать исключительно на общих физических работах". И в этом были заинтересованы и чекисты: на общих работах легче обчистить человека донага, и можно поэтому скорее обрядиться в польскую европейскую одежду... Во-вторых, все прибывшие были или портными, или парикмахерами. Работа парикмахера в лагерях, как правило, предоставлялась только крупным грабителям или убийцам - это был неписанный закон лагерей. А пошивочные мастерские лагеря уже были переполнены портными. К тому же на вопрос о специальности новички-евреи, сплошь ремесленники, работавшие на дому для крупного предпринимателя, отвечали:

- Я - портной по левому рукаву пиджака... Конечно, смогу сшить и весь пиджак, но это уж будет не та работа, не тот квалитет, пане...

- Мы, пане, встречали русские части с цветами... Ведь освободили нас, как-никак, интернационалисты, никакого антисемитизма, рабочая власть... Ну, как теперь понять?!

Еще хуже было с прибалтами. Красивый, крепкий, подтянутый, интеллигентного вида латыш.

- Ваша специальность?

- Офицер полиции.

- Но ведь у вас есть, конечно, и другая? Знаете, например, бухгалтерия, счетоводство, - желая спасти человека от земляных работ или лесоповала, спрашивает латыша заключенный технолог.

- Нет, я именно полицейский офицер. Конечно, знаю немного и военное дело.

- Ваша специальность? Образование? - обращается член квалификационной комиссии (сам со сроком заключения в 10 лет плюс 5 лет поражения в правах: такой уж будет осторожным...).

Молодой эстонец не сразу понимает. Да и по-русски он не силен. Но раз спрашивают об образовании, тем самым спрашивают и о специальности:

- Бактериолог. Но арестовали, когда перешел на последний курс. Не успел окончить...

- Ну, значит, вы вполне можете заменить на каком-нибудь лагпункте врача. Или - помощника врача - лекпома. Поговорите вот с моим коллегой доктором...

- Нет, я не врач. Я не закончивший курс бактериолог, - упрямо и угрюмо настаивает на своем молодой эстонец.

Александр Львовичу явно жалко парня. У него дома остался сын таких же, примерно, лет.

- Но ведь можете же вы работать, скажем, не в качестве врача, а фельдшера, аптекаря, - говорит он, все время опасливо оглядываясь на оперчекистского гада и председателя комиссии.

- Нет, - угрюмее прежнего стоит на своем эстонец.

Что тут будешь делать? И без того для инженерного, геолого-топографического, административно-канцелярского персонала в лагерях установлен строжайший лимит - такой-то и такой-то процент от общего количества заключенных (в мое время - не более 10%). И без того у многих прибывших есть, конечно, пометка в деле - об использовании исключительно на общих работах. А тут - такое непонимание со стороны вновь прибывших, которым хотят помочь...

И потом по всему лагерю слышалось на правильном или исковерканном русском языке: "Мать вашу растак, освободители..." Но понимали, что мы, русские, тут ни при чем. Понимали, впрочем, не все.

Сейчас, на склоне лет, больше читаешь не беллетристику, а воспоминания, письма, всяческие документальные материалы, невольно заставляющие окунуться в молодые годы. Попал мне недавно в руки "Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1978 год", а в нем, к моей радости, публикация писем Александра Блока к Татьяне Николаевне Гиппиус. Наконец, хотя и очень немного, я узнал о послевоенной судьбе сестер Зинаиды Гиппиус - Татьяны Николаевны ("Таты") и Натальи Николаевны ("Наты").

Еще раньше прочитал в библиографическом справочнике "Художники народов СССР": "Гиппиус, Наталья Николаевна. Скульптор. Р. 13(25). 10. 1880 в Негжине, ум. после 1941 в Новгороде"; "Гиппиус, Татьяна Николаевна. Живописец и график. Р. 13(25). 12. 1877 в Петербурге, ум.?" И вот только теперь, из "Ежегодника", узнал я, что тетя Ната умерла в Новгороде в 1963 году, а тетя Тата - в Новгороде же 23 марта 1957 года.

О жизни сестер после 1910-х гг. сказано весьма скупое: "После Октябрьской революции Т. Н. и Н. Н. Гиппиус не разделили судьбу Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус, бежавших в декабре 1919 г. за границу. Обе остались в Петрограде (З. Н. Гиппиус в 1920-е годы предлагала им переехать в Париж, но сестры отказались). Сведения о последующей жизни Т. Н. Гиппиус скудны. Известно, что в 1920-е годы она участвовала в религиозно-философском кружке проф. А. А. Мейера. Перед войной она жила в Новгороде. Оказавшись во время войны на оккупированной территории, обе сестры были отправлены в Германию и заключены в концлагерь. После окончания войны сестры вернулись в Новгород, где

работали художниками-реставраторами при Новгородском художественном музее”.

...Познакомил меня с сестрами Гиппиус высланный, как и они, в Новгород - после тюрем и ссылок - известный философ Сергей Алексеевич Алексеев-Аскольдов. Маленький ветхий деревянный домишко. Небольшая квартирка на втором этаже, затолканная до отказа книгами, папками с рисунками, какими-то глиняными заготовками для русских матрешек и парней-гармонистов. Во всем сразу виделась достойная интеллигентская нищета. После ссылки сестры находились в Новгороде в высылке - под надзором НКВД. Еле-еле нашли работу в качестве реставраторов в местном музее: Татьяна Николаевна реставрировала древние иконы, Наталья Николаевна - резьбу по дереву, шитье - плащаницы, пелены. Платили им такие гроши, что прожить на них не было возможности, как ни скромны были требования сестер. Начальство справедливо считало, что деться им некуда и они будут рады хотя бы грошовой оплате. Наталья Николаевна лепила на продажу - не на рынке, конечно, - разных матрешек и гармонистов, раскрашивала, обжигала, кое-что удавалось продать.

Тетя Тата тогда, в 1941 году, была маленькой тихой старушкой, выглядела много старше своих 64 лет. Тетя Ната, как это и положено скульптору, была выше, здоровее, сильнее сестры, но во всем беспрекословно подчинялась ей. Осуждены они были в самом конце двадцатых или в начале тридцатых годов за участие в религиозно-философском кружке А. А. Мейера ”Воскресение” (к которому в свое время принадлежал и Г. П. Федотов).

Кружок Мейера возник на развалинах Религиозно-философского общества, в которое, понятно, входили и сестры Гиппиус: ведь общество это было детищем Мереж-

ковского и Зинаиды Гиппиус. В ранние годы кружка заглядывал туда и Блок. 21 мая 1917 года он записывает, между прочим: "Я пришел почему-то в робкое Религиозно-философское общество. Тату и Нату приятно было увидеть. Говорит Мейер, говорит, внедряясь, перед малой аудиторией, по-видимому, присматриваясь к ней. Она какая-то, чёрт ее знает, приличная. Мейер потихоньку подползает к тому, что религиозное разрушение больше обычного революционного, ибо истинные ценности неуничтожимы. Но аудитория скромна. Она все выслушивает, и все ей нравится... Есть боязнь не разрушения, а опустошения..."

А. Мейер, по записи Блока, отдав должное и большевизму, указав на положительные стороны марксизма, перешел к его отрицательным сторонам: "Величайшая отрицательная сторона - нечувствие свободы, материалистическое отрицание личности; а свобода есть только свобода личности, иной свободы нет..." Заговорил Карташев, закрыв глаза, хлопал в ладоши, бледнея. "За марксизм, за приказ № 1, за удар в спину - отместится второй войной".

Конечно, в середине двадцатых годов в кружке уже не говорили столь откровенно, но арест членов кружка был в советских условиях неизбежен. Остатки библиотеки сестер были для меня, только что прибывшего после пятилетнего пребывания в Ухто-Печорских лагерях, целым откровением. Сидя часами на полу у книжной этажерки с подложенным под поломанную ее ножку кирпичом, жадно пробежал я по страницам толстых увражей и тоненьких книжек со стихами Ахматовой и Гумилева, Кузмина и Мандельштама. "Переписка из двух углов" Гершензона и Вячеслава Иванова, "Младенчество" Вячеслава Иванова, книги Блока и, конечно, Зинаиды Гиппиус - все с авторскими посвящениями сестрам. И

осколки знаменитого альбома с рисунками тети Таты - всеми этими болотными попиками и мелкими бесенятами, которых так любил рассматривать Блок, вдохновившийся ими и написавший свои "Пузыри земли".

- Когда я рисовала портрет Александра Александровича, - шелестела Татьяна Николаевна, - он немало читал мне своего. И часами разглядывал мои альбомы. И он, и Боря (Андрей Белый) любили тогда мои рисунки.

Тата была достаточно деятельным, хотя и второстепенным персонажем в жизненной драме Александра и Любви Блоков - и Андрея Белого. Не признавая "плотского" брака, будучи противницей и брака церковного, измучившая вконец своего возлюбленного - богослова А. В. Карташева "безжалостным отношением... к большим вопросам любви" (как писал об этом Карташев), увлекалась Тата гностическим учением о духах парных и непарных - поддерживала, исходя из этого, хотя и тихо, но настойчиво, притязания Андрея Белого на взаимность со стороны Любви Дмитриевны Менделеевой-Блок. 13 мая 1907 года она писала Белому: "...Саша (Блок)... одиночка: сам на себе держится, и отсюда творчество его - и затем лучи от себя и в себя, для пополнения своей личности. Вы, Боря, - без любви половина, не жизнь - ожидание жизни. Не творчество - ожидание творчества. А Люба кто? Безусловно, тоже тип "брачный" - двойной (или половинчатый), потому что вы ею пополняетесь, она в вас вся. У Саши может быть много любовей, влюбленностей, а любовь к себе - праведная, потому что полная, единая и вечная. Может быть, менее полная, чем у брачного человека. А вы и Люба - одно. Ни она одна - ни вы одни".

Блок сильно морщился, негодовал - его бесило вмешательство в его личную жизнь и в его дружбу-вражду с Белым. Вырывалось у него иной раз, как, скажем, в

письме к Белому (15-17 августа 1907 г.): "Ох, уж эта Тата, Зина, Чулков, Вяч. Иванов и пр. и пр. Не верьте рассказам и предположениям третьих лиц". Но все-таки дружбы с сестрами он не порывал.

Все эти перипетии сложнейших взаимоотношений, вся эта мистерия неземных любвей и земных и inferнальных измен то и дело в каком-то туманном калейдоскопе обрывков и воспоминаний возникали в тихих и нестройных, неторопливых рассказах Таты. Ната очень редко вставляла словцо-другое.

В самом начале войны убежавшие из Новгорода советские войска наряду со всеми другими домами города подожгли и старый домишко, где жили сестры Гиппиус. И переселились они, потеряв все решительно, что оставалось у них, в один из домов уцелевшей пригородной Колмовской психиатрической больницы. На территории этой больницы сосредоточились почти все новгородские погорельцы - местная ссыльная интеллигенция.

В домике врача-психиатра и церковного деятеля, бывшего солдовчанина Ивана Михайловича Андриевского чуть ли не ежевечерне стали собираться для бесед, чтения своих произведений С. А. Аскольдов, А. Н. Егунов, поэт и ученый-эллинист, его брат, поэт и прозаик, сестры Гиппиус, ряд других лиц, так или иначе причастных к литературе и философии, науке и богословию. Тетя Тата немало рассказывала о религиозно-философских собраниях, о круге лиц, собиравшихся у Мережковских, о Блоке, Белом, Резанове.

Из некоторых фраз Таты и Наты можно было понять - хотя об этом не рассказывалось, - каким домашним деспотом была старшая сестра - Зинаида.

Потом судьба забросила нас в Псков, где сестры Гиппиус, их друзья - монахиня Ольга Репина и худож-

ница и реставратор Н. С. Благовещенская, тоже бывшая насельница лагерей НКВД, а потом ссыльная, новгородский археолог В. С. Пономарев и я с матерью - все мы поселились в одном большом деревянном доме у церкви Пароменья на реке Великой.

Немцы, заказывавшие Тате и Надежде Сергеевне Благовещенской акварели с видами Новгорода и Пскова, а Натe глиняные раскрашенные фигурки русских баб и мужиков, прозвали этот дом "Кунстколони", но платили нищенски, особенно офицеры: за акварель - фунт или полтора плохого хлеба, за глиняную фигурку - тоже не больше. Солдаты были щедрее. Но нужно было жить - а это был единственный источник существования.

Помогали как-то выжить несколько офицеров из числа бывших белых эмигрантов, русских немцев, часть из которых и говорила-то по-немецки с невероятным русским акцентом. Все они ненавидели нацизм и, почти не скрывая, были русскими патриотами. Часть из них сражалась в войну 1914-1918 гг. с немцами, будучи офицерами русской царской армии. Они-то и помогли сестрам Гиппиус выехать из Пскова, когда к нему приближалась советская армия, в Штеттин. Один из этих офицеров был знаком с ними еще с питерских времен, бывал частым посетителем салона Мережковских.

В Пскове, живя в соседней с комнатами Таты и Наты комнате, я особенно близко подружился с ними. И меня всегда поражало какое-то странное сочетание доброты, благодушия, истинной религиозности - с какой-то затаенной неоткрытостью, замкнутостью в себе (особенно этим отличалась Тата) и наличием явно темной мистики, не слишком осознаваемой самими сестрами.

Будучи чрезвычайно религиозными, строго и истово церковно-верующими, они вместе с тем, насколько мне

помнится, никогда не исповедовались. Их воззрения поражали близостью к гностицизму.

Тата писала иконы - и писала, молясь, постясь, с полной отдачей себя изображаемому, но как страшны были какой-то обезличенностью и даже отверженностью глаза ее Спасителя, святых! Особенно вспоминается одна картина, изображающая явление в диком поле чудотворной иконы Богоматери. Образ как бы приподнимали какие-то ядовитые цветы, какие-то страшные, невиданные травы, как будто мохнатые руки нежити. Недаром рисовала издавна Тата болотную нежить - привязалась она к ней и плотно влипла в ее душу: добрую, но слишком слабую, да еще подавленную Зинаидой.

★

Читаю изданный в 1970 г. Академией Художеств СССР и издательством "Искусство" в Москве первый том весьма серьезного и сравнительно объективного библиографического словаря "Художники народов СССР" и нахожу там заметку: "Благовещенская-Васильянова, Надежда Сергеевна, художница прикладного искусства, р. 1881 в с. Усть-Ижора (Петербургская губ.), ум. 1943 (или 1944) в Ленинграде. Училась в Петербурге - в Рисовальной школе Общества Поощрения Художеств, затем - в мастерской Я. Ф. Ционглинского. Участница выставок с 1906 г. В 1918-1937 гг. (с перерывом) работала на Ленинградском Фарфоровом Заводе. Исполняла эскизы росписей для фарфоровых изделий. Написала пейзажи "Катыши", "Облако", "Сиверская" и др. (1930-е гг.). Работы Б. имеются в Государственном Русском Музее, Музее керамики и в усадьбе Кусково (XVIII в.)".

Я часто пересматриваю ее акварели: старый Петербург, храмы Новгорода и Пскова, новгородская деревня Нащи, Сиверская, затем - Кульмбах, Бамберг, Кассель, окрестности Касселя... Нет, Надежда Сергеевна не умерла в Ленинграде "в 1943 (или 1944)": умерла она 17 июня 1967 г. и похоронена на самом старинном кладбище Вашингтона, рядом с моей матерью, ибо с начала 1942 года она, одинокая художница, сначала - заключенная в лагерях НКВД, затем - ссыльная, затем - в Новгороде - "попавшая в оккупацию", стала членом нашей семьи, как бы сестрой моей матери. И немало людей, знавших ее по Новгороду и Пскову, по Риге и Берлину, по скитаньям от Мариенбада до Касселя и от Мюнхена до Америки, вспомнят о ней хорошо.

Надежда Сергеевна - дочь столичного протоиерея, академика, в молодости служившего и в Париже, в посольской церкви на рю Дарю. В классе Яна Ционглинского в Академии Художеств она училась одновременно с Шухаевым, Рубцовым, Александром Яковлевым. Захаживал в мастерскую Ционглинского и его приятель, любивший порисовать, великий певец-актер Иван Васильевич Ершов, любовь к которому Надежда Сергеевна свято сохранила до самой смерти.

На Фарфоровом заводе, бывшем Императорском, куда пригласил ее художественный руководитель завода Сергей Чехонин, Надежда Сергеевна работала в 1918-1922 гг., а позже была одним из главных художников-реставраторов древних русских икон в мастерской при Русском Музее. Затем отдел иконописи, как царистско-помещичьего искусства, направленного на одурманивание народа, был разгромлен одним из тех авангардистов, которые сейчас считаются светилами русского искусства и мучениками его. Не следует, впрочем, забывать, что эти мученики бывали и мучителями и

далеко не всегда ограничивались идейно-художественными методами борьбы. Надежде Сергеевне пришлось рисовать для заработка в Ботаническом саду, куда устроил ее акад. Комаров.

А затем наступил тот "перерыв", упомянутый в скобках в советском словаре. Глубоко верующая, принимавшая деятельное участие в делах церкви, да еще дочь протоиерея, Надежда Сергеевна была осуждена за "церковную контрреволюцию" и отправлена в Дальневосточные лагеря НКВД, так называемый "Дальстрой". Еще счастье, что она получила "детский срок" - всего три года заключения с последующей ссылкой. Благодаря этому она попала в самый близкий к Владивостоку лагпункт, куда с большими сроками попасть было невозможно.

Само этапирование длилось нескончаемо долго и мучительно. В теплушки, рассчитанные на 20 лошадей или 15 коров каждая, заталкивали до 100-120 человек, как-то размещавшихся впитык друг к другу на двойных двухэтажных нарах. Если поместить в такую теплушку больше 15 коров, можно нанести непоправимый ущерб народному хозяйству страны: скот надо щадить. Ну, а 100 или даже 120 женщин: "религиозницы", монахини, проститутки, инженеры, воровки, артистки, колхозницы, работницы и лесбиянки - они ведь не скот, они выдержат тот месяц с небольшим, пока поезд ползет от Питера до Владивостока, выстаивая сутками на запасных путях, на полустанках и просто в степи...

Конвой лениво матерился, воровки и проститутки кричали конвоирам: "Даешь мужчинку, братва!" - монахини и религиозницы тихонько молились, баптистки пели, а предводительница лесбиянок, сестра знаменитого русского режиссера, в мужских галифе и кепке, басом уговаривала молодую опереточную артистку отбросить

хлам предрассудков и отдаться красивой страсти... "Когда я была - еще до войны - в Паиже"... - говорила она и закуривала свернутую из газеты козью ножку махры... Подчеркнуто грустируя, беседовала по-французски с какой-то старушкой, "осколком разбитого вдребезги прошлого". На крупных станциях выдавали заключенным по ржавой селедке, ком мокрого, похожего на глину хлеба, щепотку сахара и - как роскошь - по кружке кипятку. Допроситься у конвоя воды на полустанках было труднее, чем войти в Царствие Небесное.

Сельскохозяйственным лагпунктом Дальстроя, куда попала Надежда Сергеевна, заведовал агроном, бывший заключенный, бывший "вредитель", татарин, очень хороший специалист и очень порядочный человек. Конечно, вскоре он получил новый срок, и его перевели куда-то. Но пока он был начальником лагпункта, он, как только мог, облегчал положение заключенных, старался улучшить их питание, заботился об одежде и о более или менее приличном состоянии жилых барачных бараков. Конечно, эта лагерная "идиллия" не могла длиться долго, но в памяти Надежды Сергеевны, как правило, сохранялось только хорошее, плохое, трагическое она сознательно или бессознательно стремилась забыть.

"Проститутки? О, они очень хорошие друзья в беде. Ну, конечно, грязно ругаются, но чаще всего добрые бабы... - говорила она. - Какие среди воровок встречались таланты! Как Маша Чумовая играла на клубной сцене Катерину в "Грозе"! Конечно, обворовывали нас. Но что у нас взять-то было?! И то, чаще всего грабили нас, когда совершенно проигрывались в карты... А ведь не отдать проигрыш - это нож под ребро. Ничего, и к ним можно было найти человеческий подход... Одна воровка помогала мне писать декорации. В свободное от

огородов время я писала декорации и даже играла на сцене комических старух...”

После лагеря - ссылка на Малую Вишеру, потом в деревню около Бологого. Но и там удержалась недолго: помогала местному священнику, читала на клиросе. Загнали в такие глухие болота, где и заработать решительно ничего нельзя было, и до какого-нибудь городка, чтобы попытаться получить хотя бы небольшую сдельную работу, трудно было добраться.

Наконец, заменили ссылку высылкой, - и ей удалось попасть в Новгород. Там реставрировала древние иконы в музее, старое шитье (вместе с сестрами Гиппиус). Но и тут платили бывшим заключенным "контрикам" такие гроши, что прожить на них было невозможно. Пришлось поступить, кроме музея, и в детский сад, который посещали детки местных номенклатурных работников.

Туда - тоже за грошевую плату - брали бывшую контру охотно, ибо родителям из местной партийной знати все-таки хотелось, чтобы на их отпрысков навели какой-никакой лоск. А кому ж и наводить, как не "бывшим": ведь сама "дилекторша" детского сада, например, тщетно добивалась, чтобы ей в магазине подобрали "достаточных объемов бухгалтер". На недоуменный вопрос продавца: "Что именно вам требуется, гражданка?" - рассмеялась: "Ну, и беспонятный... Ну, такой, чтоб в грудях не жал оченно..." Впрочем, и первый секретарь горкома партии упорно в речах употреблял выражения сугубо интеллигентные: "после фактум" и "домкратов меч"...

Затем - общая для всех эпопея: захват Новгорода немцами, выселение гражданского населения, вернее, его жалких остатков, из вконец разбомбленного города в более отдаленные от передовой линии фронта села. Рисование акварелей за краюшку хлеба для немецких

солдат и офицеров (причем, солдаты платили все-таки щедрее, чем офицеры); затем - Псков, Рига, Германия, лагеря перемещенных лиц, Америка... Начиная с Пскова, она вошла в нашу маленькую семью в качестве, так сказать, "приемной тетки"...

В Нью-Йорке и в Вашингтоне она дружила со старейшей русской писательницей Зарубежья А. В. Тырковой-Вильямс, с рядом деятелей церкви, с некоторыми художниками. Любили слушать ее рассказы покойные Б. И. Николаевский и В. М. Зензинов, удивлявшиеся ее всегдашнему оптимизму.

Еще одна судьба. Судьба, конечно, рядовая. Она живо вспомнилась мне, когда я, совершенно неожиданно для себя, прочел заметку о Н. С. Благовещенской в советском словаре "Художники народов СССР".



"Лагеря перемещенных лиц", "лагеря ди-пи"... Как много и трагического, и трагикомического напоминают эти названия! И ведь это - отнюдь не мелкий, случайный эпизод в русской жизни: население этих лагерей - это ведь по численности целое небольшое европейское государство... И до сих пор незаживающей раной у не потерявших еще последних осколков совести людей свободного Запада лежит на душе кровавая насильственная выдача миллионов советских граждан на расправу "доброму дяде Джо". Но сейчас, когда все это уже "за гранью прошлых дней", вспоминаются и комические эпизоды теперь уже давнего, очень давнего прошлого.

В кассельских лагерях "ди-пи" в 1945 году в репатриационной комиссии восседал толстомордый капитан-чекист Лобанов. Сколько тогда ночами, перед

вызовом в комиссию, делалось новых, дополнительных к уже сфабрикованным, документов, доказывающих, скажем, что Онищенко Осип Трофимович, 1907 года рождения (в прошлом - счетовод колхоза имени тов. Котовского), является г. Онитшенко Жозефом, родившимся в городе Амьене, бесподданным. Печати для этих удостоверений делались с большим профессиональным умением, вырезались на коже, рисовались на толстых ломтях сыра химическим карандашом, один профессиональный гравер искусно резал их и на линолеуме. Города для рождения и проживания в них Онищенко и Ивановых, Тер-Абрамянов и Халамбаевых выбирались чаще всего из числа дотла выжженных и разбомбленных, чтобы никаким способом нельзя было бы добиться проверки документации в тамошних учреждениях и архивах.

Но "помогала" у капитана КГБ Лобанова, к великому огорчению, оказался дотошным и знавшим кое-как французскую мову, на каковой он и задал Онищенко какой-то вопрос.

- Що вин говорить? - повернулся ко мне, ожидавшему своей очереди идти на пытку допроса и опроса мнимому жителю Латвии, озадаченный Онищенко.

И на вопрос, уже по-русски, как он, родившийся и постоянно проживавший в Амьене, не знает французского языка, Онищенко, уже оправившийся от неожиданности, невозможно ответил:

- Та я ж усю жизнь жил у лёсе, з лёсу и не выходыв...

А другой бедолага, окончательно запутавшийся в невнятице вчера только сфабрикованной ему документации и никак не могший произнести названия городка, где он появился на Божий свет, на вопрос - где же он все-таки родился? - безнадежно махнув ручищей Микулы Селяниновича, тускло ответил:

- Нигде.

Потом жизнь как-то наладилась. В бараках бывших лагерей военнопленных или иностранных рабочих разместились семьями: три-четыре человека в крошечной комнатухе. Одиночки, набитые как сельди в бочке в такую же конуру, отделялись друг от друга для надобностей интимной жизни (как выразился один лагерный поэт) кто картонными переборками, кто просто повешенным на веревку серым солдатским одеялом. Быт стал уже как бы и устоявшимся, со своими горестями и малыми радостями, любовью и ревностями, навыками и обычаями. Возникли лагерные гимназии и балалаечные оркестры, церкви и хоры, лагерные стационарные и бродячие театральные ансамбли (даже и вполне профессиональные), наладилась даже и дипийская печать, сразу ввязавшаяся в политические споры и раздоры, организовывались и литературные вечера и даже объединения. Все, как полагается в приличной эмигрантской жизни.

Помню, приехал к нам, в Менхегоф, тогда являвшийся колыбелью небезызвестных теперь по обе стороны железного занавеса "Посева" и "Граней", хороший, талантливый писатель и великий чудак - Алексей Ивановский. Коренастый бородач, с длинноватыми волосами, стриженными под горшок, он был и по внешности колоритнейшей фигурой тогдашнего литературного Олимпа лагерей перемещенных лиц. Его очень почитали в калмыцком лагере Пфаффенгофен, принимая чуть ли не за перевоплощение какого-то буддийского святителя; уважали его глубоко и в немногих, но стойких общинках эмигрантов-староверов. Выступил он на собрании нашего маленького литературного объединения "Отчий дом". Послушали мы его рассказы, посудачили, поспорили - пора и на боковую.

Соседняя с моею комнатенка-щель в нашем бараке бы-

ла как раз на два-три дня свободна: ее жительница, веселая и не слишком строгих нравов Афродита Павловна поехала в гости в Мюнхен к своей давней подруге. Не удивляйтесь имени этой хорошенькой полтавчанки: ее сестру тоже звали по-античному: Дианой Кособрюховой. Ключ Афродитка от своей комнатки оставила мне:

- Ты можешь, мол, в эти дни распоряжаться этим логовом, как сам знаешь...

Вот я и устроил там на ночь своего приятеля Ивановского, да и сам уместился в комнатке Афродиты, на койке уехавшей с нею Дианы. Поболтали еще с полчаса, потушили свет, уставши молотить языком.

Среди ночи нас пробудил шум. Какой-то вполпьяна верзила, ввалившись в комнатку и даже не засветив тусклую и засиженную мухами лампочку, с размаху бросился на койку Ивановского и, страстно обнимая Алешу, задышал на него самогонным перегаром:

- Афродитка, не ждала? Это я, Петя...

И внезапно отрезвел, нащупав окладистую жесткую бороду в испуге приподнявшегося писателя:

- И как это я ошибся баракон... Окосел, значит, совсем от самогону. Благословите, батюшка, раба Божьего Петю, - и тяжело рухнул на колени перед мнимым служителем Церкви...

Сколько тогда рождалось и безвременно помирало журнальчиков и газет! Сколько издавалось книжек и тощих брошюр! До сих пор у меня хранится тоненькая сизая тетрадошка, выпущенная в Ландсгуте или в Мюнхене издательством под непритязательным названием "Эстет". Автор укрылся под инициалами А. А. К.-К. Брошюрка содержала двенадцать стихотворений на религиозные темы, "навеванные искренней верой и глубоким чувством", как сам автор предварял свои стихи в кратком предисловии:

Почему не сейчас?
Не пора ли теперь!
Нам не медля пойти бы туда,
Где широко открыта небесная дверь,
Где мы слышим ученье Христа.

И, чтобы еще более "подойти бы нам ближе к Христу", - автор книжки поместил среди своих виршей и стихотворение "Отцы пустынники и жены непорочны", как бы посвященное им Пушкину (под названием "Молитва" он маленькими буквами набрал: "А. С. Пушкина").

Написал я тогда, в очередном обзоре эмигрантских изданий, о "нашествии Аакакакеров на русскую литературу", и автор, оказавшийся дюжим мужчиной с кулачищами боксера, долго доискивался - кто это был "К. С." (так был подписан мой обзор) и где он, сволочуга проживает?

- Надобно ему хорошенько набить морду...

Времена были тогда нелегкие и многие меняли свои не только фамилии, но и имена, чтобы не попасть в объятия симпатичнейшего дядюшки Джо. Тогда-то и я стал Филипповым. И получил раз, на редакцию "Посева", длиннейшее выразительное письмо:

"Напрасно ты, подлец, думал укрыться. От меня не убежишь. Ты думаешь, не найду на тебя, гад, управу? Ты не только бросил меня с детьми, но и обобрал, змей. Твоя верная жена Марфа Филиппова".

А дня через два в редакцию явилась и сама Марфа с двумя довольно уже великовозрастными детьми, но, узрев меня, разочарованно вытянула губы:

- Извиняюсь, вы не тот.

Нужно быть справедливым, однако: женщине с детьми было в те годы, ох, как нелегко. И нужно быть справедливым и к тому времени: в те же дни началась

литературная деятельность не только Аакакакеров, но и ныне здравствующих Леонида Ржевского и Ирины Бушман, Геннадия Андреева и Лидии Алексеевой, Ивана Елагина и Ольги Анстей, Олега Ильинского и Нонны Белавиной, Бориса Нарциссова и ряда других, в том числе и скромнейшего автора этих "шкатулок с двойным дном". Тогда же народились на свет Божий и ныне здравствующие "Грани" и "Посев" - а не только высоко-эстетское издательство "Эстет".

Кстати, недавно я держал в руках небольшую переплетенную книгу. В одном переплете оказались брошюрки этого самого эстетного издательства, в том числе ряд выпусков "Приключений Шерлока Холмса" и "Романы Гитлера". И я с наслаждением просматривал эти брошюрки, как известного рода реликвию тех далеких, голодных и бесприютных дней, утешавшихся литературой о другой, беспечной жизни: "...Вереница мраморных столиков блестела своей наготой под большими зеркальными окнами. Гарсон Жульен бездельничал на пороге входной двери и мял в руках свою салфетку..."

Хорошо! Право, хорошо.



...Если жизнь, никак творчески не претворенная, пронзает игру-искусство, она разрушает ее. Но если искусство-игра проникает в реальную жизнь, она может и восполнить ее. И восполняет. И особенно в кризисные, революционные моменты. Еще Маркс заметил, что в революциях весьма существенным их элементом является *ряжение*. Кромвелева революция XVII века рядилась в суровые библейские (как их видели в том столетии) одеяния и словоформы, Великая Французская следую-

щего века - в римские тоги и ораторски-сенаторские позы и формулировки Вечного Рима (каким его представляли в век Винкельмана, Давида и Гудона). В моменты кризисного подъема все это почти неизбежно, и становится смешным много позже: нам не смешны наряды прабабушек, но комичны костюмы матерей и отцов.

Вспоминаю первую встречу в Нью-Йорке 1950-го года с А. Ф. Керенским. Я только что приехал в Америку и пришел горячо поблагодарить своего спонсора, святого атеиста и социалистического аскета, исключительного по доброте и благородству человека В. М. Зензинова.

- Вас зовут к телефону, - сказал мне Владимир Михайлович.

- С вами говорит, - услышал я патетически приподнятый, барски-социалистический, явно с ораторской жестикуляцией голос. - С вами говорит А-лек-сандр Федо-ро-вич Ке-рен-ский. Я был бы рад встретиться с вами, ска-а-жем, завтра в шесть...

И вот я у "трагического тенора революции", жду его появления в его старомодном сумрачном кабинете. Да, если Ахматова метко назвала Блока "трагическим тенором эпохи", то к Керенскому это звание подходит в еще значительно большей степени, - с некоторой сегодня, впрочем, трагедофарсовой изнанкой.

- Здравствуйте, - раздался отчетливый, выработанный всей жизнью, но немного носовой, древнеинтеллигентского образчика, голос вошедшего как-то неслышно в кабинет хозяина. - Вы так недавно еще из Совдепии (именно Совдепии, а не СССР), - так что же там думают в... э-э... несогласных с режимом кругах - обо мне?

Указательный и средний палец правой руки засунуты за пуговички жилета. Походка надломленного, но до конца не разбитого премьера-главноуговаривающего, и где-то в самой глубине сознания затаившаяся боль

обиды исторического неудачника, не сдающего ни своей позиции, ни своей позы. Чуть-чуть наполеоновский убыстренный шаг и позитур, чуть-чуть дантоно-государскодумская - декламация:

("Солдаты! Сорок веков глядят на вас с высоты этих пирамид!")

- И поныне я не отрекаюсь от той позиции, которую занял в июле семнадцатого... Российский Этицизм, Мораль Российской Революции... - и, конечно, по-символистски начала века - все с высот заглавных букв...

Понятно, явно подсознательный исторический маскарад: Дантон, помноженный на народолобца Лаврова, с большой примесью великого корсиканца и политического адвоката (а ведь адвокатами были чуть ли не все деятели Великой Французской!), да еще с прививкой русского церковного велеречия (Керенский был глубоко верующим православным человеком). Смесь достаточно гремучая, но сам хорошо помню, как она впечатляла в начале "Великой Бескровной". А только... только вот правила-то игры устарели на три с лишним десятка лет. А в соответствующее время без этой приподнятости тона для большинства людей - нет и нужного эффекта. Ибо нужна даже некая маловразумительность речи - для ее наибольшей приподнятости и доходчивости прямо до сердца слушателей.

В Белой Глине, уездном центре, большом селе Ставропольской губернии, 7 ноября 1921 года, в 4-ю годовщину Октября, шел в заплеванном подсолнухами клубе торжественный митинг. Я, тогда еще шестнадцатилетний несмышлёныш, был послан в это село Губполитпросветом на подмогу местному активу. Председатель уисполкома, корявый, но умный мужик, часа два тянул свою речугу, разделив историю великого Октября на три "мировых стадии". Первую он назвал степенью и начал

ее, это, как указуе Энгельс, с первоначального христианского коммунизму, основанного в пятом веке Иисусом Христом, которого, впрочем, не было. Вторую стадию он уже наименовал ступенью, и это началось с так называемой якобы Великой Французской Революции, которая буржуазная, но всеж, так ска-ать, шаг, вполне соответственно адекватный тому историческому моменту. Третья *ступендия* - это наш Великий Октябрь, основанный мощной рукою гегемона пролетарията в лице мировых вождей Ленина и Троцкого, указавших и нам, крестьянам трудящим, чтоб бросили нашу рабскую сипсологию: как начальство, то перед им на земь - рыбкой...

Мощный оркестр клуба - два баяна, две балалайки и бандура - сыграли "Интернационал" и "Светит месяц", и расходящаяся аудитория, вытаскивая пригоршнею подсолнухи из-за отворотов-дыкольников краснощеких девок и молодаяк, убежденно отмечала, что оратор двинул ха-арошую речугу...

Если бы этот самый Свистунов или Зачыни-Ворота двинул речугу без общемыровых промблем и адекватных ступендий (раз даже назвал ее стипендией), то речуга бы никак не воздействовала на слушателей. А так - правила игры были соблюдены на совесть.



Был он талантливейшим рассказчиком, и бесконечно жаль, что не было у нас тогда магнитофона, и не записаны его колоритнейшие, прекрасным московским языком рассказанные были о старой Москве, купеческой и издательской, газетной и репортерской. Не раз бывал он в те годы и в Париже, и в Берлине, и в Лондоне, а,

главное, в Лейпциге, куда нередко ездил за новейшими типографскими и литографскими машинами и материалами. Ведь был он одним из главных компаньонов Сытина, основным его финансово-организационным помощником. Фирма его матери - "Евдокия Коновалова с сыновьями" - долго конкурировала с Сытиным в издании народных календарей, но вскоре со всем своим капиталом влилась в сытинский издательский колосс, в первом десятилетии века купивший и издательство А. Ф. Маркса, и Марксов же популярнейший и распространеннейший семейный журнал "Ниву", прославившийся своими приложениями. Переговоры о приобретении "Нивы" и издательства Маркса вел как раз Александр Андреевич Коновалов.

- Александр Андреевич, почему вы не напишите воспоминания?

- Непременно напишу, вот только надо собраться со временем...

Александр Андреевич был инициатором ряда замечательных многотомных изданий Сытина, "Детской энциклопедии", например. Для нового приобретения - "Нивы" - набирал иллюстраторов, литографов, граверов, метранпажей, квалифицированных ручных наборщиков.

- Немалое их число, иной раз чуть ли не половину, набирали мы в пятачковых и трехкопеечных ночлежках, преимущественно на Хитровом рынке. Сидели там спившиеся мастера почти безвылазно. Выйти никуда не могли - пропили все: обувь, одежду, даже нижнюю рубаху. Валялись на полу в одних драных кальсонах. Снимут крест нательный или медальон с портретом покойной жены, заплачут даже, но ведь нужны денежки на пропой, и пошлют кого-нибудь из ночлежников за водкой, из тех, кто хоть как-то одет. А были среди этих пьянчужек работники - золотые руки: не только

наборщики и литографы, а и живописцы, и граверы, окончившие с отличием Академию Художеств, и корректоры со знанием пяти языков. Были на Хитровке и бароны, и графы, даже один князь, кажется, из Рюриковичей.

Набирали мы работников два-три раза в год. Перво-наперво тут же накормишь мастеров, пошлешь в магазин готового платья и обуви - оттуда пришлют все, что надо. Оденешь голубчиков и - в баню: ведь многие чуть ли не по году не мылись, не брились. Там их выпарят, простите, выморят насекомых, - ну, и уж тогда их к нам, в издательско-типографские корпуса, под замок. Денег за два-три месяца, что у нас проработают, - ни-ни, ни копейки. Заработок, честно, без обмана, а как по квалификации полагалось, выдавали сполна при последнем расчете. А ежели бы давали во время работы, даже под замком нашли бы они способ напиться до зеленых чертей. Кормили их на совесть, даже три раза в день по рюмке водки давали. А одному барону-граверу по вечерам бокал шампанского подносили. Работали наши ночлежники, как звери, повторяю, лучших работников и пожелать грех. Но редко кто выдерживал больше трех месяцев. В конце третьего уже глаза с мукой, разговор мутный - одолевает тоска. Тогда уж делать нечего: опять запьют, не только все денежки, а и все с себя пропьют. Только один у нас хороший был литограф - проработал зараз пять месяцев. А потом запросился: не могу, мол, душа горит.

Через два-три месяца у нас опять "мобилизация кадров", как говорят в Совдепии, - до очередной тоски по запою. Да что там! Знаете картину знаменитую "Грачи прилетели"? Так художник-то Саврасов тоже у нас побывал один разок, но выдержал без запоя всего неделю.

О каких рассказывал Александр Андреевич газетчиках и репортерах! И о дяде Гиляе, и об издатель-редакторе газеты "Копейка" Пастухове, в юности пришедшем в столицу в лаптях, а уже годам к сорока ставшем миллионером. Догадался он печатать газету "Копейка" на тончайшей бумаге, годной для скручивания сигарок из крепчайшей махорки: вот мужики и рабочий люд и повысили тираж газеты до невозможности. И еще: стал Пастухов печатать в своей газете романы-фельетоны с продолжениями, иной раз два-три года печатается такой роман - и обязательно с завлекательной фабулой. Один из романистов (я, к сожалению, забыл его фамилию - Александр Андреевич называл ее) за каждое убийство в своем романе брал сверх гонорара по пятьдесят рублей. Но когда он обнаглел и устроил кораблекрушение с тысячей жертв, правда, попросив за каждую жертву только по полтиннику, редактор его прогнал.

А вот - знаменитый Александр Котылев, покровительствовавший А. М. Ремизову, который охарактеризовал его (у Ремизова он частенько не только Котылев, но и Кот-и-Лев) как "короля петербургского шантажа, газетной утки и скандала". Он и в Москву наезжал нередко. Ни одной купеческой свадьбы, ни одних крестин у миллионщиков и даже стотысячников не обходилось без Котылева. И всегда под салфеткой у его прибора - не менее трехсот, а чаще - пятьсот целковых - чеком или сотенными бумажками. Не положат подарка - так осрамит на всю Россию в своем "Петербургском Листке" или "Петербургской Газете", а то и в "Биржевых Ведомостях", что потом беды не оберешься. Да и ценили его: и рекламу может создать, и крепкий мужик: не одного редактора по морде откатал, а одного издателя избил в лоск. Такого не одарить - Бога и судьбу искушать... Всегда одет с иголочки, в лощеном цилиндре, да и женат

на ком? Он и в либеральные круги через жену вхож: она у него внучка самого идеолога народничества Лаврова. И сама писательница. Писала повести и рассказы под псевдонимом С. Миртов. Плохие, да разве можно отказать внучке самого Лаврова?! Вот и вышло: муж - король репортажа и шантажа, а жена - из социалистического экипажа: тут нужно держать ухо востро - по двум линиям Котылев нагадить может.

Замечательной особенностью рассказов А. А. Конова-лова был их эпический тон, нацело лишенный морализирования. Он даже как будто немного любовался лихостью и нахрапом всяких котылевых.

Сам начавший с коробейничества, Сытин до самой революции не порывал связей с огромной армией коробейников, по всей России, в самые ее глухоманные углы разносивших сытинские буквари и календари, трех- и пятикопеечные книжки - и не только с "Бовой-королевичем" или "Разбойником Чуркиным", но и с рассказами и поэмами Пушкина и Лермонтова, повестями и рассказами Гоголя и Тургенева, рассказами и народными повестями Льва Толстого.

Сытин, купивший у Александры Львовны Толстой завещанные ей права на издание полного собрания сочинений Толстого (дело о покупке вел тоже Александр Андреевич); Сытин, издававший лучшую и самую распространенную русскую газету "Русское Слово", - прекрасно знал и массового сельского читателя. И два раза в год, весной и осенью, в нижнем этаже одного из сытинских корпусов дня на четыре, а то и на пять собирались со всей России толпы коробейников. Им ставили там походные кровати, бочки с пивом и квасом, трижды в день хорошо и сытно кормили с чаркой водки, а то и наливки, и снабжали не только сытинским книжным товаром, но и наперстками, нитками, пачками

махорки, лентами и дешевыми гребнями, а для души - молитвенниками и Евангелиями. Коробейник - это сельский универмаг, без галантереи сытинский товар не пойдет. И все - в кредит. Получили кредит весной - рассчитываются осенью. Получившие осенью - производят расчет весной. И обманщиков бывало немного. За эти весенние и осенние четыре-пять дней через "прием" у Сытина проходило от трех до четырех "волн" коробейнического прибоа; каждый оставался у Сытина на одну ночь и один день, а получив товар, отправлялся в дорогу.

Уже в конце прошлого и начале этого века каждый купец-миллионщик, а то и стотысячник, хошь-не хошь, а должен был иметь для престижа содержанку-французенку, обязательно парижанку - из каскадных и кафешантанных певичек, редко - опереточных див. Ну, проверить, конечно, трудно. Да и кто станет проверять? И за парижанок сходили рижанки и минчанки, на худой конец, харьковчанки, лишь бы с виду отличались от рязанско-мордовских и умели картаво сказать по-парижски хотя бы: "Сапети, мапети, пуркуа муа". Но сам Александр Андреевич вывез свою французенку прямо из Парижа. И оказалась она алжирской арабкой.

- Была она мне вовсе ни к чему. Да и худа была - чистый скелет. Жена и не ревновала. Понимала, что это - для престижа только.

Некоторые из этих купеческих альмей, поднакопив денег за порой вовсе мнимое содержание, открывали годам к сорока свое небольшое заведение - от шляпного до, простите, и с красным фонариком. Но московские купцы у себя такого не терпели: хочешь завести веселый дом - так заводи его не ближе Коломны или Рязани. Иначе - срам для бывшего содержателя.

А, в общем, было все это как-то по-московски просто и патриархально.

Да, не перескажешь всего, что рассказывал о старой Москве А. А. Коновалов - сам до старости лет, до самого своего конца почти не поседевший, чистый цыган обличем, а никак не замоскворецкий купчина.



Эта бедная эмигрантская женевская столовка была не столько "помещением для принятия пищи" (как замысловато назывались, чтобы избежать "старорежимного" слова, заводские столовые в некоторых - особо ретивых советских городах в двадцатые годы), сколько политическим клубом.

Девятьсот пятый - девятьсот шестой годы принесли ожесточеннейшие споры всегда взлохмаченных и отчаянно жестикулирующих эсдеков-"отзовистов" со сторонниками участия в Государственной Думе. А кудлатые, с задумчивыми или фанатичными глазами эсеры, страдатели-пропагандисты или самозабвенные террористы, всей душой возлюбившие русского мужика, с пеной у рта ругались с марксистами - социал-демократами, хотя сами никак не могли отличить пшеницу от гречихи. Но пели утесе Стеньки Разина, и словом, и делом боролись за лучшую долю народную, запросто отдавая за это и свои, и чужие жизни...

Эти мужиколюбы горячо отбивали лобовую атаку марксистов, сплевывавших в спорах плохо прожеванные (увы, не более переваренные ими, чем нынешними Медведевыми всех оттенков) марксистские догматы об "идиотизме сельской жизни", о необходимости научно верить лишь в железного Мессию - пролетариат, коему

провиденциально присуща способность принести счастье и обновление всей загнивающей Вселенной. И те, и другие - и марксисты, и эсеры - ни Маркса, ни Михайловского не читали, пробавляясь звучной декламационной премудростью тощих слепых брошюрок на шелушащейся, чуть ли не папиросной бумаге. Но ярость споров и раздоров от этого только увеличивалась. Как хорошо об этом времени и этих спорах писал их тогдашний участник, талантливый поэт, покойный мой приятель Александр Браиловский:

Мигает газ под низким потолком,
Струится пьяный дух от прелых бочек,
И высоко истрепанный листочек
Оратор потрясает над столом.
И у него в отравленных глазах
Застыла неподвижная химера,
И кажется - вот выстрел револьвера,
Как аргумент сорвется впопыхах.
Все жарче спор. От группы меньшинства
Поднялся озабоченно оратор,
И звонкий женский возглас: "Ликвидатор!"
Его встречает, как удар хлыста.

И вдруг в эту шумно-ругательную и брызжащую молодым задором идиллию женевской политстоловки первых лет после первой революции тихонько вошло от руки написанное объявление, наклепленное на неопрятную доску партийных и земляческих извещений:

"В ближайшее воскресенье в 4 часа дня в помещении Русской столовой тов. Ф. Я. Семин (БО СР) прочтет реферат на тему: *О вреде искусства*. Вход свободный. Просят не опаздывать".

Объявление наклеивал молодой среднего роста сту-

дент, с темно-русой шевелюрой и рыжеватой остренькой бородкой, одетый бедновато, но опрятно (сразу было понятно, что все свободное от университета время занят он был для хлеба насущного физической работой, случайной и оплачиваемой плохо). Сквозь толстенные стекла очков близоруко щурились светло-голубые добродушные глаза отнюдь не потомственного интеллигента.

- Послушайте, товарищ, - обратился к расклейщику один из социал-эмигрантов, - вы, случайно, не знаете докладчика? Что он - толстовец?

- О, нет.

- Может быть, он клерикал? Семинарист? Церковник?..

- Тоже нет.

- Помешанный? Идиот?

- Мне трудно судить об этом - и ответить на ваш вопрос. Лекцию буду читать я.

Федор Яковлевич Семин (1883-1942) был первым казаком станицы Незлобной - да и всего Георгиевского отдела - Терской области, отправившимся после гимназии в университет - в Новороссийский университет в Одессе. Маленький конопатый казачонок, он и в гимназию-то попал только благодаря невероятному упорству и ненасытной жажде знаний; благодаря тому, что отец его, станичный атаман, уверился: из Федьки хорошего казака не получится, а при ученье он выйдет в люди. Старший брат, Андрей, так и остался простым слесарем или кладовщиком-инструментальщиком - я встречался с ним разок на станции Минеральные Воды, где он служил в 1926 году.

Федя рос босоногим мальчонком, как и все его сверстники. Отличался от них только слабостью здоровья и малорослостью. "Поскребушек", - судачили про него матерые казаки. Отличался он - и это сквозь всю жизнь - только еще исключительной незлобивостью,

добротой, жалостливостью, так что нелегко было поверить, что на первом же курсе университета он войдет не только в партию социалистов-революционеров, но прямешенько их БО - Боевую террористическую организацию. Ведь и родился-то он в станице Незлобной...

Первый певец в школе, он усердно и с любовью учился, но рос самым рядовым казачком, так до второго класса станичной школы не зная даже имени своей матери, очень им почитаемой:

- Как святое имя твоей матери? - спросил как-то его возглавлявший школу священник. - Помяну ее в воскресенье...

- Коновна.

- Ну, а имя-то как ее?

- Да Коновна же...

В станицах замужних так и зовут: Миколавна, Ивановна, Алексевна, Коновна - только по отчеству, имя же сразу забывается, как только Сашка, Манька или Лизавета выходят замуж.

Сказки и песни, прибаутки и загадки - Федя был полон ими не только в детстве.

- Федя, какие пословицы и загадки ты знаешь? - спросил его как-то в школе батюшка. Федя растопырил ноги, округлил у пояса обе руки и почти пропел: "Два конца, два кольца, посередке гвоздик...".

- Стань в угол, нахаленок, - приказал оконфуженный священник.

А Федя никак не мог понять - за что же?

- Ведь это - ножницы, батюшка...

Поступив в ставропольскую гимназию, Федя поселился в семье моей бабушки, как квартирант со столом, - и врос в семью, совершенно уроднился с нею. Он, еще гимназистом старших классов, влюбился в младшую сестру моей матери, Зину, но когда она вышла замуж за

другого, не стал слишком унывать: чтобы остаться навек в этой семье, он, уже много позднее, после возвращения из эмиграции, женился на самой старшей из сестер, Аполлинарии, Пуле, добрейшей и самоотверженной красавице, но лет на семь старше Федора. Я, уже здоровенным семилетним парнюгой в то время, был на их свадьбе и нес образ впереди жениха и невесты. В астраханской церкви, где венчались молодые, только что купили новые венцы и с этих позолоченных корон позабыли даже снять ярлычки с ценой. И меня пребольно дернули за ухо, когда я на всю церковь возгласил:

- А венцы-то, ясно, - фальшивые, не золотые, а накладного золотишка: разве они стоили бы иначе только по двадцать шесть рублей?..

- Экономистом будет, - пророчествовал после венчанья ученый батюшка.

Аполлинария Андреевна, которую в семье все звали Пулей, названа была этим именем не случайно, а, пожалуй что, именно случайно. Ее отец, старый кавказский майор, перед крестинами первенца, дочери, играл по маленькой в карты с сослуживцами. Как раз кончилась "пулька" игры:

- Так первенькая-то у тебя, Андрей Ильич, доченька? Вот и назовем ее Пулей - Пулькой, Аполлинарией: и играли мы с тобой, да и имя самое боевое - Пуля... Кстати, она и в святцах как раз поминается завтра...

Все это - мелкие блески памяти.

В гимназии уже Федя увлекся философией и социальными вопросами и, как тогда полагалось, углублялся в безгранично-страничного Спенсера, водянистого Михайловского, в Милля и Бокля - и позитивистические глыбы вытеснили из его души последние остатки религиозных воззрений. Нет, именно воззрений, а не чувства. Его доброта, его незлобивость, его какое-то

восторженное обожание всего сотворенного - природы, животных, людей - все это по сути было проникнуто неосознаваемой, но глубочайшей религиозностью. Недаром через годы и годы его церковно верующий друг, большой христианский мыслитель Сергей Александрович Цветков, с которым он сблизился в начале двадцатых годов в нашем полуподпольном ставропольском литературно-философском кружке, всегда говорил о Федоре Яковлевиче:

- Не всяк глаголай "Господи, Господи" внидет в Царствие Небесное, а вот Федор Яковлевич будет там наверное раньше многих неверных верных...

А впрочем, безбожником Федор Яковлевич не был никогда. Скорее, как-то уклонялся от этого вопроса. И уж материалистом не был даже и в юности. Но позитивистическая закваска сохранилась в нем, в известной мере, на всю жизнь, хотя он после увлекался и Кантом, и Спинозой, и Лейбницем, а больше всего - Бергсоном.

В Новороссийском университете Семин сразу же попал в шумную и пеструю жизнь студенчества веселого и многонационального большого южного портового города. А ведь одессит - это и есть одессит: он не украинец и не еврей, не грек и не русский, не итальянец и не турок - он одессит. И, пожалуй, есть один отличительный признак одессита, кроме его южного темперамента: если вы спросите одессита и тех, и позднейших лет, что самое замечательное в Одессе, - он ответит: Не в Одессе - во всем мире: наш оперный театр. Он построен по образцу Венской Оперы, но много, много ее лучше. Это ясно и определено. - И так ответит одесский коммерсант и студент-революционер, балагула-извозчик и профессор математики, артист и контрабандист.

Оживленная театральная, коммерческая, научная и общественная жизнь, шумные и недорогие кафе, много-

людные бульвары, яркие витрины магазинов - и все это после сонной станицы и малярийно-спокойного Ставрополя... А на все откликающаяся южная печать, пусть крикливо-суматошная, но живая и многообразная! И тут же - революционные сходки студенчества 1903-1905 годов, землячества, уличные демонстрации... все это целиком захватило Федора Яковлевича.

Не знаю, вступив в террористическую организацию, участвовал ли он лично в террористических актах (он не любил рассказывать мне об этом), но оружие, бомбы, пропагандную литературу он провозил и контрабандным путем из-за рубежа, и любыми путями внутри России.

Тюрьма. Приговор - уж не помню теперь - на пять или восемь лет каторжных работ: это за участие в двадцати двух террористических актах и подготовку к ним. Пусть не осудят меня братья Медведевы, как осуждают они Солженицына за "тенденциозную недооценку террора царского времени". Еще примите во внимание, что приговор-то был произнесен в революционном девятьсот пятом году! В самый разгар революционного террора и военно-полевых судов!

А при этапировании осужденных на каторгу - сопровождавший этап жандармский офицер помог революционеру-террористу Семину бежать... И Федор Яковлевич очутился в Женеве.

О его взглядах на искусство я поговорю в следующий раз. Они интересны уже тем, что он предметом своего исследования сделал не психологию творчества, не эстетику, а психологию потребителя искусства - читателя и зрителя, слушателя. Его заинтересовала природа - психологическая и социально-биологическая - эстетических переживаний.

В 1913 году, в ознаменование трехсотлетия дома Романовых, была объявлена широкая амнистия и Федор

Яковлевич вернулся в Россию. Правда, ему было запрещено проживание в обеих столицах и он состоял под надзором полиции, но это не помешало ему фактически совершенно свободно проживать в любом крупном культурном центре родины и он получил даже место на государственной службе в качестве начальника статистического бюро в управлении Волжско-Каспийских рыбных промыслов, в Астрахани. Не запрещал ему никто и заниматься научной и лекционной работой.

Не могу здесь не привести один достаточно любопытный факт. В отчете об улове рыбы в Волжско-Каспийском бассейне не то за 1912, не то за 1913 год Федор Яковлевич при корректуре пропустил по ошибке лишний ноль в графе об улове сельди. Отчет этот каждый раз посылался на высочайшее имя. Император Николай Александрович, заметив эту ошибку, написал на полях отчета: "Не слишком ли много показано улова селедок? Но если так, то это хорошо: селедка - общедоступная по цене рыба...". Копия этой заметки долго была среди бумаг Федора Яковлевича и он неоднократно вспоминал об этом факте, когда какой-либо легкомысленный собеседник говорил о "тунеядстве царя и его камарильи".

Зато после Октября он, как бывший эсер, хотя и отошедший еще в десятых годах от политики, но все-таки бывший революционер, да не марксист, не большевик, был с большим трудом допускаем к работе, даже преподавателя нейтральной, казалось бы, математики, и должен был долгое время работать учителем средней школы в глухомани - на хуторе Романовском Кубанской области (ныне - город Кропоткин), в своей станице Незлобной, на рабфаке в Ставрополе. А с середины тридцатых годов - в отделах подготовки рабочих кадров в строительных организациях Ленинграда.

Свою работу по биосоциологии и психологии эстети-

ческих переживаний он так и не смог довести до конца - не было ни времени, ни возможности работать в этом направлении. Не являясь по профессии математиком, он, однако, увлекся аксиоматикой, и его мысли находили одобрение со стороны таких больших ученых в этой области, как академик Виноградов...

Во время блокады Ленинграда, в начале 1942 года, Федор Яковлевич умер голодной смертью...

Почти сорок пять лет назад, когда мысли Ф. Я. Семина были еще свежи в моей памяти, я изложил их в небольшой повестушке "Разговор по поводу и без повода", какую, с включением лишь двух-трех фраз в последующие годы, написал в 1946 году. Эта проза в последнем разделе книги...

"Утро туманное"

Облокотясь, посмотри за борт, -
Будь счастлив, встречая друга;
Сдержи слова, если друг придет, -
Он смутится, услыша ругань.
Померкло небо и ветер высок,
Безмятежна явь и спокоен сон.
За далекий рейс, за Геракла столбы,
Отчалил Васильевский остров.
Узнай, товарищ, - ты есть и был, -
И, может быть, очень просто
Радость, как лошадь, поднять на дыбы,
На камни Аничкова моста.
На бронзовых мышцах не выступит пот.
Бронзовый юноша, милый брат,
Возжи как струны - ни шагу вперед,
Возжи как струны - приди и сыграй.

Легкие лодки плывут по реке.
Мы вместе с тобой покатаемся вскоре.
Заслонись от солнца, смотри - вдалеке
Из волн поднялась рогатая морда.
Европа, Европа плывет на быке
Поперек белогривого моря.
Ты знаешь путь - не плыви наугад, -
Ступени нисходят сами.

Выходит бык, и в небо рога -
Рога поднялись над домами, -
С могучих плечей водяной каскад
Журчит, ниспадая на камень. ...

Александр Котлин

Разговор

по поводу и без повода...

Памяти Федора Яковлевича Семина

...Разговор был в полном разгаре:

- Мы покажем, Федор Яковлевич, нашу истинную, духовную культуру: нашу литературу, нашу музыку, нашу смиренную, всепримиряющую философию, - не нынешнюю, конечно, а исконную, поддонную, кондовую:

"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью"...
А мы попробуем спаять любовью,
А там посмотрим, что прочней...

Федор Яковлевич даже рассердился:

- Ну да, начнется теперь цитирование, протитирующее непонятую тютчевскую мысль его строк: "Умом России не понять" и "Эти бедные селенья"!.. Так ведь Тютчев, Гоголь и Достоевский любили Россию не *благодаря*, а *несмотря* на ее нищету! Неужели вы думаете, что картины довольства и органического устройства - неудавшиеся, конечно, в художественном отношении, - помещиком Костанжогло его крестьян - для Гоголя не программа? А

читали вы "Выбранные места из переписки с друзьями"? А вдумывались ли вы в первозданный рай Обломовки?

- Да что вы городите, Федор Яковлевич?

- А то, что меня глубоко возмущает это воспевание русских завалюх и грязных разбитых проселков в качестве какой-то панацеи для "прогнившего Запада"! Ведь нам и реально есть чем гордиться, господа, а не тем, чему нам у "прогнивших" поучиться надо! Колоритно? Да! Да ведь жизнь - не музей, в ней жить и строить надо, следовательно, и ломать хотя бы и историческое, колоритное... А главное, почему это вы, господа, так за нищету и грязные избы и разбитые дороги стоите? Ведь сами-то, небось, со стороны созерцать хотите? Оно интересно, - старый город с улицами в метр шириной поглядеть, а жить там, в этих домах XV века, вы согласились бы? Нет, вы живете в презираемом вами за безвкусицу конструктивном доме-коробке - с ванной, газовой плитой и большими окнами на солнце! А для других - не смей скovyрнуть древнюю живописную завалюху, сырую и в переулкешели! Это, господа, всё эстетика-с, следовательно, - зло и грех!

- Вы, Федор Яковлевич, всегда со своими парадоксами.

- Никаких тут нет парадоксов, извольте прослушать маленькую лекцию...

- Слушайте. Всякая деятельность может быть разделена на работу и игру. *Работа* - деятельность заинтересованная, корыстная, ибо цель ее лежит за пределами самой деятельности; эта деятельность нередко мучительна и тягостна. *Игра* - бескорыстна, так сказать, самоцельна, ибо основное ее назначение - наслаждение самим процессом деятельности; смысл игры - в самой игре. Как появилась на свет эта деятельность? Когда какой-либо

орган лишен возможности нормального - трудового, заинтересованного в результате самой деятельности, а не самой деятельностью, - нормального отправления своих функций, - энергия, накопившаяся в нем, требует разрядки.

Вот вы сейчас потянулись и расправили свои члены, Семен Никандрович. Это - тоже разрядка, так как энергия, накопившаяся в ваших членах во время нашего спора, требует выхода.

Детские игры - не игра, а работа: это педагогиум, где девочки со своими куклами приучаются быть матерями и хозяйками, а мальчики - солдатами, механиками, железнодорожниками, художниками. Заметили ли вы, например, что из мальчишек, не ломающих свои игрушки, выходят, как правило, идиоты?

Я отвлеку. Поясню свою мысль примером.

На берегу, скажем, Волги сидит с удочкой, положим, народный артист Союза ССР Александр Пирогов. И удит рыбу. Любитель он большой рыбной ловли. Так поэтично посидеть и посумерничать, мечтательно пуская тонкие колечки дыма дорогой папиросы. Вдали - древний вал и остатки городской стены когда-то великокняжеской резиденции. Купола, башни, изъеденные временем зубцы кирпичных стен, зеленые склоны вала, поросшие ромашкой, опрокинулись в воду, а по Волге плывут красавицы-беляны. Это сплавляют к Каспию лес. Где-то далеко слышится песня, широкая, как сама Волга-матушка! Хорошо! Хорошо не думать о надоевшей Москве и вечной работе в опере - работа артиста каторжная! - хорошо забыть всё и только следить, как из перистых или кучевых облаков над головой, освещаемых последними лучами золотистого солнца, образуется то верблюд, то рояль, то толстая старуха - жена директора Большого театра.

- Кажется, клюнуло? Сорвалось? А, чёрт с ней! Поймаю я или не поймаю - какая разница. Были бы денежки, - в магазинах рыбы сколько угодно!

А на другом берегу сидит с удочкой Павел Мосеевич Птаха. Сети у него нет, бредня тоже, да и страшно иметь их: обложил бы его тогда колхоз или сельсовет (кто их там разберет - кто?) твердым заданием - доказывай после, что ты не верблюд... Оно, конечно, с удочкой много не наловишь, да зато никто и не стукнет, что имеется, мол, побочный приработок... А тут, гляди, на ушицу и словишь рыбешки. Хлебушка хоть и нету - на трудодни достались слезы, - но всё горячеей ушицей и он сам, и Матрена, и ребята брюхо обласкают. Правда, устатно после рабочего дня еще часа два-три с удочкой высиживать, и брюхо подводит, - да жрать-то надо... Эх, ловилась бы только лучше! И нет ему дела ни до красот волжских, ни до тучек, а вот что скоро наступит тьма, закатится солнце, а рыбок наловил всего пять - и малехоньких - это важно!

Дроворуб-профессионал, живущий этим трудом, заинтересован не в процессе работы - скорее в максимальном уменьшении трудовых затрат, усилий, - и никогда не поймет геморроидального профессора, рубящего дрова, чтобы поразмяться.

Игра принимает и более сложные и утонченные формы. И тем не менее, она остается той же игрой, себедовлеющей, самодовлеющей деятельностью - ради самой деятельности.

И чем больше высвобождается человек от неизбывной борьбы за существование, тем более времени, сил душевных и телесных и средств уходит на игру. Подсчитайте, например, сколько у современного человека сил уходит на искусство, шахматы, особенно спорт!

Искусство родилось в качестве работы. Ни культо-

вые, военные, охотничьи или брачные танцы-хороводы; ни военные марши и церковные песнопения и мистерии не преследовали эстетических целей. Не было деления на исполнителей и публику - все активно участвовали в действе. А цель искусства была вне самой деятельности, внеположной ей. Такова природа и современного религиозного и агитационного искусства.

Вы помните, конечно, знаменитый исторический анекдот об аттическом поэте Тиртее. Спартанцы вели тогда с кем-то войну в союзе с Афинами и просили афинян о присылке сикурса - подкрепления. Афинский ареопаг подумал, подумал да и прислал в Спарту одного разьединственного хромого сельского учителя. Но то был Тиртей, героический пиит. Выругались было сгоряча спартанцы: - Ну и жулики же наши союзнички! - и чуть было не сбросили в сердцах Тиртея со скалы в море, - но певец запел, и так разжег песнями своими воинственный и патриотический пыл у спартанцев, что те в два счета расколошматили своих врагов.

А попробуйте идти походом в полной амуниции без мундира или формы, без марша или песни!

Но искусство быстро и весьма успешно высвобождается от опеки практических целей - религиозных, трудовых, военных, агитационных, брачных. "Работают" теперь в нем одни творцы и исполнители: драматурги, поэты, художники, актеры, режиссеры, композиторы, музыканты, писатели. А потребитель - публика, читатели, зрители, слушатели - предан чистой игре, ибо искусство вызывает в нем только эстетические наслаждения. Природа же эстетических переживаний такова, что они постепенно атрофируют нашу активность, чрезмерно развивая задерживающие центры.

Посмотрите, ведь основной мотивацией нашего поведения являются двусторонние переживания активно-пас-

сивного характера - эмоции. Вы одновременно испытываете голод - и стремление его удовлетворить; страдание - и стремление от него избавиться, устранить его. И каждая эмоция заключается присущей ей внутренней акцией, действием, неразрывно с данной эмоцией связанным. Эстетическое же воспитание приводит к отрицанию деятельности: мы только переживаем ради самих переживаний.

В Калькутте или в Бомбее шел "Отелло". Было это, помнится, в начале нашего века. На часах в театре стоял сипай - в почетном карауле у ложи вице-короля. И когда на сцене *цветной* Отелло начал душить *белую* Дездемону, сипай сделал то, что приказывал ему его долг человека, рыцаря, солдата: застрелил Отелло... Такова *естественная* реакция на убийство. Реакция, от которой мы отвыкли, развращенные чистым искусством и прочими видами блуда. А вот Нерон любовался живыми факелами - осмоленными и привязанными к высоким столбам христианами и христианками, сгоравшими на его глазах. А мы любимся на голодных немецких канатоходцев, без сетки шествующих по проволоке на высоте семи-восьми этажей, а среди них есть и пятилетние дети! А мы глядим в кино на *натурную* съемку расстрелов, повешений, съедаемых тиграми негров! И мы к самой жизни начинаем относиться эстетически, т. е. принципиально аморально!

А спорт? Развивает он тело для работы и войны? Чепуха! Он специализирован, и все физическое развитие уходит на него же. А умственный онанизм шахмат, весьма большого количества наук - ибо и умственная игра привлекает утонченные умы!

А какие средства бросаются на это! Сколько сил, жизней, стараний! И какие убийственные результаты - расслабленное, хлипкое, неврастеническое человечество

развратников, тунеядцев и хлюпиков, с одной стороны, и зверей, обесмысленных и озленных, - с другой. Жизненные импульсы утрачены. Жить надо, а не читать - ради процесса чтения, не слушать - ради самого слушания.

А Молоху-государству и партийным заправилам этого только и надобно: спортсмен не может уже мыслить - атрофирован умишко за ненужностью, эстет - бездеятельная мокрица - и всё в порядке!

Боже, кому нужны все эти многочисленные "науки" типа сфрагистики, да и половина современных дисциплин о методологии подхода к изучению выеденного яйца коноплянки! Блуд, блуд, блуд! И отрыв от жизни и подлинного ее строительства, уход в засиженную учеными мухами академическую мастурбацию или в театр, ныне все больше оминиатирующийся, ибо все мы мельчаем и мельчаем...

Кто говорит, - и яд нужен - вся фармакология на ядах построена, - но всё в меру и вовремя... Да и осторожно надо с ними, искусством и наукой-то... Вспомните, чем стали Дориан Грей, Райский гончаровского "Обрыва" и ряд других эстетов!

О, у искусства и у науки могут быть не только практические, в грубо материальном смысле, цели! Не забудьте, что из *культы* родилось не только *слово* "Культура", но и сама культура!

- Что же, Федор Яковлевич! Только работать? Только в труде спасение? Тогда оправданны и коллективные хозяйства и социальный заказ.

- Не передергивайте! Спасение, конечно, в большом *творческом* труде с огромной зажигающей целью, но об этом потом... А сейчас хочу еще сказать, что разговоры о спасительности *всякого* труда надо тоже принимать на веру с большой осторожностью... Утверж-

дение, что труд и *только* труд - основа нравственности и прогресса (буде таковой существует не только в виде прогрессивного паралича) - безусловно утверждение дурацкое, ибо погруженному всецело в работу человеку некогда и подумать-то о нравственности, о себе, о совершенствовании своей собственной личности. Некогда подумать даже об усовершенствовании самой своей работы...

- Опять парадокс! Значит, праздность - начало развития и нравственности? Как это примирить с вашими же взглядами на работу и игру?

- Очень просто. Творческая работа - не однородный труд робота, а многообразное раскрытие человека - в семье, на работе, в общественной, в культурной жизни. А не будь досуга, и подумать нельзя было бы ни о чем... Ведь творцы-то обычно, с обывательской точки зрения, - все лодыри... Поэтому выражение: "всякий труд облагораживает человека" - принимайте с опаской: трудятся и филёр, и шпион, и вор, и палач... А иногда и "праздность" творческой бывает: дело в переустройстве душ человеческих и в общем для них грандиозном задании. Но об этом после, надоели вам рассуждения-то, перервем их сказочкой.

...Проснулся я сегодня поздно - первый день отпуска, на службу в трест идти не нужно. Чем же заполнить день? Читать не хочется: вчера читал Лотце и Ясперса и немного устал. Собственно говоря, математика и философия меня интересуют несколько не больше шахмат: такая же игра ума...

Что сегодня в театрах и в филармонии? "Аида"? Ну, без Преображенской - не пойду! "Свадьба Кречинского" - просмотрено и пересмотрено! "Кремлевские куранты" - не хочется что-то... В филармонии концерт Софроницкого... Верно, Скрябин? Ну, так и есть: идти некуда.

Ну, что же, день пустой... Пошатаюсь по городу, авось убью тоску. Как тяжела и пуста незаполненная пучина дня! Идти в гости - нестерпимо: нужно интересоваться (или делать вид, что интересуешься) семейными и служебными делишками знакомых, входить в их интересы, ахать, слушать о флюсе у двоюродной сестры хозяйского тестя и скрывать улыбкой судорожную зевоту челюстей. Пойду, поброжу по городу - это тот же театр!

Звонок. Кто бы это мог быть?

- Здравствуй, Сережа! А у меня к тебе большущая просьба... - И, поглядев на меня, он остановился. - Что с тобой?

- Ничего. Не обращай внимания. Очень рад, - выдавил я через силу.

- Ты знаешь Женю? Я ведь женюсь на ней... Прелестная женщина! Ее первый муж пропал - где-то на Колыме, без права переписки... Я прошу тебя быть моим шафером...

- С чего бы это?

- Ну, вообще, знаешь...

- Я очень болен, Николай... Рад бы, но не смогу...

Скоро он ушел, оставив меня одного с моей тоской. Взяв шляпу, я отправился на Елагин остров.

Странные люди! Ну, какое мне дело до их радостей и горя, до их свадеб и похорон!хлопотать, подносить букеты, говорить тосты, - Боже мой, какая скука! Ведь я легко могу пережить это - и гораздо интересней и глубже, но в тысячу раз спокойнее, прочитав Диккенса или Толстого, Чехова или Достоевского. Ведь свадьба князя Мышкина куда интереснее Николаевой свадьбы, и уж наверное Настасья Филипповна обаятельнее его Жени.

Ночью я вышел разогнать хандру и пошататься по Александровскому парку, Исаакиевской площади, Конно-гвардейскому бульвару. Я люблю эти безлюдные часы,

особенно когда белые ночи идут на убыль и полумгла обнимает колонны, деревья жидкого бульвара и старые фонари самовариком, не везде еще замененные наглыми белыми двойными шарами.

- Товарищ, дайте прикурить!

Так и есть. Квадратные профессионально-накрашенные губы, большие нагло-грустные глаза на бледном лице уличной проститутки. А вместе с тем, что-то знакомое, далекое-далекое... Лет тридцать назад... Не может быть!

- Шура, неужели это ты?

Да, это была Шура, Шурочка, Шурёнок, хорошенькая первокурсница, в которую все мы, оптом и в розницу, были влюблены. Это было давно, да, не меньше четверти века назад...

- Сережа!

Подбородок Шуры некрасиво задрожал, плаксиво дернулись губы. Неужели же она разольется сейчас слезами и банальными рассказами, известными мне из многих десятков книг, фильмов, пьес; неужели она пристанет ко мне? Нет, лучше я сам дорисую ее историю, может быть, более интересно и своеобразно, чем сделает это она, загрубелая от нелегальной проституции на бульварах. Дело известное: исключение из института, служба телефонисткой и так далее... Но не все ли мне равно?

..."Мне все равно, страдать или наслаждаться"...

- Проклятый громкоговоритель!

..."Все равно буржуазные пережитки должны быть с корнем вырваны из железной когорты передового отряда мировой революции - коммунистической партии"...

- Партии лучшей ему не найти - Женя, конечно, не девушка, но и Николай ведь не первой молодости, а она создаст ему условия...

А какое мне дело до Николая и его условий?

Я люблю бродить по городу, останавливаясь у всех витрин - "По случаю переучета магазин закрыт" - "Товар с витрины не продается" - и круглых столбов с афишами театров, люблю рассматривать рекламы кинотеатров и витрины фотографов.

Но больше всего люблю я дорисовывать жизнь проходящих мимо; наблюдать безразлично или с каким-то хищным интересом - маленькие уличные трагедии. Я давно уже болен этим, давно уже люди интересуют меня только как живой калейдоскоп, если они не нужны мне лично.

Помню, в самом начале нэпа шел я ночью по Надеждинской. Запоздалый пожилой рабочий, несший буханку ситника, приставал к красивой, но истощенной девушке:

- Сколько?

- Буханку и полтинник...

- Больно жирно! Полбуханки...

Согласились - именно согласились, а не сторговались, на буханке с четвертаком, и пошли вместе... И долго я наблюдал черный платочек девушки и самодовольно-чинный, но вертлявый зад рабочего.

А на Невском, у Гостиного двора, где все кишело народом и яркие витрины дразнили целой выставкой вкусного, теплого и яркого, много лет подряд стояла полногрудая пожилая дама с картонным сердечком на груди: "помогите бывшей певице и ее детям". Дама низким контральто напевала "Пару гнедых" и "Под душистою веткой сирени", но немногие подавали ей...

Я люблю представлять себе ее комнату, комнату благородной нищей, все еще заваленную пыльной рухлядью давних успехов и поклонников, завсегдатаев "Буффа" и "Аркадии": "Несравненной Агриппине Флорио от обожающего ее поручика Иваницкого" и "Браво! Пьем за здоровье Невской Венеры"... "Вечно Ваш - Николай Куп-

чинкин". Фотографии, реликвии, альбомы, все, что не могло быть продано... И грязь опустившихся людей, которым уже все равно...

А я могу созерцать - даже не читая, не думая, - все эти человеческие трагедии, романы, крушения, взлеты - мнимые и действительные, и мне все это ничего не стоит, я ни одной капли крови, ни одного душевного движения не затрачиваю на это волнующее многообразие жизни.

Чудак Николай! Ну, зачем он женится?!хлопоты, заботы, потеря собственного я... Ах, как я понимаю Подколесина! Одна уже мука выбора чего стоит! Одна мука принятия решения. Решиться: прыгнуть - не в окно, а в неизвестность брака... Боже Правый, во имя чего?! Не лучше ли пострадать за несколько рублей с прелестной Виолеттой на "Травите", или за полсотни купить Виолетту на бульваре?..

А, главное, вы ни с кем не делитесь душой своей, пусть пустой, пусть тусклой, но своей, своей, своей!

О, как я понимаю древнего мудреца Кратила: сидеть и в знак эфемерности всего и вся, бессмысленности всякой мысли и всякой деятельности - лишь покивать пальцем. Даже не говоря... А мир волнуется перед тобою, ты творишь его в воображении своем любим, по своему желанию, но творишь неторопливо, лениво, пальцем о палец не ударяя...

Кончились, правда, времена всяких рантье и приходится служить, работать, но что за беда? Отмаявшись как-либо свои восемь часов, остальное-то время жить от театра до концерта и от концерта до выставки в Эрмитаже или - на худой конец - в Русском музее, иногда гурмански посмаковать хорошую книгу или просто чужую житейскую драму - и убивать время, разнообразя запахи порока... Порока? О, да! Я не понимаю ни

мысли, ни любви, ни жизни без порока! Это ведь так понятно и... приятно!

Попробуйте состряпать любую стройную, красивую и законченную (а иначе-то она и стройной не будет) философскую, скажем, систему, - не допустив порока мысли, ошибки логической, искусственности, хотя бы? Чёрта с два составите! Только тогда и постройте систему - и это в любой науке! - когда сознательно или бессознательно вгоните многообразие жизни, ее неисчерпаемое богатство, в прокрустово ложе фальшивого и искусственного единообразия.

Вот хотя бы наш сегодняшний разговор, господа, - прервал чтение Федор Яковлевич, - начали с Якова, а перешли на всякого, - совсем по поговорке: так ведь и вся жизнь, как и все наши разговоры, строится: - "А к нам солдат пришел!" - "А у нас блины пекли"...

...Попробуйте-ка любить без порока. Заметили ли вы, что абсолютно красивые лица, фигуры - не нравятся? "Изюминка", "Поди сюда" - всегда отклонение от канона чистой красоты. А у Нинон де Ланкло одна грудь была меньше другой, Лавальер хромала... Не косила ли Фрина? Думаю, что какой-нибудь изъянец у нее был непременно... Ну, это в сторону... А вот в жизни с пороком как-то слаще и теплее, уютнее и занимательнее...

Худо, что это вроде поцелуев или соленой воды, только все больше разжигает, а не утоляет жажду... Особенно, когда, скажем, сам в пороке активно не участвуешь. Ну, да в этом все и дело. Жгучее наслаждение, например, я испытал, оказавшись невольным свидетелем одного убийства...

...Здесь записки нашего чудака обрываются.

- Что за галиматью вы прочитали нам, Федор Яковлевич.

- Не узнаете? Наш коллективный или, если хотите, собирательный, типовой портрет.

- Глупости! Так что же делать? Где выход?

- Боюсь, что автор произведения будет на нас в претензии: ни статья, ни рассказ, действия никакого, единства темы и мысли в помине нет, а мы и так прорвали ткань его очерка, что ли, непристойными в пристойном произведении разговорами...

- Тем хуже для него! Борис Андреевич, вы на нас не в претензии?

Автор сконфуженно - и неуверенно - качает головой:

- Нет, конечно. Да к тому же - автор волен, пожалуй, только в самом начале своего произведения, а там уж герои или их силуэты, мысли и положения живут своею собственной, независимой от автора жизнью...

Собеседники обрадовались:

- Ну, и отлично! Плевать нам на каноны старых повестей и очерков, рассказов и статей, будем болтать дальше, пока не исчерпается бумага и терпение автора! Читателей же все равно теперь нет - все только пишут!

"Ты скажи, сделал ли ты из своих стихов или пытался сделать оружие класса, оружие революции? И если даже ты скапустился на этом деле, то это гораздо сильнее, почетнее, чем хорошо повторять: "Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная".

Такая лунная, что, ей-Богу, не хочется спать. Я сижу за столом, и мои герои заседают на меня с цитатами из Маяковского:

В наше время

тот поэт,

тот писатель, кто полезен.
Уберите этот торт!
Стих даешь -
хлебов подвозу.
В наши дни
писатель тот,
кто напишет
марш и лозунг!

- Милые, да ведь я-то не умею писать ни маршей, ни лозунгов! Что же я-то? Торт, что ли?

- Торт! Торт! Тот-

- алитарные режимы создали особый тип людей-автоматов, готовых голосовать за любое постановление, хотя бы научное, ибо не только страх, но и отсутствие какой-нибудь личности...

Тоталитарные режимы? А чем лучше авторитарные демократии? Тирания так называемого *общественного мнения*?

- Ну, если хотите, я расскажу вам тогда, в чем заключается, по-моему, наша русская идея, наш выход из тупика, в который зашел мир, - начал снова Федор Яковлевич.

- В восьмидесятых и девяностых годах прошлого столетия служил в Москве, в Румянцевском музее, странный человек. Был он младшим библиотекарем музея. Ходил в обшарпанном пиджаке, с обшитыми тесемочкой бортами и обшлагами, в аккуратно подшитукованных брюках, не имел даже пальто. Все свое небольшое жалованье распределял он на три неравные части: на содержание очередного подающего надежды бедняка-студента Московского университета, на нищих и на себя. На себя оставалось не то что в обрез, но только на оплату угла у просвирни, да на щи и хлеб от нее

же. И так из года в год. А вместе с тем Достоевский, Лев Толстой и Владимир Соловьев считали Федорова величайшим человеком эпохи. А вместе с тем, многие ученые, философы, агрономы, писатели, инженеры обращались за необходимыми справками именно к Николаю Федоровичу Федорову. Федоров знал все, и в очень многих областях знания был подлинным творцом, а не ученым знатоком только чужих мыслей и не библиографом, как все мы... Он мало писал. Не было ни времени, ни даже денег на бумагу. После его смерти учениками его Кожевниковым и Петерсоном были собраны оставшиеся после него записки, заметки, проекты, наскоро набросанные карандашом на оберточной бумаге. Ученики систематизировали эти обрывки и издали в глухом Верном первый, а затем второй том "Философии общего дела" - так называл Николай Федорович Федоров изложение своих взглядов. Первый том был издан в четырехстах, помнится, экземплярах, не для продажи, был разослан Кожевниковым по библиотекам, и был немедленно забыт. Немного напомнили о Федорове русские мыслители группы, объединившейся вокруг издательства "Путь": Евгений Трубецкой, Булгаков, Франк, о. Павел Флоренский, Бердяев. Но кроме них и еще считанных людей - кто теперь помнит о выдающемся русском мыслителе нашего народа?

Попробую - через пестроту двадцати мятежных лет, разделивших меня с книгой Федорова, передать не букву ее, а самую суть, как она была воспринята тогда мною.

Это - совсем не философия в европейском школярском наряде. Федоров - в принципе не философ, а естествоиспытатель, инженер, строитель, практик.

Замутились источники жизни. Смерть все больше и больше сокращает время наших земных странствий. Труд

обезобразен и обесмыслен, не облагораживает, а возвращает.

Вы хотите лечить человечество трудовым устройством его? Но не знаете ли вы, что этот неблагоприятный свыше труд - проклятие, а не благо? Разве забыли вы, что книга Бытия наказывает человека за нарушение райского запрета *именно трудом*: "проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей... В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят"... Человек наказан неизбывностью труда и утратой первозданного бессмертия. Вы заботитесь о трудовом устройстве, а знаете ли вы, что главнейшая забота человека - именно высвободиться как можно больше от этого *обязательного, внешне-навязанного* труда?

Знаете ли вы, что труд сейчас потерял всякий смысл? Старый ремесленник горячо любил вещи, целиком вышедшие из его мастерской: он видел, как из бесформенного куска дерева выходит прекрасный буфет, и он, ремесленник, украшал этот буфет, любовно его сглаживал и с грустью с ним расставался, отдавая заказчику.

Философ Яков Бёме и поэт Ганс Закс были сапожниками. Как говорят, обувь свою они любили не меньше своих духовных творений. Мастер был художником, труд которого плодоносящ. Ну, а можно ли быть увлеченным правой нарезкой винта для неведомого агрегата? Работой на конвейере, с восьми- или десятичасовой единообразной пляской св. Витта бессмысленных движений? Когда вещь производится даже не на одной фабрике, а на заводах, разбросанных по целой стране, можно ли требовать наполнения нашего дня трудом и пафосом этого труда?

Мне вспоминается старый анекдот о старом мастере

одного немецкого завода, якобы производящего детские колясочки. Мастер этот стал отцом. Марта родила ему маленького, красного, властно вопящего о своем праве на жизнь, Фрица. Мастер решил: "Я тридцать лет работаю на заводе. Я имею право на детскую коляску". И день за днем, две недели таскал с завода деталь за деталью. И когда их собрал дома - получился великолепный пулемет!

Нет, господа, заботьтесь не о труде, а о его максимальном облегчении и осмыслении!

Ну, а как с досугом? Спорт, кино, газета, театр? Так ведь это яд поразрушительнее труда будет!

Нужна огромная творческая напряженность и великая идея, способная зажечь мир и бросить его в едином порыве на единое великое, культовое делание.

Воскрешение нами самими мертвецов наших, прежде усопших, и наше бессмертие - вот это идея.

Конечно, Господь Бог по благодати Своей воскресит нас в дни Суда Своего, но Он ждет от нас самих - не воскресения свыше, а воскресения снизу. Ждет великого подвига творческой любви и всечеловеческого служения.

Вы скажете, что если воскресить всех - со всеми их грехами и немощами - то это будет плохая услуга миру? Не вам судить, господа! И кто знает, на какой подвиг просветления способны Нероны и Атиллы? Вы скажете, что и так безработица грызет мир, что мы и рожать-то перестали, ибо, как говорит русская поэтесса, - "ведь в жизни, давно узнала я, мало свободных мест, твое местечко малое в сердце моем, как крест". Рассуждение наивное! Ибо если великая цель будет поставлена, то не хватит для нее и всех возросших и умноженных сил человеческих. Мало и так места на земле, а если воскресить всех усопших - до первочеловека включительно, - то земной планетарный жилищный

и земельный кризис станет гибельным? Но помимо незаселенных мест на земле, есть и другие планеты, и вполне реальна их колонизация: и Николай Федорович, еще задолго до Кибальчича и Циолковского, разрабатывает проект межпланетных сообщений и приходит к мысли о ракетном двигателе. Да и как бесконечно можно повысить производительность земли! Стоит только немного подумать не об убийстве и блуде, не о Карузо и Мэрилин Монро, а о жизни и о ее нуждах.

Так, для борьбы с засухой, в середине семидесятых годов Федоров предложил использовать артиллерию. Он заметил первое влияние артиллерийских боев на количество выпадающих осадков. И он приходит к мысли о зенитных орудиях.

Вы скажете, что все это фантастично, сказочно, нереально? Глупости! Сейчас ум человеческий полностью сосредоточен на средствах уничтожения, истребления. Но будем рассуждать прямо-таки материалистически. Ведь смерть наступает, когда организм отказывается восстанавливать живые клетки, когда отмирание идет быстрее, чем восстановительная работа организма, когда клетка устает жить, теряет волю к жизни. А попробуйте-ка заняться этим вопросом, попробуйте все силы человечества направить на вопросы бессмертия и воскрешения, восстановления жизни, - и сколь многого сможет достигнуть мысль человеческая! Попробуйте представить себе, что все умы направятся на изучение вопроса об истреблении кохвской палочки. Что ж? Не будет ли уничтожен в самое короткое время туберкулез?

И почему вы думаете, что разложить атом - легко, а убить влияние бледных спирохет или уничтожить тиф и туберкулез - невозможно? Неужели смерть и дьявол сильнее в человеке, чем Бог и жизнь?

А какая грандиозная задача для человечества! Ведь

сейчас время и пространство - начала злые, разъединяющие, умерщвляющие. Они разделяют нас от близких наших, и мы даже цепляемся за них же, за начала не жизни, а смерти, в частности цепляясь не за общечеловеческое в национальности, в национальной идее, не за *всечеловечество*, а, я бы сказал, за петушково-балалаечную особность и выделенность наших маленьких человеческих муравейников. А тогда мы будем рассматривать и временность и пространственность, как письмена, материализацию вечности, и будем жить в радости непрерывных встреч с родными и близкими нашими, с величайшими святыми и гениями человечества...

И это - не новая вавилонская башня, ибо не на гордой отъединенности, не на самости человеческого возмущившегося "я" основана, и даже не на стадном "мы", а на "я" каждого из нас - у кого нет усопших близких? - и на целокупном Я - на Всечеловечестве... И всечеловечестве, не отъединяющемся от Бога, а устремляющемся к Нему, как к Всецелой Полноте бытия...

И поэтому основой делания нашего должны стать кладбища, любовно охраняемые пантеоны, подготавливаемые к великому восстанию в вечную жизнь, а не нынешние забытые, часто бездомные и бессыновние скудельницы...

- Ну, я опять отвлек ваше внимание, господа! Простите. Кажется, сейчас что-то хочет сказать сам наш неудалый автор... Он морщится, сердито смотрит на меня, качает укоризненно головой...

- Послушайте, Федор Яковлевич! Это несносно! - автор, Борис Андреевич Филиппов, даже покраснел от гнева и обиды. - Я выдумал всех вас вовсе не для того, чтобы вы так распускали свой язык! Да и что скажут читатели?! Они ждут занимательного рассказа или статьи позабавней (так писались статейки в отделе

"Смесь" газет и журналов), а вы потчуете их дилетантскими умствованиями! А ваши промахи еще, того и жди, припишут мне... И притом изложением зерна федоровских взглядов вы мне испортили рассказ, который я уже давно обдумал и из которого должен теперь вырвать всю серединку, а для автора это все-таки обидно!

- Вы все преувеличиваете, Борис Андреевич! Во-первых, не вы выдумали меня, а я существовал реально и еще вдобавок был мужем вашей собственной тетки, а во-вторых...

Перо автора вдруг скрипнуло, и множество клякс усеяло рукопись: - Хватит! Хватит болтовни! К делу! Где же рассказ? Где действие? - зашипели голоса. Из клякс поднимались головки и головизны разгневанных читателей: - мы ждем рассказа или статьи, а не антимоний! Надули!

- Некогда сейчас-то беллетристикой заниматься, время не такое, - пробовал возражать автор.

- Вот не лезли бы в повествование поминутно, дали бы лучше и полнее нам отвоплотиться, на вас не было бы и нападения *оттуда*, - наступали на беднягу-автора его рассвирепевшие герои-разговорщики: - А то, подумаешь, *герои*, - не только действовать, но и поговорить-то всласть не дал нам!

- Да где они, герои-то, вполне воплотившиеся личности, наконец, в жизни? Даже разговаривающих героев нет сейчас... - защищался автор.

- Довольно! - раздался властный голос типографского станка: Жалейте шрифт! К делу!

Автор поправил сбившиеся набок очки, утер обшлагом рот и начал свой рассказ, написанный в дурном вкусе романов будущего...

Конгресс великих ученых мира, созданный Комитетом Объединенных Наций, заседал в специально построенном лучшими зодчими Дворце Науки. Легкий, весь из стекла и алюминия, с огромными террасами из драгоценных сортов пальмового и эбенового дерева, из мрамора и порфира, дворец можно было упрекнуть лишь в стилевом разное. Великолепная китайская резьба по дереву - рядом с итальянской мозаикой; французские бронзы - и исконно русский широкий конструктивизм; острые копы железобетонной псевдоготики Нью-Йорка - и плавные линии воскрешенного староанглийского классицизма, - все это не слилось - и не могло слиться - в один величайший мировой архитектурный стиль, и кричащая роскошь декорации коробила аристократический вкус немногих сохранившихся ценителей искусства.

Зал заседаний, рассчитанный на три тысячи человек - ученых было немногим более ста, но почетные гости, представители мировой прессы и правительственные комиссары превысили вместимость зала, - зал был украшен тысячами мраморных бюстов реформаторов науки и техники, золотыми буквами афоризмов на всех языках цивилизованного мира. К залу примыкали великолепные лаборатории, целые анфилады комнат специального назначения, окончательной отделки и устройства коих не знали сами строители. С другой стороны дворец был соединен изящной галереей с прекрасным комплексом зданий: гостиницами, театром, концертным залом, величественным, как храм, рестораном с огромной сценической площадкой.

Оркестр из трехсот первоклассных артистов под управлением самого Герберта Бамберга, двести совершенно обнаженных, медицински освидетельствованных юных балерин, лучшие спортивные команды, гейши, баядерки и даже - в последнюю минуту вспомнили и о

них - храмы всех вероисповеданий с модернизированными органами и учеными служителями культа.

Маленький коралловый островок в Океании, необитаемый дотоле, преобразился в один из культурных центров мира. Соединенная эскадра могущественнейших морских держав патрулировала берега. Сотни сверхмощных разведчиков и истребителей несли воздушный караул, а над ними контролировали атмосферу искусственные спутники Земли - летающие пикеты.

Председательствовал на съезде президент Комитета мирового контроля сэр Патрик Гордон, седовласый декан Игуанодонского университета. В почетный президиум съезда вошли: глава Объединенных Коммун Континентальной Евразии, суровый старик, неуступчивый и настойчивый во всех своих притязаниях; сенатор Генри О'Коннель, глава ряда интернациональных банков и король циклотронной промышленности; маршалы Объединенных Коммун Иван Сидоров, Чжан-Су и фон-Дервиз; великий адмирал Британии лорд Винчертер; глава Американского концерна нефти мистер Рок-Крик и французский модный философ Де-Монолатр.

Сотни телеграфисток, усовершенствованные аппараты звукозаписи, репортеры, кинооператоры, художники-портретисты, журналисты с мировыми именами - все они заполняли столы технического секретариата, галереи и променуары зала заседаний.

После краткой торжественной части деловое заседание открыл сэр Патрик Гордон.

- Достопочтенные лэди и джентльмены! Мы собрались сюда в дни величайших мировых потрясений. Нам не столь горько то - всем хорошо известное - обстоятельство, что вся старая Европа, да и весь культурный мир лежит в развалинах. Современные скоростные методы строительства и индустрия современных строительных машин

легко смогут восстановить физическое здоровье европейского и мирового хозяйственного организма. Но кто может восстановить невозможное - импульс к жизни, стремление к здоровью, волю к социальному миру?! Машина съела нас. Мы перестаем рожать, мы разучились работать и радоваться. Преизбыточествует продукция во всех отраслях хозяйства - в то время как только 45 процентов рабочей силы занято в промышленности и сельском хозяйстве. Около 10 процентов составляют такие отводные каналы, как постоянная армия, полицейская служба, публичные дома, тюрьмы, пресса и культурные учреждения. Остальные 45 процентов - около половины всего трудоспособного населения планеты - огромный резервуар готовых на всё безработных, нищих, бандитов, - и, тем самым, коммунистов. Достоуважаемый глава Объединенных Коммун не должен обижаться на мои слова: коммунизм континентальной Евразии - прекрасная полицейская система, не имеющая ничего общего, кроме имени и кое-каких связей, о которых здесь не время и не место распространяться, - с нашими коммунистами резервной армии хозяйства... Мир стоит перед дилеммой: мировая война, могущая атомными бомбами совершенно расщепить нашу планету; или - мировая социальная революция, вызванная бесперспективностью жизни для половины человеческих континентов. К чему приведет подобная революция - не время и не место говорить, господа. Я кончил, достославные и достоуважаемые лэди и джентльмены. Вашему высокому собранию предстоит огромная работа: разобраться в создавшемся положении и попытаться найти из него выход.

После тягостного молчания на кафедру поднялся убежденный сединой мировой ученый, профессор Альберштейн:

- Господа, я могу предложить вашему вниманию

новый сверхмощный истребитель и атомную бомбу, разрушительная сила которой в 1.462 раза больше последней водородной бомбы, радиус действия в 17 раз больше, а величина немногим больше яблока. Но спасет ли это мир? Ведь через несколько месяцев такое же - или еще большей силы - оружие будут иметь Объединенные Коммуны Евразии... Ну, а *после* войны? Пусть она даже окончится хорошо, и до трети людей уцелеет на нашей несчастной планете. Что будут делать и чем будут жить они, разъединенные тоской, пустотой, ненавистью, рабством, безработицей?! Правда, христианско-демократические организации успели, выбросив обветшалые заклинания и фигуры, заполнить гуманизмом и спортом человеческие умы, но все это - только жалкий паллиатив...

- Здесь у меня, - обиженно протянул автор, Борис Филиппов, - должен был выступить профессор Тюбингенского университета, православный священник немец д-р Герман Гейнеман с изложением системы забытого гения - Николая Федорова, которого он, Гейнеман, привел в систему и, так сказать, *германизировал*, - но мне испортил дело, перебил и опередил меня мой же собственный персонаж...

- Не *персонаж*, а дядя, - скрипнул зубами Федор Яковлевич.

...Гейнеману не дали кончить:

"Довольно! - кричали возмущенные ученые. - Это ведь не камлание, не арена для шаманских и христианских упражнений, а кафедра Мирового конгресса ученых!" Кто-то свистнул, кто-то крикнул: "Шарлатан! В сумасшедший дом!" При общем возмущении д-р Герман Гейнеман покинул кафедру.

Председатель Интерконфессионального совета морали и высших ценностей, д-р Плезиозаврского университета

Джордж Пэн занял место д-ра Гейнемана при бурных аплодисментах всего собрания:

- Я недолго займу ваше внимание, братья и сестры! Вы уже достойно осудили религиозный материализм, практицизм, фанатизм и безумие новых строителей Вавилонской башни. Как! Подменять нас нами самими, слабыми и грешными, Абсолют?!.. Я буду говорить только о мерах обуздания неразумных, о методах нашей работы по обработке сознания подлежащих сугубой опеке малых сих...

И оратор увлекательно развил свой план работы, но мало кого устроил этот план из практических инженеров и политиков мира: дошло до горячего...

- Я прошу слова!

Спикер посмотрел на говорящего: седеющий, крепко сколоченный, властный облик организатора и дельца.

- Слово предоставляется главному инженеру Мировой конторы особых проектных заданий профессору Ивану Спиридоновичу Александрову!

- Но уже поздно... Мы опоздаем на балет! - шипели недовольные затянувшимся заседанием.

И речь профессора Александрова была отложена на следующее заседание.

- Но я прошу всего только несколько минут. Я про...

- Продолжение? - Едва ли я напишу его когда-нибудь, - поставил точку автор.

Ленинградский Петербург

в русской поэзии и прозе

Памяти матери

Ленинградский Петербург - это сочетание слов кажется парадоксальным, нарочитым. И все-таки это не так. Город, явившийся зерном, символом, средоточием и возглавителем Российской Империи, - этот же город называется ныне колыбелью мировой коммунистической революции. Город Петра, открывшего окно в Европу - он и город Ленина, это окно тщательно заколотившего.

Очерки, посвященные Ленинградскому Петербургу, поэтому пытаются осмыслить бег событий нашей истории не от дней Петровых, а исходя из опыта наших дней - дней нашего века, стремительно несущегося в терновом венце мировых войн и мировых революционных потрясений. И осмыслить притом не на материале исторических монографий, социологических увражей, мемуаров политических деятелей, а на основе взволнованных страниц старой и современной прозы, палящих строк русской поэзии - от дней Петра и до нашего времени. В сущности, это - поэтический комментарий к "Медному Всаднику" Пушкина. Не больше.

В какой-то мере эти очерки являются и литературным комментарием к дискуссии о путях России, ведущейся на страницах "Русской мысли". Роль автора очерков - только роль собирателя тех блестящих строк, тех ярких мыслей, какие во множестве были посвящены нашими прозаиками и поэтами Городу и делу Медного Всадника, Городу и делу Ленина. Эти очерки - только мозаика. Но она составлена не из холодных кусочков смальты, а из животрепещущих свидетельств современников.

1. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Мои аспиранты-студенты привезли мне из СССР, где они побывали летом этого года, подарок: серию фотографий-открыток "Ленинград в дни войны и мира". Серия предваряется эпиграфом: "Подвиг города-героя Ленинграда останется навсегда в памяти поколений. И каждое свидетельство, напоминающее об этом священном подвиге, совершенном ленинградцами, каждая подробность, говорящая о днях борьбы и победы, являются драгоценными для потомства" (Николай Тихонов).

И каждая удлинённая открытка этого альбомчика содержит две фотографии: то или иное место города во время войны - фотография чернобелая ("тоновая"), - и оно же "в дни мира", в годы 1966-67, - фотография в красках. Поражает не только эстетическое, но и этическое безвкушие альбома. Вот, например, трагический снимок одного из бесчисленных эпизодов, ежечасных эпизодов дней блокады. На детских санках истощенные, еле передвигающие ноги женщина и мужчина тянут по заснеженной морозной улице укутанные в какие-то тряпки трупы умерших от голода и холода своих родных:

мужа или жены, сына или дочери... Вспоминаются невольно строки пережившей блокаду Ольги Берггольц:

...А город был в дремучий убран иней
Уездные сугробы, тишина...
Не отыскать в снегах трамвайных линий,
Одних полозьев жалоба слышна.
Скрипят, скрипят по Невскому полозья,
На детских санках, узеньких, смешных,
В кастрюльках воду голубую возят,
Дрова и скarb, умерших и больных...

А на соседней цветной фотографии - дебелая аляповатая "родина-мать" с бронзовой торжественностью венчает гирляндой символическую могилу миллионов погибших в блокаду ленинградцев...

Подумаешь утешение! Ведь это напоминает и по-смертные реабилитации запытаных и расстрелянных во время сталинского террора. Тот же гнусный цинизм, безвкусный, пошлый. Один из персонажей Солженицына говорит, что он винит в этом миллионе погибших ленинградцев не столько окруживших город гитлеровцев - они ведь враги! - сколько Сталина и правительство: болтали, хвастались, что будут бить врага на его, врага, территории, - и даже не удосужились заготовить продовольствие и надежно его упрятать от вражеских бомбежек...

И еще: группа одетых во что попало и вооруженных чем попало ленинградцев - молодежи и даже подростков - идут в строю на фоне Александринского театра. Это - "отряд Всеобуча на площади Островского". Они, кое-как обученные, кое-как вооруженные, направляются на фронт, близкий - чуть ли не прямо за Нарвскими воротами города:

Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть...
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла "Берт".
Вот о вас и напишут книжки, -
"Жизнь свою за други своя", -
Незатейливые парнишки,
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки,
Внуки, братики, сыновья.

(Ахматова)

А рядом красочная иллюстрация того же места - и молодой паренек разговаривает с барышней, они улыбаются, они радуются ранней солнечной осени... какая-то грубая пародия на пушкинские строки: "И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть"... Разве новая оштукатурка и окраска зданий и даже бронзовая "родина-мать" над безымянной братской могилой хотя бы в малой степени искупают смертные муки погибших - и смертные муки переживших своих мужей и братьев, матерей и сынов?! Нет, крепче бронзовых истуканов поминальные святцы родных и близких:

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!

Захлопываю святцы,

И на колени все!

Багряный хлынул свет.

Рядами стройными выходят ленинградцы -
Живые с мертвыми: для Бога мертвых нет.

(Ахматова)

...И этот паршивый, безвкусный альбом все-таки воскресил в памяти бесконечно дорогой - и "самый умышленный город на свете" как называл Петербург Достоевский. Воскресил в памяти и Санкт-Петербург, и Петербург, и Петроград, и город моей молодости - Ленинградский Петербург - город, строгие камни которого как-то еще сохраняли и в жителях опальной бывшей столицы, перелицованной в город Ленина, дух старого Петербурга...

Да, окно в Европу, грубо-дерзостно, но резко и решительно прорезанное Петром, было уже заложено накрепко Лениным-Сталиным:

Окно в Европу! Проработав
Свой скудный век, ты заперто,
И въезд торжественный Ламотов -
Провал, ведущий нас в ничто.
Кому ж грозить возмездьем скорым
И отверзать кому врата,
Коль торг идет родных просторов
И смерти - именем Христа? -

вопрошает в "Новой Голландии" Бенедикт Лившиц. Да, и заложено-то окно в Европу в Ленинградском Петербурге было кирпичами от взорванных старых церквей: недаром и шутили ленинградцы, называя руины церквей "производством кирпича по системе Ильича". Но петербуржане - еще недобитые и не вымершие от голодухи - все так же крепко любили свой город, город на костях строителей, но город прекрасных чистых линий и строгих пропорций, столь отличный от расползшейся кумы-купчихи Москвы: бывший большой поэт, Николай Тихонов, писал в годы своей талантливой молодости:

Я строил этот город, я погиб,
Швырнули труп в болото, -
Вот почему мне дорог здесь изгиб
Любой стены, любого поворота...

И другой бывший поэт писал в дни своей относительно еще вольной молодости, оплакивая судьбу города Медного Всадника, Всадника, открывшего окно не столько в Европу созидания, сколько в Европу хищного революционно-индустриального рассудка, рассудка обездуховленного и обезбоженного, несущего смерть: Павел Антокольский вернулся с совершенно иным чувством к пушкинскому "кумиру на бронзовом коне":

Се-Аз лечу. За мною войск когорты
Качается набатом каланча...
...Траншеи, развороченные шпалы, -
Казармы смрад, жар топок паровых, -
Так начался поход машин усталых
На хищный разум, вышколивший их.
На костылях, всей грудью припадая,
Откинув дым со лба, крича: назад,
Грядет за мной голодная орда их.
Окно в Европу стало срывом в ад.

Может статься, ни один из городов России, ни один из городов СССР не пострадал так, не был так обескровлен, как Ленинградский Петербург. "После стихов и статьи о гибнущем городе, у Мандельштама впервые появились чисто эсхатологические слова о земле без людей. Случилось это в Петербурге 1922 года - в статье "Слово и культура". Мандельштам называет Петербург самым передовым городом, потому что в нем первом появились симптомы конца: «Трава на петербургских

улицах - первые побеги девственного леса, который покроеет место современных городов... наша кровь, наша музыка, наша государственность - все это найдет свое продолжение в нежном бытии новой природы»... Осознав неизбежность конца, Мандельштам говорит о тщетности всех попыток предотвратить его: «Остановить? Кто остановит солнце, когда оно мчится на воробьиной упряжке в отчий дом, обуянное жаждой возвращения?» Здесь солнце уподобляется всему человечеству... и Мандельштам предлагает подарить его дифирамбом вместо того, чтобы вымаливать у него подачки". В двадцать первом году Мандельштаму стало ясно, что человечество, отказавшись от дара жизни, идет - предначертанным ли путем? - в небытие, откуда некогда было вызвано" (Надежда Мандельштам. Вторая книга). А через несколько лет, вернувшись в свой бесконечно любимый - и уже бесконечно чужой - город, город, "знакомый до слез, до прожилок, до детских припухлых желез", уже не хочет умирать, хорошо вместе с тем сознавая неизбежность личной и мировой гибели:

...Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Сколько ленинградцев - не только ленинградских петербуржан, но и представителей полнокровного после-

революционного, стопроцентно осовеченного населения, "всю ночь напролет" ждали "гостей дорогих", и уезжали из ленинградских коммунальных квартир в черных воронах в никуда, в провал, в смерть! Но ведь "колыбель мировой пролетарской революции", ее "цитадель", Петроград-Ленинград, - это не эпизод, а лишь пролог мировой трагедии - Октябрь 1917 года - подлинное начало двадцатого века, пришедшего для всего человечества в терновом венце мировых войн и революций -

А по набережной легендарной
Приближался не календарный -
Настоящий Двадцатый Век...

(Ахматова)

Это давно крепко прочувствовал Александр Блок, а еще задолго до него Гоголь, Тютчев, Достоевский и Константин Леонтьев. Блок еще в 1908 году писал: "Я думаю, что в сердцах людей последних поколений залегло неотступное чувство катастрофы, вызванное чрезмерным накоплением реальнейших фактов, часть которых - дело свершившееся, другая часть - дело, имеющее свершиться. ...Человеческая культура становится все более железной, все более машинной: все более походит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть стихии: растет наука, чтобы поработить землю: растет искусство - крылатая мечта - таинственный аэроплан, чтобы улететь от земли: растет промышленность, чтобы люди могли расстаться с землей. Всякий деятель культуры - демон, проклиная землю, измышляющий крылья, чтобы улететь от нее. ...Распалась месть Культуры, которая вздыбилась "стальной щетиной" штыков и машин. Это - только знак того, что распалась и другая месть - месть стихийная и земная. Между двух

костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под "очерепевшей лавы"? ...Так или иначе - мы переживаем страшный кризис. Мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в *сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами - громыхающая и огнедыщащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы". А через пять лет Блок писал еще отчетливее: "Есть Россия, которая, вырвавшись из одной революции жадно смотрит в глаза другой, может быть, более страшной".

Хочется перелистать страницы литературно-историко-софской истории Петербурга-Ленинграда. Это поможет понять и истоки нашей трагедии. Это, может статься, даст нам увидеть и ростки нового, может быть, какого-то возрождения. Петербург Петра и Пушкина; Петербург Гоголя и Достоевского; Петербург-Петроград революционного предбурья; Ленинградский Петербург - вот темы, на которых мы остановимся.

2. САНКТ-ПИТЕРСБУРХ ПЕТРА И ПЕТЕРБУРГ ПУШКИНА

За Неву и южные берега Балтики испокон дрались русские - и со шведами, и с орденами немецких псов-рыцарей. С Невой связаны имена князя Александра, Ивана Грозного и немалого числа русских воителей. Ведь устья Невы входили в Водьскую пятину Господина Великого Новгорода, ведь долгие и томительные Ливонские войны вел Грозный, и рожденный на московском сухопутье, но сызмала возлюбивший морские дали и све-

жий морской ветер Петр не мог не мечтать о переносе стольного града и всей основной устремленности России туда, где полноводная Нева катит свои волны в Балтику, а оттуда дальше и дальше - вплоть до Атлантических просторов.

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Нева неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И думал он:
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.
Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.

(“Медный Всадник”)

Летопись дней Петра - запись одного из “птенцов гнезда Петрова”, рассказывает, как “Господин капитан бомбардирский (то есть сам Петр, в то время имевший чин капитана артиллерии) изволил осматривать близ к морю удобное место для здания новой фортеции и потом в скором времени изволил обыскать единый остров, зело удобный положением места, на котором вскоре, а именно мая в 15 день, в неделю Пятидесятницы фортецию

заложили и нарекли имя оной Сан-Питербурх" (1703). "Поднять Россию на дыбы": силком, батогами и дыбой, но повернуть ее лицом к Европе, сделать дремотную Московию могучим фактором "европейской политик", - для этого понадобилась и мучительная, более двух десятилетий длившаяся война с сильнейшей тогда в Европе шведской армией, и перенапряжение всех сил русского народа. Да еще: легко ли строить столичный парадиз, Пальмиру Северную, вознести "юный град, полнощных стран красу и диво, из тьмы лесов, из топи блат" прямо на виду у шведов, на Неве, то и дело заливавшей бревенчатые настилы ранних набережных столицы?

Море спорило с Петром:

"Не построишь Петрограда!

Покажу я шведский гром,

Кораблей крылатых стадо". ...

...Речь Петра гремит в ответ:

"Сдайся, дерзостное море! -

Нет, так пусть узнает свет:

Кто из нас могучей в споре?"

(Степан Шевырев)

В 1713 году столицей России становится Сан-Питербурх. Но уже с 1712 новый город становится постоянной царской резиденцией. В 1714 году из Москвы в Питер переводится Сенат. В том же году указом царским запрещается по всей стране, кроме столицы Невской, всякое каменное строительство. Указ несколько смягчается в 1721 году разрешением достройки в Первопрестольной и других городах начатых постройкой до 1714 года каменных церквей. Только через несколько десятилетий последовала окончательная отмена этого указа, стремившегося форсировать рост новой столицы,

уже к концу Петрова царствования насчитывавшей 70-80 тысяч жителей.

Прошло сто лет, и юный град,
Полночных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво. ...
...И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей
Порфиноносная вдова.

И вся последующая история Государства Российского, вплоть до 1918 года, неразрывно связана с Санкт-Петербургом-Петербургом-Петроградом. Да, постройка раадиа Петрова дорого обошлась народу и стране: не только десятков тысяч померших от болотных лихорадок, сквернейшей тухлой пищи и палок капралов-надзирателей холопов-строителей; не только тьмы запытанных и казненных беглецов со строительства.

Нет, волей или неволей, но прервалось органическое, самобытное течение русской истории, прервалась и нить, соединяющая культуру русских верхов общества с издавней и вполне уроднившейся византийско-эллинической традицией; истреблены были властной рукой Императора-Самодержца последние остатки земщины. Государство и его власть стали непомерно распухать и крепчать, отдельная же личность становилась все более ничтожной статистической единицей... Россия Петербургская - Россия с навеки расколовшейся душой и культурой: народная (крестьянская и купеческая, церковная и староверческая) развивалась более или менее самобытным, исконным путем (и провинциальные помещики были ей близки), официальная же культура верхов совершенно

от народа и его истоков оторвалась, стала народу чуждой, непонятной, зачастую прямо враждебной.

И народ ответил бунтами, самосожжениями, прямым объявлением Петра - Антихристом. Государство не земское и не аристократическое, а - волею Императора или неволею военных и международных обстоятельств - военно-бюрократическое, обездуховленное, чисто технократическое, оно не могло быть принятым или хотя бы понятым основными толщами народа. На розыске с великой кровью, на дыбе, клещами раскаленными вырывались у недругов Петра, к примеру, из круга монаха Авраамия, показания о том, на что ропщет народ российский: "государь не изволит жить в своих государских чертогах в Москве, а мнится..., что от того на Москве небытия у него в законном супружестве чадородие перестало быть, и о том в народе велми тужат" (С. М. Соловьев. История России..., кн. VII, 1962, стр. 574).

Вот и пришли последние времена на Белой Руси: "От лета 7220 (1712), егда первым императором счинися опись народная, тогда он начал повсюду искать беглых... оных бегствующих мира хватати..." ("Цветник" основателя секты бегунов Евфимия). Едино спасение - в самосожжении, коли нет уже возможности бежать в непроходимые леса и дальние черкасские степи. Чур, чур нас, Антихрист! Расточи ковы вражьи, Спасе наш!

Но можно ли было - в тех обстоятельствах - не идти путем Петровым? Конечно, много излишнего было от темперамента и от нелюбви Петра к природно-русскому. Но ведь, к слову сказать, и максимализм Петра - такая природно-русская черта! И как бы ни была неорганичной вся последующая русская культура - культура русских верхов, - но именно она дала и гениальную архитектуру Петербурга, и окрестных дворцовых

резиденций, и русскую литературу, и русскую науку, и русскую музыку и театр.

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный...

И "птенцы гнезда Петрова" искренне и от всего сердца называли Императора полубогом, и - словами канцлера, графа Головкина (в речи 22 октября 1721 года) - приветствовали царя: "Вашими неусыпными трудами и руководством мы, ваши подданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены и во общество политических народов произведены". А посему соработники того, кто "на троне вечный был работник", -

Не верили, что Петр един от смертных был,
Но в жизнь его уже за бога почитали.

(Ломоносов)

Были - при Петре и после него - и хулители его дела, и строгие его критики из среды как раз европейски образованных кругов: ведь уже его сотрудник Василий Никитич Татищев ставил вопрос - нужно ли было так грубо и злобно ломать все устои прежнего быта и прежней культуры? А князь Щербатов и свое рассуждение прямо наименовал "Рассмотрение о пороках и самовластии Петра Великого". Даже легитимист Карамзин писал в конце века, изживавшего Петрово дело - но и наследовавшего его направленность: "Петр не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет

нравственное могущество государства", и потому-де презирал питавшую этот дух традицию, старину, "древние навыки" и "народные особенности". Но эти одинокие почасту критические реплики в среде новокультурной покрывал гул хвалений и воскурений фимиама со стороны - в особенности - непосредственных выученников и сотрудников Императора, практиков-строителей имперской мощи, военной и промышленной, коммерциальной и заводской. Ведь - и вправду надо признать - Петр был величайшим организатором, он не только изнасиловал сыроватую бабью природу исконной Руси, но и по-мужски грубо, но мощно *кристаллизовал* расплывавшееся тело государства. Так "тяжкий млат, дробя стекло, кует булат". И современники "на троне вечного работника", и следующее за ними поколение свидетельствовали, что Петр "научил узнавать, что мы люди; одним словом: на что в России ни взгляни, все его началом имеет, и что бы впредь ни делалось, от сего источника черпать будут" (Иван Неплюев):

Российский Вифлеем - Коломенско село,
которое Петра на свет произвело.

(Сумароков)

Петр и Петербург Пушкина - много сложнее. Да, облик их у Пушкина - велик и монументален. Да, Пушкин еще бесконечно любил Петербург, "Петра творенье" и умел наслаждаться красотой его строгих линий (это вернется в русскую культуру лишь в конце прошлого века), - но Петр у Пушкина уже нечто двоящееся, божеское и демоническое, расковызывающее и порабащающее, гениально-положительное и творческое - гениально-демоническое и разрушающее начало. И если в "Арапе Петра Великого" Император дан более творчески-по-

ложительно, если там он - созидатель и работник, - то уже в "Езерском" он - разрушитель культурных устоев и национальной традиции, носителями которых, нравится это нам или не нравится, но для Пушкина была старая родовая аристократия:

Мне жаль что нет князей Пожарских,
Что о других пропал и слух ...
...Что исторические звуки
Нам стали чужды, хоть спроста
Из бар мы лезем в tiers-état...
...Что в нашем тереме забытом
Растет пустынная трава;
Что геральдического льва
Демократическим копытом
У нас лягает и осел:
Дух века вот куда зашел!

А, главное, государство совсем, окончательно задавило свободную, независимую личность. Старая родовая аристократия была все-таки каким-то островком независимости и чести... Теперь же, перед обезличенным и обескровленным духовно человеком - стоит всемогущее и безразличное к страданиям, устремлениям, мукам и радостям отдельных людей государство. Самодержец. Медный Всадник. Куда это может завести? Не к тому ли, что рано или поздно, но неизбежно - сдерживающие стихию народного горя и возмущения государственные формы не выдержат, расползутся по швам, и "русский бунт, бессмысленный и беспощадный" стихийной лавой затопит и сожжет всё и вся... Символ тотальной мощи государства - Медный Всадник - трагическая судьба России. Это он, "в темных лаврах гигант на скале", - тот -

...чьей волей роковой
Под морем город основался...
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
О мощный властелин судьбы!
Не так ли ты над самой бездной
На высоте уздай железной
Россию поднял на дыбы?

Над самой бездной... У Пушкина это - как и его любовь к городу Медного Всадника - только предчувствие, только предугадывание. Чувство и мысль, оценка Петра и его Города, и его дела - двоятся мучительно, но и поэтически. Любовь к форме, к организации инертной материи берут чаще всего еще верх. Ведь Пушкин - единственный в русской культуре полнокровный и полноценный европеец, притом европеец не европейского Просвещения, а какого-то обновленного Ренессанса. И как не бояться ему, что Медный Всадник не обуздает, не сможет унять огнедышащую стихию "бессмысленного и беспощадного русского бунта"; и как ему не страшиться, что Император сам не разнуздает своего бешеного коня, не развяжет скованного титана революции. Россия давно, а особенно в Петербургскую эру, пошла путем уравнительных революций сверху и кровавого разрешения социальных проблем сверху и снизу. И Пушкин в разговоре с великим князем (Дневник, запись 22 декабря 1834 года) недоумевал, отвечая на вопрос великого князя: "зачем составлять tiers état, сию вечную стихию мятежей и оппозиций?..": "Что касается до

tiers-état, что же значит наше старинное дворянство с имениями, уничтоженными бесконечными раздроблениями, с просвещением, с ненавистью противу аристократии и со всеми притязаниями на власть и богатство? Эдакой страшной стихии нет и в Европе. Кто был на площади 14 декабря? Одни дворяне. Сколько их будет при первом новом возмущении? Не знаю, а кажется много... Vous etes bien de votre famille, сказал я ему (великому князю. Б.Ф.): tous les Romanof sont révolutionnaires et niveleurs...”.

Нет - это не хрестоматийный Пушкин - монархический ли или советский: это не без пяти минут декабрист и не верноподданный легитимист. Это - гениальный умник - и явный сторонник того, что можно было бы обозначить, как *аристократическую демократию*. Ведь такой и была она в древних Афинах и Риме, в Господине Великом Новгороде и старом Пскове. И в городских республиках Флоренции и Венеции. Там, где цвела и подлинная культура. И Пушкин явно боялся: а не хрупка ли мостовая петербургских улиц? Выдержит ли она натиск подземных стихий бунта и разрушения, эта культура Петербургской России? Но он и любил эту культуру, ибо хорошо понимал: вопрос о происхождении - и оценка - это совсем разные вещи. И хотя Петербург и петербургская культура и возникли на крови и рабстве, но сама-то культура прекрасна и гармонична. А вот выдержит ли она, вышедшая из топи блат, да над такой уже едва ли отвратимой бездной?

3. ПЕТЕРБУРГ ГОГОЛЯ И ДОСТОЕВСКОГО

”Слабел Пушкин - слабела с ним вместе и культура его поры: *единственной культурной эпохи в России*

прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. ...Во второй половине века, то, что слышалось в младенческом лепете Белинского, Писарев орал уже во всю глотку", - так отпел Пушкина и "единственную культурную эпоху в России прошлого века", культуру ампириного Петербурга, Александр Блок в своей речи "О назначении поэта", произнесенной в 84-ю годовщину смерти поэта.

Послепушкинские поколения разучились видеть красоту и строгую гармоничность трагического, но прекрасного Города. Не мудрое двоесловие Пушкина - и воспевающего гармонию организованной формы, и устрашающегося заключенной в тонкие и хрупкие формы холодного хрустального имперского сосуда стихии, бунтарской и дикой лавы; нет, чисто социально-этическое и социально-психологическое отношение к городу на Неве, по-своему тоже глубокое, но во всем видящее лишь мучительную дисгармонию. Уже Аполлон Григорьев любил "его, громадный, гордый град" "не за то, за что другие":

Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозираю в нем иное -
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание большое...

...И пусть его река к стопам его несет
И роскоши, и неги дани, -
На них отпечатлен тяжелый след забот,

Людского пота и страданий.
И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки, -
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумных страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать...

"...все дышит обманом, - вторит Аполлону Григорьеву Гоголь: - Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит палевые стены домов, когда весь город превращается в горы и блеск, мириады карет валятся с мостов, фореиторы кричат и прыгают на лошадях, и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем виде" ("Невский проспект").

Евгений "Медного Всадника" грозил бессильным кулаком обедневшего и вконец обобранного аристократа (даже невесту отняла от него петровская столица!) и шептал угрозы все-таки Медному Всаднику:

"Добро, строитель чудотворный! -
Шепнул он, злобно задрожав, -
Ужо тебе!.."

А кого может корить, кому может хотя бы кукиш в кармане показать "вечный титулярный советник", несчастный-разнесчастный Акакий Акакиевич? Лишь после смерти, чиновником-привидением, хватает он за шиворот "значительное лицо", да и то всего лишь *департаментского* штатского генерала... И если даже у героя отвалится нос, как у майора Ковалева, и если герой встретит этот самый свой собственный нос в шляпе с плюмажем и шпагой на боку, но в мундире другого

совсем ведомства, самостоятельно и раздельно от своего хозяина, своего собственника; а ведь нос, его, Ковалева, нос разгуливал, разъезжал в карете, "и с выражением величайшей набожности молился" в Казанском соборе!

"Как подойти к нему? - думал Ковалев. - По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Чёрт его знает, как это сделать!" Даже собственные органы тела перестают повиноваться своему господину, а подчиняются сложно-мундирной, прямолинейно-иерархической бюрократической машине Петербургской России. Государство обесчеловечивает человека, дробит его душевную и физическую личность - где уж тут шептать "Ужо тебе!" Медному Всаднику! А тут еще без займов не проживешь, а алчные ростовщики даже после своей смерти клещами вытягивают все соки, всю душу у должников своих...

Не лучше ли быть таким вылощенно-безмозглым поручиком Пироговым, коего выпороли за шашни с прелестной немочкой муж ее - питерский немец-ремесленник, и его друг - немец-сапожник. "Он (Пирогов) разом хотел подать письменную просьбу в главный штаб. Если же главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в государственный совет, а не то самому государю. Но все как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из «Северной Пчелы» и вышел уже не в столь гневном положении".

Зато тяжко, непомерно тяжко мечтателям-чудакам, идеалистам и носителям творческой фантазии, таким, как художник Пискарев: "Но в это время подошел (к ней, воплощенной мечте художника, встреченной на улице красавице. Б.Ф.) довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Писка-

рева и дала знак оставаться на месте и ожидать ее прихода..." Но разве удержишь романтика-мечтателя? Он ринулся за Мечтой-Дульсинеей, - и очутился в публичном доме: его Дама оказалась даже не скотницей-Альдонсой: - проституткой.

И другой - мечтатель "Белых ночей" Достоевского - обделенный счастьем - обделенный любовью и жадно хватающийся за призрак любви, за дружество любящей другого, другого ждущей: "- Послушайте, послушайте! ...Я мечтатель; у меня так мало действительной жизни, что я такие минуты, как эту, как теперь, считаю так редко, что не могу не повторять этих минут в мечтаньях..." И как больно бьет этих фантазеров, прекраснодушных и слабых, и в слабости своей пленительных, как чуть чахоточные белые ночи Петербурга, - как хлещет их жестоко реальная жизнь! И одни из них, кто немного поактивнее, идут в лирическую литературу, кто несколько более заражен этицизмом - "в кающиеся дворяне", уже в факте построения Столицы на костях видящих и свою вину... На топях и непролазных болотах строилась *Империя*, созидалась *имперская* мощь и культура. На крови. На костях воздвигнут и город-вампир. Строили Петербург согнанные со всей Руси крепостные, да каторжане из беглых солдат. Сгоняли их

Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить -
Годик был тяжелый, за Невую в лето
Вырос городок!

В "Миазме" прекраснодушного - тоже петербургского мечтателя! - Полонского один вот из десятков тысяч таких загубленных на строительстве имперского парадиза - Петербурга - мужичков, мужичонко-при-

зрак, является матери погибшего от болотных миазмов ребенка и рассказывает о смерти своей:

Умер - шабаш!
Вот на этом самом месте и зарыли...
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли -
То-то ли теперь!
Ге! теперь не то что... миллион народу... -
Стены выше гор,
Из подвальной ямы выкачали воду -
Дали мне простор...
Ты меня не бойся: - что я? Мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил...

Ответственность всех за вся... У Достоевского она - основная заповедь христианского сознания. У "кающихся дворян" - призыв идти в народ, искупать свою *родовую* вину - социалистический вариант первородного греха... Некоторые начинают подходить к живой жизни с новым непреложным катехизисом - материалистической статистикой и социальной рецептурой из западных сен-симонистских, фурьеристских, а потом и отечественных беллинско-чернышевских брошюр... Разве не окупится, мол, одна ничтожная жизнь, отнятая у не человека - кровопийцы-вши, гнусной старушонки-процентщицы, - на деньги которой можно избавить от голодной смерти, вызволить из домов разврата десятки униженных и оскорбленных? И Раскольников берет топор, - и - как в чаду, в трансе, идет убивать старуху-ростовщицу. А затем понимает, что не старушонку он зарубил, а себя самого убил, ибо не приложима социальная статистика к живой жизни.

Теперь Петербург уже не город стремительно летящих вдаль проспектов, стройный, несколько сухопарый, закованный в гранит красавец. Город дворцов и парков остается где-то по ту сторону желтых невских туманов, а вперед выступают с обвалившейся штукатуркой многоквартирные дома облезлых переулков, осклизлые, провонявшие кошками и разлитым супом из дешевых кухмистерских черные лестницы, покрытые плесенью, с отстающими обоями комнатенки городской бедноты. Не элегантный Евгений Онегин в его широком боливаре, в панталонах палевых или "цвета бедра испуганной нимфы", обтягивающих нервную ногу русского дэнди, а жидколягий оборвыш-студент "Преступления и наказания" или "Униженных и оскорбленных", хмуро-лохматый и угрюмо-застенчивый, а потому грубо обрывающий оппонента, дерзкий более благоуспевающему. Целые поколения разучаются видеть красоту и гармонию Петербурга. Целые поколения забывают и Пушкина. А те, что помнят и любят его, читают его по-другому, берут из него не певца моцартовского приятия жизни, восклицавшего:

Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

- нет, теперь и Пушкин раскрывается на других своих страницах:

И с отвращением читаю жизнь мою,
Я трепещу и проклиная,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Не "глагол времен, металла звон" меднозвучного Гаврилы Державина; не "сионские высоты" и яснодушность Пушкина, - нет - надрывный, срывающийся голос Некрасова -

...Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Для него, Некрасова, Петербург - чухонская столица:
"она до наших дней с Россией не слилась":

Театры и дворцы, Нева и корабли,
Несущие туда со всех сторон земли
Затеи роскоши; музеи просвещения,
музеи древностей - "все признаки ученья"
В том городе найдешь; нет одного, души!
Там высох человек...

так, балаганя и пародируя "Медного Всадника", от всей души проклиняет Некрасов Северную Пальмиру.

В туманы желто-бурые уплыла столица "в гранит одевшейся Невы", скрылись за ними дворцы. Лишь одинокая Неточка жадно прислушивается к далеко звенящим скрипкам и густому меду виолончели за горящими алыми занавесями барского особняка. Большинство же или проходит мимо особняков со злобно сжатыми кулаками - или ушло в свое каменное и душевное подполье...

"Мне теперь хочется рассказать вам, господа, желается или не желается вам это слышать, почему я даже и насекомым не сумел сделаться. ...Клянусь вам, господа, что слишком сознать - это болезнь, настоящая, полная

болезнь. Для человеческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре. (Города бывают умышленные и неумышленные.) Совершенно было бы довольно, например, такого сознания, которым живут все так называемые непосредственные люди и деятели..." ("Записки из подполья").

Сознавать - и не мочь. Сознавать - и ясно чувствовать всю свою, человеческую, непригодность для дел добра, для творчества подлинно-прекрасной жизни. И это - не только сомнение в себе самом, человеке из подполья. Нет, "подполье" это - в каждом человеке. "Чем больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я опускался в мою тину и тем способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во мне было, а как будто ему и следовало так быть. как будто это было самое мое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не порча..." В наши дни наивно-мудро и хорошо повторит за Достоевским эту мысль молодой Юрий Галансков, сведя ее, правда, только к одному из ее аспектов - социально-этическому: "Жизнь слишком греховна, чтобы рай на земле мог быть утвержден в результате переговоров между болтунами".

В чем же выход? По тому ли пути пошла Петербургская Россия?

4. "ПИТЕР, ЧТО НАРОДУ БОКА ПОВЫТЕР"

По тому ли пути пошла Петербургская Россия? Не был ли путь Петра и скороспело, односторонне (лишь технически, вернее, военно-технически, а затем - и социально-идеологически) проводившаяся европеизация, проводившаяся притом методами "революции сверху", - путем, разрушавшим самые устои русского общества, русского народного самосознания, русского самобытия? Ставили этот вопрос и европейски просвещенные, на высоком уровне европейской культуры стоявшие славянофилы (чего нельзя сказать о невежественном как вывеска Белинском и огромном большинстве западников), кричал во весь голос об этом Достоевский: - "Господи, да какие мы русские - мелькало у меня подчас в голове... Действительно ли мы русские в самом-то деле? Почему Европа имеет на нас, кто бы мы ни были, такое сильное, волшебное, призывное впечатление? То есть, я не про тех русских теперь говорю, которые там остались, ну, вот про тех простых русских, которым имя пятьдесят миллионов, которых мы, сто тысяч человек, до сих пор пресерьезно за никого считаем и над которыми глубокие сатирические журналы наши до сих пор смеются за то, что они бород не бреют. Нет, я про нашу привилегированную и патентованную кучку теперь говорю. Ведь всё, решительно почти всё, что есть в нас развития, науки, искусства, гражданственности, человечности, всё, всё ведь это оттуда, из той же страны святых чудес! Ведь вся наша жизнь по европейским складам еще с самого детства сложилась. Неужели же кто-нибудь из нас мог устоять против этого влияния, призыва, давления? Как еще не переродились мы окончательно в европейцев? Что мы не переродились - с этим, я думаю, все согласятся, одни с радостью, другие, разумеется, со

злостью за то, что мы не доросли до этого перерождения. Это уж другое дело. Я только про факт говорю, что мы не переродились даже при таких неотразимых влияниях, и не могу понять этого факта. Ведь не няньки ж и мамки наши уберегли нас от перерождения. Ведь грустно и смешно в самом деле подумать, что не было б Арины Родионовны, няньки Пушкина, так, может быть, и не было б у нас Пушкина. Ведь это не вздор. Неужели же не вздор? А что если и в самом деле не вздор?" ("Зимние заметки о летних впечатлениях").

Это совсем не "квасной патриотизм". Ведь француз потому и француз, и поэтому и *европеец*, - что он *француз*. Ведь англичанин, немец, швед, испанец, итальянец только потому *европейцы*, что каждый из этих народов культурно *самобытен*, а не является скопищем тех "средних европейцев", обезличенных средне-буржуазных существователей, которым, по вешнему слову Константина Леонтьева, надлежит завершить и закончить, навеки убить европейскую культуру. Впрочем, К. Леонтьев не верил, что Россия спасет мир, что в русском народе панацея от всех социальных, идейных, политических и культурных болезней человечества. Напротив, он полагал, что "русское общество, и без того эгалитарное по привычкам, помчится еще быстрее всякого другого по смертному пути всесмешения и - кто знает? - подобно евреям, не ожидавшим, что из недр их выйдет учитель Новой Веры, - и мы, неожиданно, из наших государственных недр, сперва бессловесных, а потом бесцерковных... родим Антихриста..."

Леонтьев явно перекликается здесь с самосожженческими расколоучителями Петровских времен, видевшими в Петре "оморок мирской", антихриста, прижитого немкой, смесителя всего и вся в одну кровавую чёртову массу, порушителя устоев подлинной жизни. Ну, как и

у К. Леонтьева, уверенного в том (а его еще называют "славянофилом"!), что "мы поставлены в такое центральное положение именно только для того, чтобы окончательно смешав всех и вся, написать последнее «менетекел-фарес» на здании всемирного государства для того, чтобы окончить историю, погубив человечество в разлитии всемирного равенства...". Это смешение началось в России давным-давно: Иваны - дедушка и внучек - Третий и Грозный, а, главное, Петр, который "до конца не мог понять ни исторической логики, ни физиологии народной жизни" (В. О. Ключевский).

Желтый пар петербургской зимы,
Желтый снег, облипающий плиты...
Я не знаю, где вы, и где мы,
Знаю только, что крепко мы слиты.
Сочинил ли нас царский указ?
Потопить ли нас шведы забыли?
Вместо сказки в прошедшем у нас
Только камни да страшные были.
Только камни нам дал чародей,
Да Неву буро-желтого цвета,
Да пустыни немых площадей,
Где казнили людей до рассвета.
А что было у нас на земле,
Чем вознесся орел наш двуглавый,
В темных лаврах гигант на скале, -
Завтра станет ребячьей забавой.
Уж на что был он грозен и смел,
Да скакун его бешеный выдал,
Царь змеи раздавить не сумел,
И прижатая стала наш идол.
Ни кремлей, ни чудес, ни святынь,
Ни миражей, ни слез, ни улыбки...

Только камни из мерзлых пустынь
Да сознание проклятой ошибки. ...

(Иннокетий Анненский)

"Быть Питербурху пусту" - пророчили самосожженцы-раскольники. Даже умственно-невинный, но обладавший песенным даром Игорь Северянин вторит этим словам:

Ты проклят. Над тобой проклятья.
Ты точно шхуна без руля.
Раскрой же топкие объятья
Держащая тебя земля.

Но можно ли, легко и бездумно, отказаться от Петра и Петербургской культуры? Ведь именно она дала России ее позднее цветение, дала того же Достоевского, дала хрупкое, антигосударственное, но такое характерное и такое оригинальное историческое образование, как русская интеллигенция, в высшем, творческом ее слое? Пусть тонок этот слой русской петербургской культуры. Пусть неорганична она, пусть она, по выражению умного (это не так часто!) марксистского критика Михаила Левинова все равно, что "шелковый цилиндр на вшивой голове": дворцы Расстрелли и Росси - и непролазные проселочные дороги, по которым "едешь, а за тобою вся Россия на колесах грязью тянется"; Пушкин, Гоголь, Мусоргский, Достоевский - и 80% неграмотного населения к концу классического, плодотворного XIX века... И все же: "У нас создан веками какой-то еще не бывший высший культурный тип, которого нет в целом мире - тип всемирного боления за всех. Это - тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое

народа русского, то, стало быть, я имею честь принадлежать к нему. Он хранит в себе будущее России. Нас, может быть, только тысяча человек, но вся Россия жила пока лишь для того, чтобы произвести эту тысячу", - говорит Версиков у Достоевского ("Подросток"). Во всяком случае, прямо вопроса не решить: двоесловие, двоемыслие, свойственные Пушкину в оценке Петра и Петербурга, остаются а полной силе и теперь...

Но "прижатая змея" сомнений и бунта, недовольства и революции, да еще и внутреннего распада Империи на Русь, Рассею и Россию - на староверскую, старозаветную и интеллигентскую страну всегдашнего раскола, - эта змея никак не раздавлена Петром и Петербургской государственностью. Она порождает правомерное брожение умов и страстей: человеческое моральное сознание не мирится с социальной несправедливостью и бедой народных масс. Но механический, статистический подход к живой народной жизни порождает неизбежно марксистскую материалистическую шигалевщину:

Я напишу: "Завет мой - справедливость!"

И враг прочтет: "Пощады больше нет"...

(Максимилиан Волошин)



И во имя новомодных теорий, брошюрно-легковесного идеологизирования, теорий и брошюрок, напрокат взятых и плохо даже усвоенных, идя от исконной Руси в Европу, - на деле от Европы отворачиваются целые поколения социальных теоретиков и революционеров:

И вновь Император

стоит без скипетра

Змей.

Уныние у лошади на морде,

И никто не поймет тоски Петра -
узника,

закованного в собственном городе.

(Вл. Маяковский)

Новый комментарий - комментарий Маяковского - к пушкинскому "Медному Всаднику". Город - средоточие русской культуры, город - средоточие культуры русской интеллигенции и русской аристократии, - город воистину прекрасный, но культура-то эта, в основной своей части, - лишь эпифеномен, лишь тонкая пена, кружевная и истонченно-непрочная, на мощной стихии общенародного Окиян-моря. Даже в самом Питере она окружена совсем другим:

А вокруг старый город Питер, -

Что народу бока повытер,

(Как тогда народ говорил).

В гривах, в сбруях, в мучных сбозах,

В размалеванных чайных розах

И под тучей вороньих крыл. ...

(А. Ахматова)

Старый спор между Петербургом и Москвой, между почвенниками и западниками начинается снова, с большим жаром и большим ожесточеньем в годы революционного предбурья...

5. ПЕТЕРБУРГ-ПЕТРОГРАД РЕВОЛЮЦИОННОГО ПРЕДБУРЬЯ

Звучит это парадоксально, но национальные мотивы более заметны в искусстве и литературе, в философской мысли Петербурга, а не Москвы. Достоевский, а в двадцатом веке Соллогуб, Блок, Ахматова, Клюев, Заболоцкий - в литературе; Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Стравинский, Прокофьев (а до них Глинка и Даргомыжский) - в музыке... Когда поперек горла представителям русской культуры становятся обязательные "невидимые миру слезы", гражданская скорбь и исключительное, всепоглощающее внимание к социально-политическому резонерству и сентиментализму; когда даже передовые студенты начинают понимать - пусть еще не все, а меньшинство, но все-таки не все, - что в культуре и духовной жизни свет не клином сошелся на материализме-марксизме-атеизме-социализме, что "Выдь на Волгу, - чей стон раздается" - вовсе не лучшие русские стихи, - появляются и люди, наслаждающиеся строгой красотой Петербурга, видящие не только кровь и пот его строителей, но и его величавую гармонию.

Лады воздушная и мачта-недотрога,
Служа линейкою преемникам Петра,
Он учит: красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра.
Нам четырех стихий приязненно господство;
Но создал пятаю свободный человек.
Не отрицает ли пространства превосходство
Сей целомудренно построенный ковчег?
Сердито лепятся капризные медузы,
Как плуги брошены, ржавеют якоря, -

И вот разорваны трех измерений узы
И открываются всемирные моря.

(Мандельштам)

"Мир искусства" и художники, сгруппировавшиеся около него - художники кисти и пера, звука и архитектурных линий, начинают увлеченно и упоенно воспевать Город Петра, стремительность его линий, элегантную дорогую простоту его набережных, величавость его дворцов, сам строй его жизни:

Петербуржанке и северянке
люб мне ветер с гривой седой,
тот, что узкое горло Фонтанки
заливает невской водой.
Знаю, будут любить мои дети
невский седобородый вал,
оттого, что был западный ветер,
когда ты меня целовал.

(М. Шкапская)

Да молодости не до историософского пессимизма!
Глубокие раздумья избородят лоб Анны Ахматовой
позже, а сейчас ей, петербуржанке тоже, хочется только
жить, любить полной грудью:

Сердце бьется ровно, мерно.
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Для Блока, стоящего на грани двух веков, еще продолжающего дышать воздухом "миллиона терзаний" века девятнадцатого, не таков Петербург, не таков и Медный Всадник, господствующий над Городом.

Он спит, пока закат румян,
И сонно розовеют латы.
И с тихим свистом сквозь туман
Глядится змей, копытом сжатый.
Сойдут глухие вечера,
Змей расклубится над домами.
В руке протянутой Петра
Запляшет факельное пламя. ...
...Плщами всех укроет мгла,
Потонет взгляд в манящем взгляде.
Пускай невинность из угла
Протяжно молит о пощаде!
Там на скале веселый царь
Взмахнул зловонное кадило,
И ризой городская гарь
Фонарь манящий облачила! ...
...Он будет город свой беречь,
И, заалев перед денницей,
В руке простертой вспыхнет меч
Над затихающей столицей.

Петербург - аномалия. Петербург, нацело оторвавшийся от нравственной и физической природы всей коренной России, - мираж, а, может статься, не вполне мираж? Для москвича Андрея Белого... "прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек. И разительно от них всех отличается Петербург. Если же вы продолжаете утверждать нелепейшую легенду - существование полуторамиллионного московского населения, - то придется сознаться, что столицей будет Москва, ибо только в столицах бывает полуторамиллионное население; а в городах же губернских никакого полуторамиллионного населения нет, не бывало, не будет. И согласно нелепой легенде окажется, что столица не

Петербург. Если же Петербург не столица, то - нет Петербурга. Это только кажется, что он существует" ("Петербург"). Какая переключка с Гоголем и Достоевским! Блок тоже великолепно чувствует эту обреченность и эту невсамделишность Петербурга и Петербургской России. Еще в год первой революции, в 1905 году, видит он эту близкую гибель Петербургской империи:

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.
Еще несчастных, просящих хлеба,
Никому не жаль, никому не жаль!
И над заливами голос черни
Пропал, развеялся в невском сне.
И дикие вопли: "Свергни. О! Свергни!" -
Не будят жалости в сонной волне...
И в небе сером холодные светы
Одели Зимний Дворец царя.
И латник в черном не даст ответа,
Пока не застанет его заря.
Тогда, алея над водной бездной,
Пусть он угрюмый опустит меч,
Чтоб с дикой чернью в борьбе бесполезной
За древнюю сказку мертвым лечь...

Революционные страсти накаляются, оппозиционные настроения охватывают общество сверху донизу, - и ни эстетские побрякушки, ни религиозно-философские разглагольствования не спасут: "все это становится модным, уже модным - доступным для приват-доцентских жен и для благотворительных дам. А на улице - ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, людей вешают, а в стране - реакция, а в России - жить трудно, холодно, мерзко...".

Зачем же это "идиотское мелькание слов", когда "мы еще не знаем в точности, каких нам ждать событий, но *в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа*. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева, на легком, кружевном аэроплане, высоко над землею; а под нами - громыхающая и огнедышащая гора, по которой за тучами пепла ползут, освобождаясь, ручьи раскаленной лавы". Так писал в те годы Блок. Так переживала те годы вся прогрессивная интеллигенция. И только ли интеллигенция? Даже очень, весьма далекие от интеллигентских настроений вдумчивые люди понимали хорошо обреченность Петербургской культуры.

Умный и пронзительный В. Б. Розанов писал: "Все "казенное" только формально существует. Не то беда, что Россия в "фасадах": а что фасады-то эти - пустые. И Россия - ряд пустот. "Пусто" правительство - от мысли, от убеждения. Но не утешайтесь - пусты и университеты. Пусто общество. Пустынно, воздушно. Как старый дуб: корка, сучья - но внутри - пустоты и пустоты"... А интеллигентская "сострадательность" - это не христианская любовь к ближнему, а умозрительная, отвлеченно-гуманистическая любовь "ко всему человечеству" (то есть ни к кому отдельно), "любовь к дальнему", вернее, - отсутствие подлинной любви, а эмоционально-поверхностная сентиментальность. "Европейская цивилизация погибнет от сострадательности... Механизм гибели европейской цивилизации будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния: и в конце концов злодеи разорвут мир. Заметьте, что уже теперь теснится, осмеивается, пренебрежительно оскорбляется все доброе, простое, спокойное, попросту добродетельное. Он зарезал 80-летнюю бабу и ее 8-летнюю внучку. Все молчат. "Не интересно". Вдруг резчика "мещанин в чуйке" ("Пре-

ступление и наказание”) полоснул по морде. Все вскакивают: “Он оскорбил *лицо человеческое*”, он “совершил некультурный акт”. Так что собственно (погибнет) не от сострадательности, а от лжесострадательности... В каком-то изломе этого... Цивилизации гибнут от извращения основных добродетелей, стержневых, “на роду написанных”, на которых “все тесто возшло”... .. “Гуманность” (общества и литературы) и есть ледяная любовь...” (В. Розанов. “Опавшие листья”).

Опять - пересмотр “дела Петрова” и Петербурга: технизм Петра, сострадательность - без Бога и бессмертия, а потому “ледяная любовь” - “любовь ко всему человечеству” - гуманистической и социалистической интеллигенции...

Великий циник Ленин, одной рукой насаждая “для массового употребления” веру в то, что на смену прогнившему царизму, капитализму, царству эксплуатации, угнетения, рабства - придет царство свободы, равенства, творческого труда (Марксов “прыжок из царства необходимости в царство свободы”); что новым Духом Святым-Параклетом-Утешителем явится пролетариат, которому надлежит закончить историю царствием Божиим (без Бога) на земле, - другой рукой откровенно писал *для немногих* (ибо скука ленинских писаний и многословие его высказываний - лучшая гарантия, что их никто никогда не прочтет из “масс”) совсем, совсем другое... Он указывал, что современное индустриальное общество - та же фабрика: какая там может быть свобода для рабочих! Все централизовано, все подчинено ритму машинной работы, ее дисциплине. Так и пролетариат, придя к власти, должен быть организован в соответствии с принципом технической целесообразности. Разве все пролетарии сознательны? Одинаково политически развиты? Нет, конечно. Но пере-

довой отряд пролетариата - партия. Она и до, и после победы пролетариата представляет почти весь или даже весь пролетариат: "Мы - партия класса, - писал Ленин в 1904 году, - и потому *почти весь класс* (а в военные времена, в эпоху гражданской войны, и совершенно весь класс) должен действовать под руководством нашей партии, должен примыкать к нашей партии как можно плотнее, но было бы маниловщиной и "хвостизмом" думать, что когда-либо почти весь класс или весь класс в состоянии, при капитализме, подняться до сознательности и активности своего передового отряда своей социал-демократической партии" (Соч., изд. 4, т. 7, стр. 240).

Ленин отказывает классу-могильщику всех эксплуататорских режимов, классу, которому следует возглавить "прыжок человечества из царства необходимости в царство свободы", будущему классу-гегемону даже в праве создания своими силами своей собственной идеологии: пролетарскую, социалистическую идеологию могла принести пролетариату только интеллигенция: "...социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, т. е. убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и т. д. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенцией. ...И в России теоретическое учение социал-демократии возникло совершенно независимо от стихийного роста рабочего движения, возникло как есте-

ственный и неизбежный результат развития мысли у революционно-социалистической интеллигенции" (Соч., изд. 4, т. 5, стр. 347-348).

Творческая свобода, свобода мысли, свобода творчества? Помилуйте, господа! - "Литература должна стать партийной. В противовес буржуазным нравам..., в противовес буржуазному литературному карьеризму и индивидуализму, "барскому анархизму" и погоне за наживой, - социалистический пролетариат должен выдвинуть принцип *партийной литературы*, развить этот принцип и провести его в жизнь в возможно более полной и цельной форме. В чем же состоит этот принцип партийной литературы? Не только в том, что для социалистического пролетариата литературное дело не может быть орудием наживы лиц или групп, оно не может быть вообще индивидуальным делом, независимым от общего пролетарского дела. Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать *частью* общепролетарского дела, "колесиком и винтиком" одного единого, великого социал-демократического механизма, приводимого в движение всем сознательным авангардом всего рабочего класса. Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы" (Соч., изд. 4, т. 10, стр. 27). А так как авангардом пролетариата является партия пролетариата - будущая коммунистическая, а так как партия не терпит ни малейших разногласий ни в чем решительно и строится иерархически, - то Ленин уже в 1906 г. проповедует полностью - под именем "демократического централизма" тоталитарный этатизм.

Невольно приходится злоупотреблять цитатами, и цитатами часто длинными: ведь излагаются не мысли автора, Бориса Филиппова, а литературные отклики на

проблемы Петербургской России, а литературные высказывания, предваряющие появление своеобразнейшего явления наших дней - "Ленинградского Петербурга". А пока, в годы предбурья, между двумя революциями, кипят литературные страсти, появляются и мыслители, прошедшие через горнила марксистского социализма и разочаровавшиеся в нем и в революции. И в философии нужно теперь не уродливое мельтешение слов, а, по словам бывшего марксиста С. Н. Булгакова: "Загадку жизни разрешает не тот, кто с высоты "отрешенного" идеализма холодно озирает нашу жизнь, где высокое перемешано с низким и добро со злом, и не тот, кто в этой борьбе забывает о материальных началах, во имя которых эта борьба ведется и без которых жизнь превратилась бы в бессмысленную игру стихий и страстей, а тот, кто в мысли и в жизни осуществляет начала *действенного идеализма*, кто, по слову Вл. Соловьева, «Цепь золотую сомкнет, и небо с землей сочетает»" ("От марксизма к идеализму", 1903, стр. 347). В социалистические прекраснотушные обещания многие перестают верить. Умнейший мужик Николай Клюев противопоставлял обещаниям марксистов-социалистов свой (утопический тоже) мужицкий рай:

Вы обещали нам сады
В краю улыбчиво-далеком,
Где снедь - волшебные плоды,
Живым питающие соком.
Вещали вы: "Далеких зла
Мы вас от горестей укроем.
И прокаженные тела
В ручьях целительных омоем".
На зов пришли: Чума, Увечье,
Убийство, Голод и Разврат,

С лица - вампиры, по наречью -
В глухом ущелье водопад.
За ними следом Страх тлетворный
С дырявой Бедностью пошли. -
И облетел ваш сад узорный,
Ручьи отравой потекли.
За пришлецами напоследок
Идем неведомые Мы, -
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.
Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы - валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

Но, конечно, и Клюев не думает о *всем* крестьянстве, как о панацее от всех социальных, культурных и духовных бед России и человечества: старовер и раскольник, Клюев видит спасенье в возвращении к истокам национальной культуры и староверью - в крепком и умном староверческом и раскольниковьем крестьянстве. А в деревне вообще видит Клюев совсем другое. В статье "Стихия и культура" Блок приводит ряд мест из письма к нему Клюева, в которых говорится о двух стихиях, поднимающихся из поддонных глубин народа русского: о раскольниках и сектантах, с одной стороны, и разбойной, преступной вольнице, с другой. Характеризуются они записанными Клевым песнями: сектанты поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью полита.

Песни вольницы иные:

У нас ножики литые,
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят -
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...

"В дни приближения грозы, - комментирует Блок, - сливаются обе эти песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про "литые ножики", и те, кто поет про "святую любовь", - *не продадут друг друга*, потому что - стихия с ними, они - дети одной грозы; потому что - земля одна, "земля Божья", "земля - достояние всего народа". Распалась месть Культуры, которая вздыбилась "стальной щетиною" штыков и машин. Это - только знак того, что распалась и другая месть - месть стихийная и земная. Между двух костров распалившейся мести, между двух станов мы и живем. Оттого и страшно: каков огонь, который рвется наружу из-под "очерепевшей лавы"? Такой ли, как тот, который опустошил Калабрию, или это - очистительный огонь? Так или иначе - мы переживаем страшный кризис".

Да, время между двумя революциями - может быть, самое свободное время, время наибольшей творческой свободы в России. Да, в эти годы цветет русское свободо- и разномыслие, начинается ренессанс философской и религиозно-философской мысли, цветет последним тончайшим, изощреннейшим цветом русский театр, русская поэзия - Петербургская эра становится столь передовой, что рискует быть последней, по остроумному

замечанию Вл. Соловьева. Огромными шагами идет и развитие русской промышленности, русского народного хозяйства, народного образования. Видит это и Блок, недаром посвятивший "Новой Америке" свою оду... Увидел это хорошо и младший ровесник Октября, Александр Солженицын в первом узле "Августа Четырнадцатого", писавший о разговоре первого года войны, разговоре типичном:

"- А разрешите узнать, какая, например, из Гегеля ваша любимая мысль? Ну, просто, какая первая вспоминается? - Пожалуй, развитие через СКАЧОК! - в скачке было что-то затягивающее... Но если вы гегельянец, вы ж должны утверждать государство. ...А государство - оно не любит резкого разрыва с прошлым. Оно именно постепенность любит. Перерыв, скачок - это для него разрушительно"...

И Солженицын рисует и новых героев "Новой Америки" - бывшего революционера инженера-изобретателя, ставшего противником революций и строителем русского богатства, русской промышленности, и инженера - русского еврея, всю свою творческую жизнь отдающего развитию мельничного строительства, развитию сельского хозяйства России...

Но затяжная, томительно-мучительная война оборвала развитие и рост "Новой Америки" - и высвободила и подспудные силы стихийного русского бунта - "бессмысленного и беспощадного", по словам Пушкина, и якобинские силы революционных кружков, иногда - идеалистических, иногда - по-ленински демагогических и тоталитарных. "Революция сложена из двух пластинок: нижняя и настоящая archens agens ее - горечь, злоба, нужда, зависть, отчаяние. Это - чернота, демократия. Верхняя пластинка - золотая: это - сибариты, обеспеченные и ничего не делающие; гуляющие; не служащие. Но

чем-нибудь, "на прогулках" были уязвлены, или - просто слишком добры, мягки, уступчивы, конфетны. Притом, в своем кругу они - только "равные", и кой-кого даже непременно пониже. Переходя же в демократию, они тотчас становятся *primi inter pares*. ...Итак, две пластинки: движущая - это черная рать внизу, "нам хочется", и - "мы не сопротивляемся", пассивная, сверху..." (В. Розанов).

Революция, провал в "топи блат" Петербургской империи и культуры были предreshены. Осип Мандельштам писал в 1916 году:

В Петрополе прозрачном мы умрем,
Где властвует над нами Прозерпина.
Мы в каждом вздохе смертный воздух пьем...

6. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПЕТЕРБУРГ

Вот пришла та долго и страстно жданная Царевна-Ненаглядная-Краса, которую так нетерпеливо призывали, которую заранее благословляли: Революция. Но интеллигенция не оказалась государственно мыслящей и зрелой. Не обнаружилось и крепко стоящих на ногах политических деятелей. Сказалась трагическая разорванность русского культурного слоя - и народных масс, сказалась и прекраснодушная, глубоко-этическая политическая непрактичность интеллигенции. Революция рассматривалась больше как праздник обновления, чем как прозаическое, скучное, мелочно-взедливое делание. Ремизов, ведущий в те дни "временник", записывает: "С самого первого дня в Таврическом дворце - известно, там в бывшей Государственной Думе все и происходило, "решалась судьба России"... ...К Таврическому дворцу с

музыкой водили войска. Один полк какой-то великий князь сам привел, и об этом было много разговору. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты, медали, - чтобы передать Родзянке. Появились из деревни ходоки: посмотреть нового царя - Родзянку. Родзянко был у всех на устах. В то же время в том же Таврическом дворце, где сидел этот самый Родзянко, станом расположились другие люди во главе с Чхеидзе - Совет рабочих и солдатских депутатов. Тут-то, - так говорилось в газетах, - Керенский вскочил на стул и стал говорить - Я заметил два слова - две кнопки, скреплявшие всякую речь, декларацию и приказ той поры: - смогу - всемерно. - И Родзянко пропал, точно его и не бывало. К Таврическому дворцу с музыкой водили войска. С войны приезжали солдаты, привозили деньги, кресты и медали - чтобы передать Керенскому. Появились из деревень ходоки: посмотреть нового царя - Керенского. Керенский был у всех на устах. И третье слово, как третья кнопка, скрепило речь: - нож в спину революции. ...Демонстрации с пением и музыкой ежедневно. Митинги - с прыжками - ежедневно и повсеместно. Все, что только можно было словами выговорить и о чем могли лишь мечтать, все сулилось и обещалось наверняка: земля, повышение платы, уменьшение работы, полное во всем довольство, благополучие, рай..."

Осип Мандельштам характеризует те немногие месяцы русской свободы, русского праздника ядовито-метко: "Стояло лето Керенского и заседало лимонадное правительство. Все было приготовлено к большому котильону. Одно время казалось, что граждане так и останутся навсегда, как коты, с бантами. Но уже волновались айсоры-чистильщики сапог, как вороны перед затмением, и у зубных врачей начали исчезать штифтовые зубы".

Крестьянин-старовер Николай Ключев принял революцию, как синтез западной всемирной свободы и русского староверья. Более того, в его стихах тех лет слышатся и ноты оригенизма: все спасутся, наступает Царство Христово на земле, даже демоны будут прощены и вольются в общий хор, вопиющий Осанну:

То колокол наш - непомерный язык,
Из рек бичеву свил Архангелов лик.
На каменный зык отзовутся миры,
И демоны выйдут из адской норы,
В потир отольются металлов пласты,
Чтоб солнца вкусили народы-Христы...

Но "лимонадное время" Керенского длилось недолго:

А по набережной легендарной
Приближался не календарный -
Настоящий Двадцатый Век...

(Ахматова)

Октябрь обещал "землю, волю, лучшую долю", он был еще более щедр на посулы, на обещания, чем Февраль. И хотя за Октябрем пошло далеко не так много, но и не так мало русского народа, а пошедшие были организованы новыми шигалевцами много крепче, много лучше, чем это могла сделать русская идеалистическая интеллигенция. И интеллигенция, готовившая и воспевавшая народную революцию, отшатнулась от ее завершения в Октябре.

"Стыдно сейчас надмеваться, ухмыляться, плакать, ломать руки над Россией, над которой пролетел революционный циклон. Значит, рубили тот сук, на котором сидели? Жалкое положение: со всем сладострастием

ехидства подкладывали в кучу отсыревших под снегами и дождями коряг - сухие полешки, щепочки, - а когда пламя вдруг вспыхнуло и взвилось до неба (как знамя), бегать кругом и кричать: «Ах, ах, сгорим!»» - горько укорял в те дни вначале принявший революцию, как очистительную стихию Александр Блок: "Надменное политиканство - великий грех. Чем дальше будет гордиться и ехидствовать интеллигенция, тем страшнее и кровавее может стать кругом... Бороться с ужасами может только дух... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием - слушайте революцию!"

И Блок видел в разбойной вольнице "Двенадцати" эту темную, слепую, напичканную - в лучшем случае - ходячими фразками из революционных тощих брошюрок, но стихию, но чуть ли не космическую силу, которой суждено обновить мир:

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер
На всем Божьем свете...

Да, Блок увидел мировое значение Октября, когда во всем мире считали, что эта революция - провинциальное и быстро проходящее чисто русское явление. Но через лозунги Учредительного Собрания, обывательское негодование, большевистские и не-большевистские плакаты, под витийствующие завывания писательской братии; через оспу ругани, торговлю телом и душой; через заснеженные улицы голодного и холодного Петербурга-Петрограда; сквозь из нутра вырывающиеся крики "хлеба!" посутулившихся работяг и бродяг, институток и

проституток, писателей и спасателей - идут в неведомый им самим "настоящий Двадцатый Век" Двенадцать. Да, они почти или совсем уголовники: "на спину б надо бубновый туз", но ведь и Октябрь - "Свобода, свобода, эх, эх, без креста!" - и она не подхвачена вчерашними вождями, ныне дезертирами революции - интеллигентами. И ее подхватили они, большевики, именинники Октября. "Власть валялась в грязи на улице, - и никто ее не подбирал... Мы подобрали ее..." - скажет впоследствии Ленин. И вот на улицу выперла орда, пока что не только не обуздываемая, а даже науськиваемая большевиками:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови..

Временно, очень, очень недолго, поддерживают Октябрь крестьяне, особенно - староверы. Николай Клюев писал тогда:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в Поморских Ответах.
Мужицкая ноне земля...

И, совсем с других позиций, плакал над Россией и не мог до конца принять сердцем случившегося Розанов в "Апокалипсисе нашего времени": "Русь слиняла в два дня. Самое большее - в три. Даже "Новое время" нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частных. И, собственно, подобного

потрясения никогда не бывало, не исключая "Великого переселения народов". Там была - эпоха, "два-три века". Здесь - три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска. Что же осталось-то? Станным образом - буквально ничего". А виновна, по Розанову, во многом русская интеллигенция и ее, интеллигенции, литература: "В большом Царстве с большою силою, при народе трудолюбивом, смышленном, покорном, - что она сделала? Она не выучила и не внушила выучить - чтобы этот народ хотя научили гвоздь выковать, серп исполнить, косу для косьбы сделать ("вывозим косы из Австрии", география). Народ рос совершенно первобытно с Петра Великого, а литература занималась только "как они любили" и "о чем разговаривали". И все "разговаривали" и только "разговаривали"...

Через несколько месяцев после Октября бывший революционер Максимилиан Волошин почти в тех же словах отпевает Россию:

С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах; не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноища, как падаль...

Принесла ли Октябрьская революция крестьянам землю и волю, лучшую долю? Нет, уже вскоре, через год, а то и меньше, поэт-крестьянин, бедняк из бедняков, Пимен Карпов свидетельствует, что его "Русь обетованная" отдана ему на пропятие:

Сторонитесь, попы долгогривые,
Нипочем теперь мать и отец,
Разгулялось поволье гульливое,
Понакликало свету конец!..
Только голову жаль забубенную...
Не скули ты, гнусавый набат,
Будто Русь искромсали крещеную
Штык зазубренный, вострый булат...

Что Октябрь принес рабочим? Вернувшийся в 1917 году из эмиграции большой русско-польский революционер Махайский-Вольский писал в июне 1918 года в его журнале "Рабочая Революция", закрытом ленинцами чуть ли не на первом номере: "...может быть, все-таки, благодаря большевицкой диктатуре и "рабочему контролю" на фабриках, стало улучшаться материальное положение рабочих масс? Ничуть! Заработная плата совсем не поднялась. При бешенно растущей дороговизне, оплата труда значительно ниже, чем до октябрьского переворота. ...После февральского *буржуазного* переворота рабочая плата сильно повысилась и завоеван восьмичасовой рабочий день. После октябрьской *пролетарской* революции рабочие не получили ничего. Капиталистов... зависть брала при виде хозяйской руки коммунистов, которые ловким маневром предохранили себя от рабочих стачек и волнений". И Махайский призывает рабочих восстать против тирании бюрократии - партийной и государственной, производственной и мнимо-профсоюзной, он кричит о рождении нового правящего класса...

И когда интеллигенция идет, сломленная террором, голодом и холодом, на не служение народу уже, а - вольно или невольно - на *услужение* правящей партийной олигархии, она не может никак сохранить свою свободу, свою творческую независимость, свою душу:

Ноют жалобно гудки.
Ветер свищет вдоль реки.
Сумрак тает. Рассветает.
Пар встает от желтых льдин.
Желтый свет в окне мелькает.
Гражданина окликает
Гражданин:
- Что сегодня, гражданин,
На обед?
- Прикреплялись, гражданин,
Или нет?
- Я сегодня, гражданин,
Плохо спал:
Душу я на керосин
Обменял. -
От залива налетает резвый шквал,
Торопливо наметает снежный вал -
Чтобы глуше еще было и темней,
Чтобы души не щемило у теней.

(Зоргенфрей)

И теперь уже нет и разговоров о свободе, даже при социализме, когда он будет построен: "...о значении именно единоличной диктаторской власти с точки зрения специфических задач данного момента, надо сказать, что всякая крупная машинная индустрия - т. е. именно материальный, производственный источник и фундамент социализма - требует безусловного и строжайшего *единства воли*, направляющей совместную работу сотен, тысяч и десятков тысяч людей. И технически, и экономически, и исторически необходимость эта очевидна, всеми, думавшими о социализме, всегда признавалась как его условие. Но как может быть обеспечено строжайшее единство воли? - Подчинением воли тысяч воле одного.

...Так или иначе, *безусловное подчинение* единой воле для успеха процессов работы, организованной по типу крупной машинной индустрии, безусловно необходимо..."

Так писал Ленин в 1918 году. А так как общество советское строилось и строится на производственном трудовом принципе, то "никакого принципиального противоречия между советским (т. е. социалистическим) демократизмом и применением диктаторской власти отдельных лиц *нет*" (Соч., изд. 4, т. 27, стр. 238-239, 238).

Итак, диктатура. Итак - никакой свободы, тем более - творческой: ведь все должно быть подчинено одной цели: построению коммунизма по ленинско-марксову образцу. "А мы не себе желали спасения - всему человечеству. И вместо сентиментальных вздохов, личного усовершенствования и любительских спектаклей в пользу голодающих мы взялись за исправление вселенной по самому лучшему образцу, какой только имелся, по образцу сияющей и близящейся к нам цели. Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось больше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали. Во имя цели приходилось жертвовать всем, что было у нас в запасе, и прибегать к тем же средствам, какими пользовались наши враги - прославлять великодержавную Русь, писать ложь в "Правде", сажать царя на опустевший престол, вводить погромы и пытки.. Порою казалось, что для полного торжества коммунизма не хватает лишь последней жертвы - отречься от коммунизма" (Абрам Терц).

И создается новый строй, и создается новый быт, создается и новый Город - уже Ленинград, в котором

...по засадам.

ополоумев от вытья,
огромный дом, виляя задом,
летит в пространство бытия!
А там - молчанья грозный сон,
нагие полчища заводов,
и над станovima народов -
труда и творчества закон.

(Заболоцкий)

Чиновные деревья под замком и в решетках - обступают
и теснят свободу; наваливаются на обезличенных и
ограбленных материально и духовно - совершенно одно-
значных - "Ивановых" трамваи и заводы, учреждения и
партийные комитеты, "Народные Дома" - "курятники
радости" - и идут Ивановы послушливо на служенье
механизированному тотальному обществу-государству.
А куда еще и идти-то?! -

Неужто, некуда идти?!

О мир, свинцовый идол мой
хлещи широкими волнами...

...Он спит сегодня - грозный мир,
в домах спокойствие и мир.

Ужели там найти мне место,
где ждет меня моя невеста,
где стулья выстроились в ряд,
где горка, словно Арарат,
повитый кружевцем алмазным,
где стол стоит, и трехэтажный
в железных латах самовар
шумит домашним генералом?

О мир, свернись одним кварталом,
одной разбитой мостовой,

одним проплеванным амбаром,
одной мышиною норой...

- таков Ленинград и Советский Союз обездуховленных и нивелированных нацело Ивановых, как рисует его Заболоцкий. И беспощадный террор. И нет воздуха, чтобы дышать и жить. И нет творческой, да и никакой свободы. Умирает от безвоздушья Александр Блок, когда-то революцию принявший: "Настоящим и дышать невозможно, можно дышать только ...будущим", - шепчет он: "...Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий... И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем: жизнь потеряла смысл". Гибнет Осип Мандельштам в когда-то излюбленной Невской Столице:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:
Я за жизнь боюсь - за твою рабу -
В Петербурге жить - словно спать в гробу.

Оплакивает уходящую старую сказку - Россию - Николай Клюев:

Наша собачка у ворот отлаяла,
Замело пургою башмачок Светланы,
А давно ли нянюшка ворожила-баяла
Поваренкой вычерпать поморья-океаны.
А давно ли Россия избою куталась, -
В подголовнике бисеры, шелка багдадские...
...У матерой матери Мамелфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены,
Люди обезлюдены...

Казалось бы - конец. "Быть Петербургу пусту". Казалось - и конец России, и конец Петербургу. И столица перенесена в Москву. И окно в Европу наглухо законопачено. "Ты еси Петр, и на камени сем созижду Церковь мою", - Петр - есть камень и заштатный град Санкт-Питер-Бург - есть Святой-Камень-Город. Но - определение, должно быть только в одном слове: Санкт-Питер-Бурх определяет три слова - Святой-камень-город, - нет одного определения, - и Санкт-Петербург посему есть фикция..." (Борис Пильняк). Опять противопоставление Города Петра и Петербургской культуры "рыхлой бабе" России, изнасилованной Петром: и для петербуржанки Марии Шкапской Россия -

Лежит роженицей на день девятый
Российская осенняя земля...

А в Петербурге "Россия ждет к себе Петра":

Он властно женщины покровы
Снимает мужнею рукой...
...И каждой ночью зачинает
Она - и носит до утра,
А поутру родит, стеная,
Детей с походкою Петра.

Да, рождаются уже "дети с походкою Петра", рождаются и сторонники исконной русской культуры. Рождаются и легенды в новом Ленинградском Петербурге. Пока это - лишь слабые ростки какой-то исторической нови. Но они, эти ростки, уже понемногу расшатывают каменный покров улиц Ленинграда, понемногу пробиваются сквозь "желтый пар петербургской зимы"...

7. ЛЕГЕНДЫ ЛЕНИНГРАДСКОГО ПЕТЕРБУРГА

1934-1937 годы... После убийства Кирова - одной из наиболее грубо подделанных инсценировок Сталина - массовая расправа с ленинградцами и, особенно, ленинградскими петербуржцами - остатками недобитой и недовымершей старой интеллигенции.

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки.
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

(Ахматова)

Тяжкий крестный путь сотен тысяч - а, может, и больше? - петербуржан-ленинградцев в лагеря и в холодную и голодную ссылку, а то и на смерть. Но может статься, еще более тяжким был жребий оставшихся на горькой советской "воле" жен и матерей, отцов и сыновей...

У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,
Надо, чтоб душа окаменела,
Надо снова научиться жить...

(Ахматова)

”Лишь в 1936-39 гг. было арестовано более 1,2 миллиона членов ВКП(б) - половина всей партии. Только 50 тысяч вышло на свободу - остальные были замучены на допросах, расстреляны (600 тысяч) или погибли в лагерях”, - так свидетельствует в своем меморандуме ”Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе” акад. А. Д. Сахаров, сам член партии. Ну, а сколько погибло беспартийных - их же имена Ты, Господи, веши?! По некоторым данным, к концу 1938 года в лагерях и тюрьмах СССР и в ссылке было не менее пятнадцати миллионов человек...

А над этой кровавой мясорубкой, обрызганный кровью от подошвы цоколя до бронзовых усов, высился в каждом городе и в каждом местечке бессмертный генералиссимус, Человекобог, Владыка-Хозяин:

Мы все ходили под богом,
У бога под самым боком...
Стоя на мавзолее,
Был он сильней и злее,
Мудрее Того, Другого,
По имени Иегова,
Которого он низвергнул,
Извел, пережег на уголь,
А после из бездны вынул
И дал Ему стол и угол...

(Слуцкий)

Да, вынули и Бога, и ”Святую Русь”, и старинные обыки и навыки, когда гитлеровские полчища продвинулись к самой Москве и обложили Ленинград. Когда больше половины многомиллионного города погибло от холода и голода. Когда миллионы солдат и офицеров Советской армии умирали от голода и издевательств в немецком плену...

И окончательно испарилась, как роса или изморозь на солнопеке, религиозная вера в спасительную силу социализма-коммунизма, в единственно-истинную и единственно-правильную "генеральную линию партии" -

Сегодня я ничему не верю -

Глазам - не верю.

Ушам - не верю.

Пощупаю - тогда, пожалуй, поверю - все

без обмана. ...

...Все пропаганда. Весь мир - пропаганда. ...

"На подступах к 37 году Мандельштам написал стихотворение: "неначатой стены мерещатся зубцы, а с пенных лестниц падают солдаты султанов мнительных, разбрызганы, разъяты, и яд разносят хладные скопцы"... "Неначатая стена" свидетельствует, что он сознавал эфемерность всяких целей. В самом начале тридцатых годов он как-то сказал: "Почему мы должны умиляться пятилеткам? Если б кто-нибудь из знакомых взбесился и стал отказывать себе во всем, украшая квартиру, скупая пишущие машинки и унитазы, мы бы на него наплевали"... Целый народ не живет, а только выполняет планы. В этом есть что-то подозрительное... Чем лучше выполнялись планы, тем хуже жилось: зубцы уже виднелись, а стены-то не было. Слово "солдаты" в этих стихах показывает, что именно строевая, псевдо-военная аналогия навязла в те годы в зубах..." (Над. Мандельштам. Вторая книга).

И все-таки... И все-таки, в этом пожарище чисток, застенков, лагерей, блокады, войны - жил Ленинградский Петербург. Из внешней оболочки сталинизированного "Города Ленина" выпирал Петербург - не Питербурх Петра, а новый, русский Петербург. И особенно ярко

сказалось это, как и следовало ожидать, как это всегда бывает, - в легендах. Ведь легенда - самый лучший, самый объективный *свидетель и источник истории*: легенда наиболее свободна от предвзятости, субъективности, партийности, индивидуального произвола.

...Вторая половина двадцатых годов. Уже начинают усиленно закрываться церкви, превращаться в склады, разрушаться. А в бывшем Мариинском театре, при переполненном зале (для того, чтобы достать билет нужно было ночь простоять в очереди), идет гениальнейшая русская опера - мистерия Римского-Корсакова "Сказание о Невидимом Граде Китеже". И по рукам ходят в списке стихи поэта, давно уже прославившегося, как стукач, как осведомитель органов сыска и террора о своих собратях.. И все-таки пишет он:

...Облака, как белые обитатели, -
Китеж, Валаам и Соловки...
Говорят с медведями святители,
Молятся на камнях у реки. ...
...Ветер тронул черную смородину...
Поезд над рекой прогрохотал...
Бог поможет отыскать мне родину,
Ту, которую я потерял!
Не мужицкая, не государева -
Для меня с неповторимых пор
Вся Россия - это Божье зарево,
Золотой раскольничий костер!

А на развилке Николаевского моста, давно уже переименованного в "Мост лейтенанта Шмидта", стояла часовня Николы Угодника - с чтимым чудотворным образом Святителя. Давно уже выворотили и изнич-

тожили образ, испоганили часовню и преобратили ее в склад метел и лопат мостового уборщика. И вот как-то под Светлый Праздник заходит старичок-уборщик в часовню - метлу на место поставить, - ан в часовне убрано-украшено все лапками ельника, на месте, где был Николин образ, - светлый образ Богородицы-Утоли Моя Печали, а перед образом на коленях ветхий-ветхий батюшка, в ряске холщевой, в холщевой же скуфеечке. И тихо-тихо шепчет: - "Спасибо, Владычица, что сподобила меня еще разок в часовне моей Праздник Праздников встретить". И видит сторож - батюшка как-то светится, словно он из лучей весь соткан, и через него все опять-таки просвечивает. "Святителю, Отче Николае, - кинулся в ноги ему сторож, - моли Бога за нас, грешных!" Улыбнулся святитель, благословил старика двуперстно - и исчезло видение - как не бывало. И опять в часовне дряг и мусор, метлы и лопаты, но на полу два крохотных образка - Николы и Божьей матери - "Утоли Моя Печали". Образки бумажные, - но не было их до того. Жена сторожа-уборщика наказывала мужу - чтоб не было беды им - никому не рассказывать о виденном, да разве удержишь язык, когда видел такое? И разошлась легенда по всему городу. Кто усмехался, а кто и призадумался. И ведь не только в те годы. Уже в 1957 году опубликована "Легенда" тогда молодого (род. в 1924 г.) поэта Игоря Кобзева:

Разошлась по городу легенда,
Будто где-то здесь недалеке,
Девушка с косой и с белой лентой
Утопиться вздумала в реке.
Мол, спозналась с горечью душевной,
А уж с ней не миновать беды.
Только будто вдруг старик-волшебник

Вынес ее чудом из воды...
В жизни много нужно человеку.
Нужен хлеб. Нужна и красота.
И пошел народ на эту реку
Поглядеть на дивные места...
Одним словом, так или иначе,
Дело стало сказкой обрастать.
И примчал из области докладчик,
Чтобы этот миф разоблачать.
Он гремел. Срывал аплодисменты.
Выдумку цитатами разнес.
Осмеял нескладную легенду,
А другой легенды.. не привез...
Сам он видно не тонул ни разу,
Не спасал он жизни никому,
И, наверно, в детстве тихих сказок
Не шептала бабушка ему...

Нет, не хочет народ разоблачения легенды - ведь другую ему не привез пропагандист, а раз "весь мир - пропаганда", то как верить ей, пропаганде этой?!

В 1927 году - совершенно непонятным образом - в январском номере ленинградского журнала "Звезда" была опубликована поэма Н. Клюева "Деревня". Номер был моментально расхвачен покупателями, прежде чем опомнилась цензура. Лишь немногие номера удалось изъять и уничтожить. В поэме же совершенно откровенно проклиналсся строй террора и насилия, насилия не только над плотью, но и над духом Руси:

Мы тонули в крови до пуза,
В огонь бросали детей,-
Отчего же небесный кузов
На лучи и зори скупей? ...

...Ты Рассея, Рассея матка,
На мирской смилосердись гам:
С жемчугами иль с кровью кадка
Окаянным поведай нам!

Да, "мы расстались с саровским звоном - утолением плача и ран", мы оголили мощи, мы порушили становой хребет духовной Руси. Но не вечно новое татарское иго советчины:

Будет, будет русское дело, -
Объявится Иван Третий
Попрать татарские плети,
Ясак с ордынской басмою
Сметет мужик бородою!

И воскреснет Русь - радостная, солнцезарная, свободная...

"Уже через два-три года, наутро, устремляюсь в Михайловский парк. Там уже десятки любопытствующих, а потом и сотни окружают обломок столетнего двухохватного дуба, сломленного недавней бурей. Около задумчивого павильона Росси стоял этот дуб, а теперь у его обломка суетится и хлопочет безусый деревенский парнишка. Его орудия незамысловаты: лестница, плотницкий грубый топор, долото, молоток и кривой сапожный нож. Но на глазах у толпы из обрабатываемого парнем ствола, кряжистого и стойко вгрызшегося в землю мощными и цепкими корнями, вырисовываются какие-то идолообразные фигуры и лики: вот злая ведьма насела на мужика-богатыря, вырастающего прямо из земли; вот волхвующий бородатый кудесник и обесмысленный лик стандартного рабочего с молотом в руке, занесенным на

всю русскую сказку-историю, на все русское прошлое; вот еще черноземная сила - русский служивый, мужик-солдат.

Трудно было оторваться от зачаровывающего зрелища пробуждения огромной новой жизни из мертвого древесного ствола. Видимо, художник - вековой, наследственный лесовик. Он не насиловал дерева, а только раскрывал, пользуясь всяким сучком, всяким наростом или искривлением, таящиеся "под грубою корою вещества" затаенные формы. Он выщелушивал свои "эпохи русской истории" - как назвал он свою композицию - из обломка дуба. Медузообразные помещики и помещицы, мужики-ведуны с длинными - до земли - бородами и необъятными могутными плечами и ручищами. Сказочные дива и нежить - все украсило и расцветило творимую сказку - историю родины. Композиция была закончена через несколько дней, а в одно из воскресений рядом расположился художник, расставив немало коряг, корневищ, стволов и поленьев, чуть тронутых ножом, топором или стамеской: осьминоги, Змеи-Горынычи, бояра да рынды, и опять мужики-лесовики, кряжистые и корневые:

Умереть бы тебе, как Михайле Тверскому,
Опочить по-мужицки, до рук борода...

А на дубе - "эпохах русской истории" - надпись: "Помогите голодающему художнику" - и кружка. Сам художник прятался в павильоне Росси, тогда еще заплыванном подсолнухами и обезображенном "Маничками-вас-люблюями" и сердцами, проткнутыми стрелами - античный мотив среди похабной коросты надписей. На следующий день художника арестовали. Он сгиб, кажется, где-то неподалеку от своего архангельского или

вологдского далека, откуда пришел в Ленинград пешком, кое-когда исхитряясь пристроиться на платформах товарных поездов. В пути побирался именем не совсем позабытого Христа, да резал смешные и кудесные ложки на продажу. Этими же ложками промышлял и в Питере, пока не попал на глаза одному из профессоров Академии, тогда еще "Высшего института художественных знаний", кажется. Приняли парня, расщедрились на десятирублевую стипендию ему, а когда расстарался он с выставкой, - выставили вон из Академии, и из Питера, и с воли, и из жизни: за антисовескую вылазку - «помогите голодающему художнику» ("Давнее-недавнее").

А вторая половина тридцатых годов... Аресты, расстрелы, аресты, тюрьмы, лагеря...

Пред этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
А за ними "каторжные норы"
И смертельная тоска...

(Ахматова)

Как-то в 1937 году, к моей матери подошла нищенка, худая, в отрепьях, с лицом высоко-одухотворенным: - "Вижу, что и у вас тоже горе... Помолитесь блаженной Ксении, лучше всего на Смоленском кладбище: поможет по молитве Вашей"... Вскоре матери разрешили свидание со мною: я отбывал тогда свой "детский" (не уважали заключенные людей, осужденных на такие малые сроки) пятилетний срок...

И ходили к блаженной Ксении верующие и не верующие, но страждущие матери и отцы, жены и сестры - помолиться о родных узниках. И ходила блаженная Ксения по трагическим улицам Ленинградского Петер-

бурга лет Ягоды-Ежова-Берии, неканонизированная петербургская святая середины прошлого века, а, может, и Пушкинских времен, посылая утешение, внушая надежду и бодрость, - и многие верили: именно ходила, молясь за страждущих и благословляя их.

Тяжелая волна воспоминаний
о городе с чугунными мостами,
о городе с дворцами и церквями,
где угнездились мыши и товары.
Суровой аркой скованные мысли,
в гранит одеты пристани седые,
и перекрыты праздничным оркестром
победно-кумачевые знамена.
Я выходил с толпой к трибунам шуплым,
я проходил по улицам зеркальным,
тобой дышал, отбрасывая плесень
мгновенных встреч, назойливых воззрений.
Невы свинцовой всеобщное бденье
подхватывали взлеты белой ночи, -
и прошлое сливалось с грядущим,
для жизни ничего не оставляя.

Легенда... В легенде народ отсеивает все случайное и наносное, и персонифицирует, отвоплощает не только живое зерно истины, но и упования своей эпохи. Да, окончательно гиб старый русский интеллигент - с его незабываемо-прекрасными, но с рождения обреченными и отрешенными чертами: не интеллигент белинско-чернышевско-писаревского ширпотреба, а чеховско-блоковский образ:

Он брел, качаясь, сквозь века
по той же Невской перспективе,

и мутно-рыжая река
звенела льдинами в разливе.
Он брел... Куда? Куда влекла
его судьба? К какой невзгоде?
К какой неведомой природе
он вырвался из-под стекла?
Лабораторный, не живой,
но ветхо-юный, вечно-новый,
он умозрительной ногой
влачит чугунные оковы.
А с ним, как отзвук, словно тень,
его двойник, его товарищ, -
и меркнет нерасцветший день,
ища души среди пожарищ...

Голядкин, Блок, Заболоцкий... Век раздавил вас, вы задохнулись в безвоздушной пустоте Петербурга-Ленинграда. Вас раздавила и война, и блокада. Но сквозь сутемень предрассветного тумана уже поблескивают легенды - первые проблески нового дня. Мы никогда не чудимся, не удивляемся чуду: каждый раз начинающемуся новому дню: привыкли. Мы надеемся, что будет и новый день России и Петербурга. Уже не ленинградского. Ведь если живут легенды - то жизнь еще не окончилась. Ведь если есть еще хотя бы слабый количественно всплеск протеста - жизнь не ушла.

И кончается удручающая аракчеевщина казарменного единообразия мыслей и чувств, идей и вкусов, обычаев и слов. Кончается, во всяком случае у немногих, но лучших, кому принадлежит завтра. "Довольно думать о человеке. Пора подумать о Боге" (Абрам Терц). Довольно думать о коллективе. Пора подумать о человеке. "Ведь человек же - очень сложное существо, почему он должен быть объяснен логикой? или там экономикой? или фи-

зиологией" (Солженицын). Да, легенда животворит. И не такой ли легендой (как реалистический и психологический роман ведь он - совсем не удача!), большой и глубокой, является и "Доктор Живаго"? - "Что-то сдвинулось в мире. Кончился Рим, власть количества, оружием вмененная обязанность жить всей поголовностью, всем населением. Вожди и народы отошли в прошлое. Личность, проповедь свободы пришли им на смену. Отдельная человеческая личность стала Божьей повестью, наполнила своим содержанием пространство вселенной" (Пастернак).

Новый Петербург, новая Россия нарождаются. Они - в тюремных психбольницах и застенках КГБ, они - в многообразии взглядов новой молодежи. Они - не в архаическом национализме билибинщины и вышитых полотенец, а в подлинной волхвующей идее подлинного национализма - национализма, как слуги вселенскости: легенда Невидимого Божьего Града (вселенскости, а не интернационализма) зовет на борьбу, на творчество жизни, на неослабевающую войну с захлестывающей мир смертью:

Памятью убитых, памятью всех,
если не забытых, так все ж без вех,
лежащих беззлобно, пусты уста,
без песенки надгробной, без креста...

...Ежели ты выжил - садись на коня,
Что-то было выше, выше меня,
я-то проезжаю вперед к огню,
я-то продолжаю свою войну.

(Иосиф Бродский)

Необъятна поэзия и проза, быль и легенда Петербурга-Ленинграда. Вечен и могуч Медный Всадник государства. Но уже в пушкинские годы грозил полураздавленный, но не побежденный им человек, личность, не статистическая точка: "Ужо тебе!" И эти лоскутья слов, опилки литературных образов - только слабое начало литературно-исторического комментария к провидческой поэме Пушкина. Не больше.

КНИГИ БОРИСА ФИЛИППОВА

- Град невидимый. Стихи. Рига, 1944.
- Кресты и перекрестки. Рассказы. Вашингтон, 1957, 159 с.
- Ветер Скифии. Стихи. Вашингтон, 1959, 48 с.
- Непогодь. Стихи. Вашингтон, 1960, 32 с.
- Сквозь тучи. Повесть. Вашингтон, 1960, 191 с.
- Пыльное солнце. Рассказы. Вашингтон, 1961, 48 с.
- Бремя времени. Стихи. Вашингтон, 1961, 32 с.
- Рубежи. Стихи. Вашингтон, 1962, 24 с.
- Полустанки. Рассказы. Вашингтон, 1962, 52 с.
- Музыкальная шкатулка. Повесть и рассказы. Вашингтон, 1963, 100 с.
- Стынущая вечность. Стихи. Вашингтон, 1964, 16 с.
- Кочевья. Рассказы. Вашингтон, 1964, 60 с.
- Живое прошлое. Литературные очерки. (Кн.) 1. Вашингтон, 1965, 116 с.
- Живое прошлое. Литературные очерки. (Кн.) 2. Вашингтон, 1973, 48 с.
- Тусклое оконце. Рассказы. Стихи. Очерки. Нью-Йорк, 1967, 87 с.
- Ветер свежее... Стихи и проза. Вашингтон, 1969, 48 с.
- Мимоходом. Рассказы. Легенды. Стихи. Вашингтон, 1970, 96 с.
- Преданья старины глубокой. Рассказы. Легенды. Стихи. Вашингтон, 1971, 108 с.
- За тридцать лет. Стихи. Избранное. 1941-1971. Вашингтон, 1971, 83 с.
- Миг, к которому я прикасаюсь. Рассказы. Очерки. Стихи. Вашингтон, 1973, 148 с.
- Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе. Париж, 1973, 53 с. 2-е изд., пересмотренное и дополненное. Париж - Мюнхен, 1974, 72 с.
- Память сердца. Рассказы. Вашингтон, 1974, 72 с.
- Сквозь тучи. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. Вашингтон, 1975, 304 с.
- Шкатулка с двойным дном. Вашингтон, 1977, 232 с.
- Мысли нараспашку. (Кн. 1), Вашингтон, 1979, 192 с.
- Мысли нараспашку. (Кн. 2), Вашингтон, 1982, 375 с.
- Статьи о литературе. Лондон, 1981, 239 с.
- Избранное. Проза. Лондон, 1984, 400 с.
- Влекущие дали дорог. Стихи разных лет. Вашингтон, 1987, 2 + 42 с.

СОСТАВЛЕНИЕ

За пять лет. Документы и показания. Париж, 1973, 334 с.

РЕДАКТИРОВАНИЕ. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- Михаил АГУРСКИЙ. Советский Голем. Лондон, 1983, 73 с. (Предисловие).
- Георгий АДАМОВИЧ. Единство. Стихи. Нью-Йорк, 1967, 56 с.
- Юрий АЙХЕНВАЛЬД. По грани острой. Проза и стихи. Мюнхен, 1972, 298 с.
- Юрий АННЕНКОВ. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Два тома. Нью-Йорк, 1966, 350 и 350 с.
- Николай АРЖАК. Говорит Москва. Повесть. Вашингтон, 1962, 64 с.
- Николай АРЖАК. Руки. - Человек из МИНАПа. Рассказы. Вашингтон, 1963, 39 с.
- Николай АРЖАК. Искушение. Повесть. Вашингтон - Нью-Йорк, 1964, 71 с.
- Николай АРЖАК. Говорит Москва. Повести и рассказы. Нью-Йорк, 1966, 167 с.
- Леонид БОГДАНОВ. В стороне от большой дороги. Рассказ. Вашингтон, 1964, 28 с.
- Н. БУРЖУАДЕМОВ. Очерки растущей идеологии. Мюнхен, 1974, VIII, 274 с.
- А. ВОЛЬСКИЙ. Умственный рабочий. Нью-Йорк, 1968, 431 с.
- Сергей ГОЛЛЕРБАХ. Заметки художника. Лондон, 1983, 104 с.
- Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. Записки из подполья. Кассель, 1946, XII, 65 с.
- Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ. У Тихона. Пропущенная глава из романа "Бесы". Вашингтон, 1964, 141 с.
- Александр ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН. Весенний лист. Стихи и Краткий философский трактат. Двухязычное изд. (Перевод на англ. язык Дж. Риви). Нью-Йорк, 1961, 14-173 с.
- Михаил ЗОЩЕНКО. О чем пел соловей. Кассель, 1946, 32 с.
- Николай КЛЮЕВ. Собрание сочинений. Два тома. Нью-Йорк, 1954, 427 и 302 с.
- Алла КТОРОВА. Экспонат молчащий, и другое. Мюнхен, 1974, 468 с.

- Константин ЛЕОНТЬЕВ. Египетский голубь. - Дитя души. Нью-Йорк, 1954, 314 с.
- Константин ЛЕОНТЬЕВ. Моя литературная судьба. Нью-Йорк - Лондон, 1965, 108 с.
- Константин ЛЕОНТЬЕВ. Письма к Василию Розанову. С комментариями В. В. Розанова. Лондон, 1981, 139 с.
- Надежда МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания. Нью-Йорк, 1970, 432 с. (технич. редактирование).
- Борис НАРЦИССОВ. Звездная птица. Стихи. Вашингтон, 1978, XX, 300 с. (Вступ. статья).
- Борис НАРЦИССОВ. Письмо самому себе. Проза и стихи. Нью-Йорк, 1983, 84 с. (Вступ. статья).
- В. Д. НОСОВ. "Ключ" к Гоголю. Опыт художественного чтения. Лондон, 1985, 139 с.
- Борис ПАСТЕРНАК. Доктор Живаго. Париж, 1959, 635 с.
- Кирилл ПОМЕРАНЦЕВ. Сквозь смерть. Воспоминания. Лондон, 1986, 193 с.
- Эммануил РАЙС. Под глухими небесами. Париж, 1967, 115 с.
- Сергей РАФАЛЬСКИЙ. Что было и чего не было. Лондон, 1984.
- Алексей РЕМИЗОВ. Кукха. Розановы письма. Изд. 2-е, Нью-Йорк, 1978, 127 с. (Предисловие).
- Алексей РЕМИЗОВ. Взвихренная Русь. Изд. 2-е, Лондон, 1978, 710 с. Изд. 3-е. Лондон, 1990, X, 708 с. (Вступ. ст.)
- Синявский и Даниэль на скамье подсудимых. Нью-Йорк, 1966, 134 с.
- Советская потаенная муза. Из стихов советских поэтов, написанных не для печати. Мюнхен, 1961, 159 с.
- Анджей СТАВАР. Избранные статьи о марксизме. Хайатсвилл, 1964, 312 с.
- Абрам ТЕРЦ. Любимов. Повесть. Вашингтон, 1964, 167 с.
- Абрам ТЕРЦ. Мысли врасплох. Нью-Йорк, 1966, 157 с.
- Абрам ТРЕЦ. Фантастический мир Абрама Терца. Повести и рассказы. Нью-Йорк, 1967, 455 с.
- Николай ТРОИЦКИЙ. Новеллы. Сан-Франциско, 1983, 8 + 239 с.
- Ольга ФОРШ. Сумасшедший Корабль. Повесть. Вашингтон, 1964, 237 с.
- При участии В. М. Медиша:
- Юмор и сатира послереволюционной России. Антология в 2 тт. Лондон, 1983, 452 и 307 с.

Совместно с Г. П. Струве:

Анна АХМАТОВА. Сочинения в 2 тт.: т. 1, Вашингтон, 1965, 464 с., изд. 2-е, пересмотренное и дополненное, 1967, 480 с.; т. 2, Вашингтон, 1968, 615 с.

Н. С. ГУМИЛЕВ. Собрание сочинений в 4 тт. Вашингтон, 1962-1968, LVI, 368, XL, 378, XXXVIII, 360 и XXXVI, 673 с.

Николай ЗАБОЛОЦКИЙ. Стихотворения. Вашингтон - Нью-Йорк, 1965, LXXII, 368 с.

Николай КЛЮЕВ. Сочинения в 2 тт. Мюнхен, 1969, 571 и 503 с.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. Собрание сочинений. Нью-Йорк, 1955, 415 с.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. Собрание сочинений в 2 тт. Нью-Йорк, 1964-1966, CVI, 357 и XVIII, 637 с.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. Собрание сочинений в 3 тт. Вашингтон, 1967-1971, CX, 599, XVIII, 737 и 1-551 с.

Борис ПАСТЕРНАК. Собрание сочинений в 3 тт. Анн-Арбор, 1961, 2, XLIV, 504, 2, XIV, 363 и 551 с.

Совместно с Г. П. и Н. А. Струве:

Анна АХМАТОВА. Сочинения. Том 3, Париж, 1983, 636 с.

Максимилиан ВОЛОШИН. Стихотворения и поэмы в 2 тт. (При участии А. Н. Тюрин). Париж, 1982-1984, 2, CXII, 532 и 591 с.

Осип МАНДЕЛЬШТАМ. Собрание сочинений. Том 4, дополнительный. Париж, 1981, 203 с.

Совместно с Е. В. Жиглевич:

Ф. М. Достоевский. 1881-С-1981. (Сборник статей). С. А. Аскольдов. - С. Н. Булгаков. - Б. П. Вышеславцев. - Ю. П. Иваск. - Ф. А. Степун. - Б. А. Филиппов. Лондон, 1981, 188 с.

Борис ЗАЙЦЕВ. Далекое. Вашингтон, 1965, 205 с.

Борис ЗАЙЦЕВ. Река времен. Нью-Йорк, 1968, 339 с.

Евгений ЗАМЯТИН. Сочинения. 5 тт. Том 1, Мюнхен, 1970, 496 с. Том 2, Мюнхен, 1982, 524 с.

Михаил ЗОЩЕНКО. Перед восходом солнца. Нью-Йорк, 1967, 208 с.

Памяти Александра Блока. 1880-С-1980. (Сборник статей). Юрий Анненков. - Анна Ахматова. - Андрей Белый. - Александр Блок. - Евгения Жиглевич. - Евгений Замятин. - Осип Мандельштам. - Леонид Ржевский. - Борис Филиппов. - Аарон Штейнберг. Лондон, 1980, 155 с.

Федор СТЕПУН. Бывшее и несбывшееся. 2 т. (в одной книге).
Изд. 2-е. Лондон, 1900, 398 и 432.
Ю. ТЕРАПИАНО. Паруса. Стихи. Вашингтон, 1965, 39 с.
Ариадна ТЫРКОВА-ВИЛЬЯМС. На путях к свободе. Изд.
2-е. Лондон, 1990, 437 с.
Мария ШКАПСКАЯ. Стихи. Лондон, 1979, 141 с.

Совместно с Е. В. Жиглевич и А. Н. Тюриным:

Евгений ЗАМЯТИН. Сочинения. 5 тт. Том 3, Мюнхен, 1986,
384 с. Том 4, Мюнхен, 1988, 603 с. Том 5 - в печати.

СОДЕРЖАНИЕ

Путь-дорога дальняя... (<i>Вместо предисловия</i>)	5
ПУТИ-ДОРОГИ	11
Подушка	14
Криница	18
Худорба	25
Лестничная клетка	27
Катюша	37
Снежинки	43
Душа как гость	49
Чужие гнезда	56
Денек, как все	69
Оно	74
Eine kleine Nachtmusik	83
Концерт	92
Собеседник	98
Белое вино	101
Углы	105
ВСПЛЫВШЕЕ В ПАМЯТИ	
Главы из воспоминаний	107
"УТРО ТУМАННОЕ"	287
Разговоры по поводу и без повода	290
Ленинградский Петербург в русской поэзии и прозе	316
	391

